

индекс : 84471

ВЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

2/2013
февраль



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1931 ГОДА

с о д е р ж а н и е

02/2013 февраль

- 3 **Константин Ваншенкин. Ночной разъезд.** *Стихи*
- 7 Елена Стяжкина. **Отвращение.** *Повесть*
- 40 Владимир Гандельсман. **Запах спящего дерева в церквях.** *Стихи*
- Леонид Зорин. **Перед сном.** *Две повести*
- 45 **Июньская ночь.**
- 55 **Оборванный диалог.**
- 70 Павел Банников. **Поезд Сеул–Бусан.** *Стихи*
- 75 Георгий Давыдов. **Саломея.** *Рассказ*
- 95 Александр Снегирёв. **Крещенский лед.** *Рассказ*
- 103 Роальд Добровенский. **Терпи меня.** *Стихи*
- 108 Виктор Шендерович. **«Анекдот сильнее, чем Геродот...»**

а р х и в

- 125 Николай Шатров. **Неизданные стихи.** *Вступительная заметка, подготовка текста и публикация Рафаэля Соколовского*
- 130 Георгий Балл. **Никодимиада.** *Предисловие Татьяны Урбанович. Публикация Татьяны Урбанович при участии Сергея Соколовского*

п у б л и ц и с т и к а

- 153 Леонид Фишман. **Подарок для всех**

н е с т о л и ч н а я Р о с с и я

- 158 Михаил Бару. **Приокские саги**

к р и т и к а

- 166 Евгений Ермолин. **Роль и соль.** *Вера Полозкова, ее друзья и недруги*
- 177 Алексей Конаков. **Хорошо конспирированный кумир.** *Взгляд на Андрея Родионова*

к о н ф е р е н ц - з а л

- 183 **Иван Гончаров в контексте XXI века**
Евгения Вежлян, Владимир Губайловский,
Ирина Ковалева, Сергей Кузнецов, Валерия Пустовая,
Андрей Рубанов, Карен Степанян, Елена Холмогорова,
Сергей Чупринин

м е ж д у ж а н р а м и

- 198 Сергей Боровиков. **В русском жанре-45**

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 206 **Лиля Панн. — Владимир Гандельсман. Читающий расписание (Жизнь собственного сочинения); Владимир Гандельсман. Видение.**
- 210 Леонид Костюков. — Евгений Сулес. **Сто грамм мечты**
- 211 Галина Ермошина. — Владимир Казаков. **Мадлон**
- 214 Ирина Чайковская. — **Бостон. Город и люди. Составители: Леонид Спивак, Женя Павловская, Марк Чульский**
- 217 Марк Амосин. — Борис Голлер. **Девятая глава**
- 219 Татьяна Морозова. — **Архимандрит Тихон. «Несвятые святые» и другие рассказы; Владимир Мартынов. Автоархеология (1978 – 1998)**

д в а ж д ы

- 223 Ольга Бугославская
- 226 Карен Степанян
Ричард Докинз. Бог как иллюзия. Перевод с английского:
Н. Смелкова

с п е к т а к л ь

- 228 Татьяна Ратькина. **А. Вампилов. Прошлым летом в Чулимске. — МХТ им. Чехова. Малая сцена. Режиссер С. Пускепалис**

н е з н а к о м ы й а л ь м а н а х

- 230 Елена Зейферт. **Ямская слобода (Воронеж)**

н и д н я б е з к н и г и

- 232 Анна Кузнецова

і n m e m o r i a m

- 239 Андрей Турков. **Памяти Константина Ваншенкина**



в ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е

02/2013 февраль

Константин Ваншенкин

Ночной разъезд

Ночной разъезд. 1943

Встречный путь недолго занят,
Паровоз даёт свисток —
Фронтной состав на запад,
Санитарный на восток.

Подъём

С благодарностью судьбе
Спать в натопленной избе.

А как вышли на мороз,
Каждый инеем оброс.

Чем печь жарче,
Тем солдат жальче.

Поцелуй

...А под прощальные трубы
Чмокнула мальчика в губы
И обещала расклад:
«Будешь у баб нарасхват».

Но поцелуя иного,
Мало сказать ледяного,
Прикосновенье ко лбу
Он различит сквозь пальбу.

Детство друга

По коммунальному коридору
На трёхколёсном велосипеде
Мальчик катался, и всякому вздору
Бегло его обучали соседи.

От редакции | Вниманию читателей предлагается последняя публикация, подготовленная К. Ваншенкиным (1925– 2012) при жизни. О поэте, мемуаристе, постоянном и давнем авторе «Знамени» см. некролог А. Туркова в конце этого номера.

В ванной на стенке висело корыто,
Бил по нему приготовленной палкой.
Он заезжал лишь туда, где открыто —
К собственной бабушке с крепкой закалкой.

А у соседей по праздникам гости,
Все друг на дружку довольно похожи.
Пели и пили при сказанном тосте
И целовались кто чуть помоложе.

Папа у мальчика где-то в отъезде,
И неизвестно, когда он вернётся.
Мамы и той уже нету на месте.
Знать бы, чем всё это вдруг обернётся.

Впрочем, бесценную детскую пору
Не торопясь проживая на свете,
Мальчик катается по коридору
На трёхколёсном велосипеде.

Мать-одиночка

В детстве мальчика лупя
За табачные пороки,
Снисходительно любя
За удачные уроки,

Воспитала. Поступил.
И окончил. Всё, как надо.
Но ошибка высших сил —
В дымном небе канонада.

Жизнь пока ещё вчерне,
В чём у нас не будет спора.
Вот и всё. Погиб в Чечне.
И причём довольно скоро.

Памяти Бориса Бедного

Я говорил ему: «Пиши о плене»,
Он отвечал: «Точу карандаши!»
И это было явно не от лени,
А от возникшей робости души.

«Пиши, как окружённая пехота
В то лето под Воронежем сдалась,
Хотя писать такое неохота,
Да и не одобряет наша власть.

Пиши про униженья и мытарства,
Про бледных сотоварищей ряды,
Что рядом умирали без лекарства,
А очень часто вовсе без еды.

Про «фильтр», преодолённый в Подмоскowie,
Про институтской жизни матерьял
И про своё железное здоровье,
Которое небрежно растерял...»

Но он ценил подробности иные,
Которые так радостно звучат —
Пока он слышал голоса родные,
Покуда он писал своих «Девчат».

Взводный

Заразился лейтенант
С первого же раза.
Хорошо, хоть не женат —
Лишь при нём зараза.

Инкубаторный дурак,
Бредил смелым жестом —
С офицерами в барак
Закатиться женский.

Угораздило полезть,
Потеряв терпенье,
И нарваться на болезнь
Хуже, чем раненье.

Не везёт, так не везёт,
А ведь жил безбедно.
Только-только принял взвод,
Как пропал бесследно.

Постаревшая женщина

Этих бедных женщин жаль —
Их ночную ласку,
Их внезапную печаль,
Яркую раскраску.

Их, естественно, с утра,
Щёки, как из воска.
...Боже мой, она стара —
В этом вся загвоздка.

В дворянском лиственном лесу

В дворянском лиственном лесу
Шушукуются кроны, кротки,
Прислушиваясь к колесу
Былой помещицъей пролётки.

К цветущей липе устремлён,
Обозначая бег на месте,

Протягивает ветку клён
Своей заждавшейся невесте.

Божественная тишина,
И только звон просыпан птичий...
А у раскрытого окна
Отчётом занятый лесничий.

Поэт

Борец, провернувший туше,
Ликует не только в душе,
Но также в объятьях и криках,
В счастливых прыжках по ковру,
Как яростный зверь поутру
В жестоко пугающих рыках.

А ты, мой несчастный поэт,
Имея от Музы привет
И столь благосклонное мнение, —
Опять пребываешь в сомненье.

Право на отдых

Не на закрученной волне,
С её опасностями споря —
Любил валяться на спине
На свежей выпуклости моря.

Лежать, как плоская доска,
Которую чуть вбок сносила
Лишь ощутимая слегка
И снисходительная сила.

А я, совсем уже дремля,
Почти на деревенском склоне,
Свой путь подравнивал, руля
Шлепком ноги или ладони.

Зато вверху такая даль
И никакого в жизни крена!
И только мелкая кефаль
Коснётся изредка колена.

* * *

Я научился на свои
Стихи смотреть, как на чужие —
Их строчек плотные слои
Уже не раз отдельно жили.

Верчу строку и так, и сяк.
Порой могу себя поздравить,
А всё какой-нибудь пустяк
Зачем-то хочется поправить.

Елена Стяжкина

Отвращение

повесть

Отвращение — это единственное, что удерживает Савелия Вениаминовича на краю. Отчетливая, во всех ясных деталях картина, как он, Савелий, сидя на стуле, вдруг наклоняется и безудержно долго блюет на туфли из страусиной кожи. Туфли покрываются зловонной массой. И Первый, брезгливо поднимая выщипанную царственную бровь, цедит: «Забавно... Забавно...». Савелия хватают под мышки и выносят вон из кабинета. Вон из жизни. А он, крепко зажмурившись, продолжает блевать. Это не приносит облегчения. Но Савелий не может остановиться.

Эта картина, во всех ясных деталях, оттягивает-отвлекает от всего. Савелий думает только о спазмах, о приступах тошноты. Он боится. Но не болезни. Он боится, что когда-нибудь не сможет этого контролировать.

* * *

— Ничего органического, Савелий Вениаминович, — сказал врач австрийской клиники. — Ничего органического. Анализы в пределах нормы. Надо систематически мерить давление, снизить уровень холестерина, снять нагрузки на печень. Вы еврей?

— Я губернатор, — сказал Савелий.

— Ну да, — согласился врач. Ухмыльнулся.

— Бенджамин Франклин, по-вашему, тоже еврей? Только из-за имени?

— Вы хорошо образованы...

— Я давно дружу со сто долларовыми купюрами. И умею читать. Однажды проявил уважение к портрету...

— Деньги тоже вызывают у вас отвращение?

— Я не знаю.

— А пицца? Какая именно пицца?

В клинику эту поехал по глупости и от страха. Здесь, в кабинете у врача, вспомнил, что в детстве всегда был голодным и небрезгливым. Чтобы получить

Об авторе | Елена Стяжкина — историк, литератор. Автор книг прозы: «Великое никогда» (Донецк, 1993), «Кухонный вальс» (Донецк, 2003), «Купите бублики» (М.: ОЛМА, 2006); «Фактор Николь» (М.: АСТ, 2009), «Ты посмотри на нее!» (Киев: Факт, 2006), «Все так» (Москва, Астрель, 2012). Печатала прозу в сборниках «Enter: книга донецкой прозы» (Донецк, 2001), «О января» (Москва: АСТ, 2008), а также в журналах «Крещатый Яр», «Натали», «День и ночь» и др. Финалист Премии Белкина и лауреат премии «Учительский Белкин» 2011 года за повесть «Все так» («Знамя», 2011, № 10). Живет в Донецке.

лишнюю порцию супа, плевал одноклассникам в тарелки. Двум-трем обязательно. В драку с ним не лезли. Себе дороже. Да и суп — перловка, морковь и капля вонючего масла — того не стоил.

Отвращение к еде появилось не первым. Но испугало. Считывалось как предвестник смерти. И страшно было не умирать, а умирать долго и тяжело.

Жена-дура сначала грешила на повариху Наташу. Думала, что та ворует. Закупает несвежее, сливает оливковое масло, меняя его на прогорклое подсолнечное, крадет яйца, а им подсовывает готовый магазинный майонез.

Поставила на кухне видеокамеру. Каждый день — сериал из жизни Наташи. За два месяца слезки выяснилось, что Наташа таки ворует. Собирает недоеденное, упаковывает в пластмассовые контейнеры, складывает в большую хозяйственную сумку, выносит...

Выгнал. Сердце не дрогнуло. Вольному — воля.

Взял итальянца. Равиоли, паста болоньезе, телятина под розмариновым соусом, брускетты, каннелони, дорада, домашний хлеб...

Ужин, если Савелий Вениаминович желал есть дома, накрывали в малой столовой. Тарелки, супница, тяжелые серебряные приборы, салфетки, соусницы, белая льняная скатерть. Отвращение накатывало, едва Савелий придвигался к столу. Мutilo от запахов, сводило живот, рот наполнялся вязкой слюной, которую нужно было сглатывать. Сглатывать потихоньку, пряча взгляд от пустых глазниц рыбы дорады...

Он не мог ни есть, ни смотреть. Пластмассовые ногти жены, ее вывернутый уточкой рот, умеренное декольте, из которого чуть выглядывала припудренная и налитая чем-то правильным и модным грудь. Тошнило от ее голоса, запаха... От вида сыновей — рыхлых, длинноволосых, вялых — тоже тошнило. Фарфоровая улыбка повара-итальянца напоминала об унитазах и возможностях вот прямо сейчас, сию секунду лишиться нарастающего внутри комка...

А теперь этот врач. Въедливый, маленький, сам еврей, а спрашивает, в носу — волосы. Трудно купить триммер?

Волосы, козы-козюли, руки мягкие и теплые, пальцы короткие и тоже в волосах, тошнотворный, как все вокруг, врач, сказал: «Вам нужно сделать МРТ. И желательно — консультация у хорошего психиатра». «Почему не психотерапевта? Почему не психоаналитика? Почему сразу психиатр? — набылчился Савелий Вениаминович. — Я, что, на голову жаловался? На шизофреника похож?»

— Не надо так реагировать. Не хотите, как хотите. Повторяю: анализы в пределах нормы, ничего органического у вас нет. Но...

— Без «но», — сухо сказал Савелий. — Без «но», психиатров и МРТ.

* * *

Подумал, что не надо было брать в поварихи Наташу. Сама, мать ее тетка, нашла его, причитала, просилась. Падала в ноги прямо в кабинете. И Савелий Вениаминович дал слабинку. Пожалел.

А ведь с нее когда-то давно вся эта тошнилровка началась. Он просто забыл. А здесь, в Австрии, будь она неладна, вспомнил. С нее...

С Натальи Леонидовны.

В той жизни, которую Савелий преодолел, она была учительницей русского языка.

Двадцать шесть лет. Жила с матерью возле проходной шахты Ильичевская-бис. В центре города, считай. У всех на виду. Талия тонкая, губы — розовые, перламутровые. Босоножки, туфли, сапоги — все на каблуках. И по грязи, по

грязи... Училась в Киеве. Говорили, что путалась там с женатым, забеременела от него, неудачно почистилась, а потому считалась порченной и пропащей. Такой же порченной и пропащей, как все, кто возвращался домой с перебитым большими городами хребтом.

Она устроилась в школу. Глазки грустные, юбка длинная, каблуки — цок-цок. Вот вам, дети, Анна Каренина, вот «он мал и мерзок, но не так, как вы», а вот и Павел Корчагин. В жизни обязательно пригодится.

Савелий, хоть спец-ПТУ по нему и плакало, из школы не уходил. Девятый, десятый, а там видно будет. Жил с пьющей бабкой. Мать хвостолупила по просторам родины. Бывало, приезжала отдохнуть, пересидеть, бывало даже присылала деньги. Отец со звучным именем Вениамин был фигурой мифической — то подлецом-космонавтом, то мерзавцем-пограничником, то алкашом-подводником. Героическое всегда уравнивалось бытовым.

Не исключено, что был евреем.

Денег всегда не хватало. В пятом классе Савелий перестал плевать в суп. Потому что плевки — слабая позиция. Сильным нужна сильная. Такая, когда тебе все несут сами. И колени у несущих дрожат. И если возьмешь, то не тебе, а им — хворым и сопливым — радость и уважение.

Савелий Шишкин считался уголовным элементом. Как и многие из их города-поселка, состоял на учете в детской комнате милиции. И жизнь его была распланирована, расписана как по нотам. Он уворачивался, пока проскакивал, но толку?.. Впереди — зона, дружки-алкаши, маруха, дети-выродки... А и что? Ну воровал: на рынке, прямо с прилавка, или из кармана мог кошелек потянуть. У пьяного. Трешку себе брал, остальное на место. В штаны. Еще и из сугробов дядек-шахтеров вынимал, до дома дотаскивал. Что, не стоит это трешки? Целый червонец мог бы брать... Но червонцев в кошельках-карманах не было...

Наталья Леонидовна первой его женщиной была. Ему шестнадцать, ей — двадцать шесть. Тогда казалось — пропасть.

Духи у нее были ужжжасные, сладкие, обволакивающие, замешанные на старости и нафталине, разлитые под мышки и под коленки. Зато готовила она хорошо: блины, макароны по-флотски с тушенкой, суп с клецками — жирный, с картошкой, с тушенкой той же, ложка просто стояла в кастрюле.

Как было в начале? Как-то было. То ли Наташкин глаз нехорошо блеснул, то ли бабка Савелия запила до драки...

На улицах холодно, в магазинах — голодно, в карманах — пусто. Последние шаги восьмидесятых. Потом будет еще краска красная, нескучная. А фон — тот же. Холодно, голодно и пусто.

Чтобы не замерзнуть, чтобы не пропасть, он сам подошел. «Ах, Наталья Леонидовна, мне бы дополнительно позаниматься, к сочинению подготовиться, потому что в училище военное поступать надумал, в военное, чтобы родину защищать. И кормили чтобы четыре года на всем готовом... А то с грамотностью у меня не очень...»

На самом деле все у него было нормально. И с грамотностью, и с памятью. И с реакцией тоже хорошо.

Ему бы условия, так стал бы и ученым. Жил бы себе на три копейки, носки протирал до дыр, не выбрасывал бы, штопал... Колбы покупал бы, колбы и реактивы... Водку бы придумал. Придумал и сам бы и пил.

Дурь...

Он подошел, она загорелась. Зарделась.

Позаниматься, да. Но оба знали, о чем говорят. Она специально подгадала, чтобы мать на смену ушла. Он трусы искал, чтобы без дырок и вида приличного. Не нашел. Надел штаны на голую жопу. Хотел бы джинсы надеть, да где было взять? Просить? Но друзей не было. Сильные не дружат. И не просят. И все такое...

Голой жопе в пару — голые ноги. В кроссовки. Кроссовки были от материнских щедрот. Руки дрожали. Во рту сушило. Было страшно и несправедливо. Как-то противно.

А и ничего. Она ему суп, макароны, блины. Водку сует. Он: «Нет, не по нашей части», рюмку из руки ее вытаскивает, а ладонь к губам подносит. Медленно. В глаза Наташке смотрит бесстыже (дома тренировался!), а ладошку целует. Ладонь, потом запястье, потом в сгиб локтя, в плечо, в шею... Все просто. Минутное дело.

Она попискивала что-то: «Ой, ну как ты можешь, ведь мы... ведь я...».

Жеманность. Запах удушливый. В горле ком стал. Но и в штанах — стал. Не ком. Лом. Но какая разница? Она расстаралась, помогла. Учительница, сракамотышка.

К удушливой сладости добавился запах селедки... Восторг был маленьким. Тошнота не отпускала. Он бросился в ванную. У Натахи с матерью была ванная — прямо на кухне, за шторкой. Рыгал фонтаном. Супчиком-макарошками-блинчиками. Разве ж можно так жрать?

Весь десятый класс Савва ходил к Наталье Леонидовне заниматься. Книжки брал. Вроде как для отвода глаз. Брал — читал. Ставил на место.

Привык, пристрастился. Читал всегда. И с ней, и без нее. Кто ж тогда знал, что не надо было?

Смешно было вспоминать, как она замуж за него хотела. «Вот поступишь ты в училище, переедешь, я там в школе место себе подыщу, подтянусь. Квартиру сниму. Поженемся, да?». Он кивал. А чего не кивнуть? Коленки у нее были детские, трогательные. И сыто.

Савелий так отъелся за полгода, что перестал узнавать себя в зеркале. Синева с лица ушла, волосы после любой косоруккой парикмахерши стояли как противотанковые ежи,росло мясо, «мышца» в плечах, на спине, шея стала покрепче, подбородок жестче. Если бы не круглые навывкате глаза, то настоящий Брюс Ли. Один в один.

* * *

Из Австрии он поехал в Танзанию. Мог бы извертеться, организовать рабочий визит, бюджет бы не лопнул. «У нас шахты, у вас шахты. Да, уголь не алмаз, но через время... Да, передовой опыт... Будем дружить регионами...». Можно было бы подложить проекты, найти слова, постучать в кабинеты. Можно было не тратиться. Государственные же люди.

Но отвращение. Иногда Савелий Вениаминович стоял перед столичным начальственным кабинетом и не мог открыть дверь. Не паника, нет. Он явственно видел опарышей: не ползающих, а поднимающих хвост... Или голову. Или что там у них? Белых, жирных, готовых упасть с двери, с дверной ручки, на пол, на ногу, готовых размножиться в сладком клейстере правильных слов, сказанных с сытым и брезгливым похотыванием...

Он поехал в Танзанию. Купался в океане, рассматривал развалины Килва-Кисивани. Попросил гида свозить его на алмазную шахту. Думал купить себе. Не в Танзании, в другой стране. В Африке, да. Но светить ее было рано. Первый бы не понял.

У Савелия не могло быть никакой жизни без Первого. Свобода слова, передвижения и совести — все на контроле. «В Танзанию? Забавно. Привезешь мне оттуда... коровью лепешку», — Первый рассмеялся в телефонную трубку. Савелию было ясно, что недоволен.

«Разве я слишком часто отдыхаю?» — осторожно спросил он. Проблеял. Склонил голову, опустил глаза. Как будто тот мог его видеть!

«А ты отдыхать?» — резко ответил Первый.

«Нет. То есть да. То есть нет».

Савелий бормотал в пустую трубку, лебезил в пустой след. Не боялся, просто уже привык.

Алмазная шахта виделась возможностью побега. Достойного даже ухода. Почему нет?

Потому! «Потому! — шипел в голове голос Первого. — Потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам! Потому что ты воровал. Ты стакана семечек не продал. Ты, б*дь, на диски своего мерса не заработал. Ты — клоун дешевый. Ты тырил, пилил, ховал, делился, да, еще б ты не поделился. Ты ж копейки никуда не вложил, только, млять, в оффшоры, в домики-домушки. Ты б хоть бордель где прикупил. Нам на старость, детям на радость. Что ты, Савлик, вообще можешь? Какая шахта? Тут думать надо каждый день, а не пиздить тупо. Кто в сорок с хреном лет думать-то начинает, когда привычки нет?»

Никогда и ничего не придумал. Не построил. Не создал. Только схемы. Только пилеж. И вывод. За границы нашей необъятной родины. По просьбам трудящихся, конечно... Ептить.

А кто по-другому? Кто?

Первый был альфой и омегой. Началом и концом. На рассвете девяностых он нашел и выбрал Савелия сам.

Зачем? Последние десять лет Савелий Вениаминович каждый день давал себе слово об этом спросить. Задать прямой вопрос. Но подходящий момент так никогда и не наступил.

А сначала было не до вопросов.

Савва поступил в военное училище. Конкурс был символический, перспективы нерадужные, границы сомнительные, зато много генералов. И много войн.

После первого курса уже точно знал, что и где плохо лежит. Хлеб в столовой, наглядные пособия, сапоги, постельное белье, кирпичи на майорской даче, жена его тоже лежала плохо, все время дергалась, орала как кошка и закусывала секс чесноком. Секс она называла «сношением». И Савва не знал, от чего его мутит больше: от упругого запаха чеснока или от протяжного вопроса майорской жены: «Сношаться будем?».

Савве не было стыдно. Ему вообще никогда не было стыдно. Все вокруг воровали, пили, брехали, носили драное под новым, а грязное распихивали по углам. Савва был не хуже и не лучше.

О будущем смешно говорил философ: «От низших форм к высшим, от простого к сложному, от изобилия для избранных к богатству для всех». По мнению философа, это и был неизбежный прогресс. Савва дергался. Где прогресс? Где этот рай для всех? Под терриконами, в посадках, в ларьках с севен-апом и сигаретами «Бонд»? В танках, стреляющих то в Москве, то в Грозном?

Савва был не дурак: в прогресс не верил, на настоящее — не рассчитывал.

Вместе с прапорщиком воровал брезент. Шил из него палатки. Не один, с пацанами. Через начальника курса, молодого летеху, палатки продавали в «горячие точки». Воюйте, любенькие, бейтесь... Палаточки — сказки. Для живых и мертвых, для штабов и госпиталей. Бордели тоже можно.

Повязали всех быстро, отмазали тоже быстро. Но не всех. На Савве все сошлось — концы, деньги, идея, цех пошивочный. Показания на него все дали. В особо крупных размерах. Ущерб государству. Такая статья хорошая, многолетняя. Наташка, сука, ни разу не пришла. И понять ее можно. Ну кому охота?..

А он — появился. Человек по прозвищу Первый: в костюмчике сером, с личиком тонким, губами узкими, глазами неприметными, но лучше бы и не глядеть в них.

По прозвищу Первый, по фамилии Перваков.

Забрал Савву из СИЗО, повез на дачу, кулаком в морду въехал, чтобы без сомнений, кто в доме рабыня Изаура. Зуб выбил. Два, если разобраться. Один начисто на паркет вылетел, другой — осколком.

«Сдохнуть хочешь?» — спросил.

«Ну не хочу», — сказал.

«Вот и молодец, — Первый потрепал Савву по щеке. Как собаку. И резко ударил в живот. — Ноль реакции. Ноль...»

О чем думалось тогда?

А детское было в голове. Глупо вспоминать даже. Решил, что батя нашелся. Такой себе батя — важный, при делах. Искал его, Савелия, и вот... Нашел. Из тюрьмы вытащил. К делу пристроил. А что фамилию ему свою не дал — пустяк. Ерунда. И что Вениамином не был — тоже ясно. Такое имя только по пьянке можно было выдумать. Выдумать и сыну прицепить. Но с матери — что возьмешь?

В общем, ничего для Первого Савелию было не жалко — ни зубов, ни жизни. Потому что не бросил, а, может, сам где отбывал. Сидел.

Такая потому что жизнь, такая страна: мужикам нет места. Если не в забое, не в тюрьме и не в запое.

Каждая клетка при мысли о том, что отец нашелся, звенела, каждый ноготь силой наливался.

Выходило по-честному, по-людски. Без злодейства. Нашелся и для Савелия человек. Нашелся! Ура, товарищи.

Сколько он в это верил? Ну? Два дня? Три? А шесть почти лет не хотели?

Уже при должности был, уже при шофере, портфеле, уже в кабинеты был вхожий. Молодой перспективный управленец, бывший военный. Ага. Два курса, чем не бывший? Верил. Кулаки сжимал, чтоб сердце не выскочило. Ничто за унижение не считал.

Ни что баб всех его Первый попробовал, ни что шагу без «отчитаться» сделать не дал. «Бэху» вишневую, самовольно Саввой купленную, бензином заставил облить, поджечь собственноручно и глядеть, как горит.

Конфетку «бэху». Лялечку.

Все прощалось, потому что как по-другому? Ведь отцом считал.

До конца тысячелетия. До стрельбы во дворе.

Савва привез двухметровую голубую елку.

Первый шел к машине — оценить. Из подворотни — бугай с пистолетом. Гангстер, мать его тетка. Савва первым увидел. Мгновение. Не секунда, не доля, атом времени. Бывает такое? Вот в этот атом успел голову Первого пригнуть и всего его к стене оттеснить. Нос ему, правда, разбил. Случайно, в запаре. А сам получил пулю в плечо. Было больно. Хотел рукой за плечо схватиться. Но нет, она ж в крови батиной. А кровь — важное дело в системе доказательств.

Дальше совсем смешно. Девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента дала генетическая экспертиза. То есть не дала.

Ни одного шанса.

Прощай, батя.

Здравствуй, Миллениум.

Можно было бы выпить. Если в тридцать лет ума нет, то и не будет. И кто-то всегда казак, а кто-то, хоть тресни, пороссячий хвост. Но не пило. Вообще. Не пило и не кололось.

Забить косяк — да, пройтись по коксу — да, ЛСД — было, экстази как грязи. Штырило, колбасило, но попускало быстро. В голове было сумрачно, на душе тяжко, во рту сухо. Не привязало. И пробовать перестал.

Савелий подозревал, что с водкой могло сложиться. Скорее всего, сложилось бы полюбовно, сладко. Но обоссаная и заблеванная бабка действовала не хуже прививки.

Бабку, кстати, Савелий долго лечил. Зубы хотел вставить. Но она — ни в какую. Зубы, сказала, золотые, родительские, а водка — она же жизнь. Хоть верти, а хоть пруд пруди. Умерла культурно. Бахнула на ночь стакашку и отбыла в вечное плавание.

* * *

Рудник Вильямсона выглядел лучше, чем Ильичевская-бис. Чище. Все — в белом. Как в снегу. Но Савелий не верил. Хотел дожидаться ночи. Ночи и зимы. Хотел послушать, как воет ветер, как из трещин в земле поднимается другая, не белая пыль, как размокает, расплзается грязью. А по грязи ноги — в рваных латаных ботинках. Спотыкаются, сгибаются в коленях... Только ноги. Лиц не видно. Лица — черные. Не от пыли, от жизни... Черные, спитые шахтерские лица. Алмазы, говорите?

Была у Савелия Вениаминовича идея. Он хотел в поселке своем, на малой родине, асфальт проложить, завод конфетный наладить, фабрику текстильную запустить. Плюс маленькие магазинчики-стекляшки, чтобы круглосуточно, чтобы светились и музыка внутри играла. Импортная, с оптимизмом и полезным английским языком.

«Нет!» — сказал Первый.

«Почему? Пацаны тут просчитали... Бюджет потянет, бизнес подбросит. Почему нет?» — не возразил, а взмолился почти Савелий. Савелий Вениаминович уже.

«Нет. Это твоя дыра. И пусть будет. У каждого должна быть дыра. Чтобы помнили, откуда на белый свет народились и куда можете вернуться. Там гнить должно, Савлик. Пока там гниет, ты тут верный будешь. Чем больше дыр, тем выше прыжок, да? На месте прыжок... Забава наша. Усвоил?»

Мудро. Так жить, чтобы некуда было возвращаться. Чтобы от ужаса и страха каменеть, от возможности одной выгребной ямы, от воды, которая бежит желтой тонкой струйкой, это если бежит, чтобы от холода к печке, а от печки — угарным газом. Щеки красные, спать охота. И сам не знаешь, живешь или умер уже.

Гид по имени Питер, что возил по Танзании, был молчаливым. Высокий, худой, похожий на потемневшего от времени римского легионера, он ловко вел машину по отсутствующим дорогам, не включал радио, не пел себе под нос, не предлагал Савелию Вениаминовичу ни девочек, ни сувениры, ни охоту-сафари, ни даже поездку на озеро Виктория. Не хотел заработать, что ли? Вот! Растет, мать его тетка, благосостояние стран третьего мира.

— Давай людей посмотрим, — сказал Савелий Вениаминович.

— Купить? — нехорошо усмехнулся гид. — Купить хотите? — помолчал и добавил: — Шутка.

Савелий дернулся. Почему не взял охранника? Почему не взял двух? Почему поехал без своего водителя?

Ничтожный червь Савлик. Дурачок. Один на один с этим негром он, пожалуй, справится. Но черножопая братва прибежит на подмогу — и что? Кабздец? Смерть в саванне?

— Посмотреть. Какая жизнь. Просто посмотреть.

Английский Савелия Вениаминовича был маленьким и добрым, удобным для путешествий в Париж, на Мальдивы или на Сардинию. Для Африки пока годился... Кто же мог подумать, что надо больше? Что кому-то что-то еще придется объяснять. До драки или после...

— Масаи живут в больших деревнях. Я — масаи. Масаи — высший народ. У нас была школа. Я хорошо учился. Хотите посмотреть школу? Мою деревню?

— Я хочу настоящую.

— Моя тоже настоящая. Просто она как пример. Как очень хороший пример.

— Я понимаю.

Конечно, Савелий Вениаминович понимал. У него в губернии тоже были образцовые села, образцовые фермерские хозяйства, правофланговые школы, детские дома, пара заводов-красавчиков. Там все было вылизано, вычищено и почти по закону: подмытые коровы, дети, начальники транспортных цехов, санитарные книжки, сменная обувь, квалификационные комиссии и бесконечные визиты иностранных гостей.

На всякий случай Шишкин держал женскую организацию имени Параскевы Пятницы, из своих подкармливал общество филателистов и психиатрическую больницу, в которой лечили сном и трудом. Бабку свою туда сдавал раз несколько. Ну и осталось. Личная потому что связь.

Африка — она везде Африка.

Ехали на запад, за солнцем. За сезоном дождей, который наступает здесь вместо зимы. Почти степь, не жирная, не уходящая за горизонт, а прорезанная пламенеющими медными и красно-розовыми листьями странных кустарников, имени которых Савелий не знал.

Злился. Хотел есть. Хотел есть что-нибудь, грязными руками, на капоте машины, прямо сейчас.

В деревне Питера встречали как дорогого гостя. Савелия будто и не замечали даже. Питер сказал, что это из вежливости. «Когда ты приходишь домой, на тебя ведь не показывают пальцами? Не рассматривают твои зубы? Не виляют хвостом, когда ты приходишь домой?»

They wag the tail. Они виляют. Когда приходит Савелий, все виляют хвостом.

Дальше думать не хотелось. Отвращение, которое как будто упало на дно рудника Вильямсона и не смогло ни подняться, ни угнаться за ними, едущими за солнцем, дало знать о себе ноющей болью в виске.

— Я хочу есть.

— Идем, — позвал его Питер.

Дальше было невообразимое. Гид Питер взял в руки короткую стрелу, подошел к корове, резким движением проткнул ей сонную артерию. Как будто открыл кран с горячей водой. И подставил под струю глиняную миску. Бросил через плечо: «Из чашки удобнее, не так ли?». Улыбнулся. Протянул миску Савелию: «Ешь!».

Ешь, пей... Лечи подобное подобным, как говорил любимый гомеопат жены-дуры.

Савелий Вениаминович закрыл глаза. Представил, как наконец выложит все свои кишки и другие внутренности перед этим высшим народом, как выйдет из него все, что было, и чего не было... Глотнул.

А ничего. Открыл глаза. Посмотрел в небо. Высокое, не допрыгнуть, не долететь. Смешное небо. В звездах уже. В звездах как в веснушках. Глотнул снова. И снова и еще раз.

Пил кровь.

Запачкал белый в мелкую темно-синюю полоску пиджак, капнул на тенниску, на черную. На ней не видно. Вытер губы тыльной стороной ладони. Увидел,

как гид Питер замазывает рану свежим навозом, вдохнул ужасный этот запах. Рассмеялся.

Мужчины с удобными растянутыми ушами, лежащими почти на плечах (не, ну удобные же уши. Большие, да, пацаны?), рассмеялись тоже.

— Приглашают переночевать, если хотите, — сказал Питер, вытирая руки о тряпку.

— Нет, — качнул головой Савелий. — Сколько стоит ваш фирменный коктейль?

Протянул Питеру деньги. И не дурачок. Иногда и умный. Наличка была. И если Питер за нее не убил, то почему не поделиться с его братьями?

Мужчины кивнули. Достоинно. Без вот этого привычного прогиба, присюсюкивания, без внутреннего матюка, без плевка в спину сквозь дырку, оставленную выбитым зубом.

Ехали тихо. Снова без музыки и не быстро. Ночь не была темной. Луна как зоновский прожектор, освещала дорогу, кустарник и детей... Хлопцев, что спали в этих самых кустах.

— Почему тут спят? — спросил Савелий.

— Семь лет, десять лет. Взрослый. Взрослый живет сам. Умеет сам, возвращается в деревню. Умеет сам, приносит в деревню голову врага. Потом женится. Много жен, много детей... А корова не умрет, — сказал Питер.

— Я знаю. Она никогда не умрет, — ответил Савелий.

Поговорили.

* * *

Язык — всегда свидетель. Опасный. В нем все, что было и чего не было. У Сталина был социализм, а у Зощенко язык. Кому верить? Или вот — блат, дефицит, теперь еще откат, распил... Никто не слышит? Не слышал, что нет и не было в языке ни избытка, ни реформ. Ничего...

«Книги тебе жизнь испортят», — предупреждал Первый. Был, как всегда, прав.

Не сразу, не быстро, но пришло это. Как будто в голову переводчик поставили. В середине девяностых, когда Первый только пристраивал Савелия к делу, глотались в разговорах-терках только матюки. Первому было можно, Савелию — ни-ни. Он глотал их легко, в паузах, пока слово проходило через пищевод, успевал подумать, сообразить, переформулировать, соврать, да.

Перед условными своими, конечно, не стеснялся. Перед условными своими первым был он, Савелий.

Кто сверху, тот может и по правде сказать, с матушками и прочими блядьми. На высоких этажах — свобода. Так казалось.

Пролез, прополз, Первый протолкнул, и крепко за задницу держал. И вот — накося-выкуси.

Чем выше, тем хуже, тем туманнее. Из порожнего в пустое и обратно.

Савелий Вениаминович речи толкал и сам удивлялся: неужели верят? За чистую монету вот это все — да?

За окном раздолбанные дороги, расписанные трещинами хрущевки, канализационные коллекторы, в которых тонут машины и люди. Снег — стихийное бедствие. Дождь — грязевые потоки. Дети на улицах не гуляют. Страшно, темно, стаи бродячих собак и смелых бомжей. А он говорит: «Мы достигли стабильности, реформа коммунального хозяйства позволила модернизировать триста метров труб. Социальные гарантии пенсионерам вывели эту группу в средний класс... Модернизация транспорта позволила решить проблему...»

Когда Савелий Вениаминович все это произносит, ему плохо. Знает, что голый король. Голый король в системе других голых королей. Но все молчат. Нет ни детей, ни других желающих лезть на рожон.

Оппозиция зато есть. Тоже со словами: «Мы настаиваем на изменении характера экономики региона. Мы не должны быть сырьевым придатком. Электронные технологии — это тот путь, который спасет страну...».

Те же яйца, вид сбоку... Козырьки над подъездами убивают не хуже гопников, лифты опять же... Осторожно, двери открываются, и очередной лох летит встречаться с апостолом Петром.

А если ветер, то деревья. На крыши машин, на проезжие части и на головы трудящихся.

Технологии — это да. Обязательно выручат нас технологии.

«Тебе, что ли, за державу обидно?» — ехидно усмехнулся Первый, когда Савелий попробовал еще раз пробить свой проект по малой родине.

«Устал пустое говорить. Как смолу в глотку налили...»

«Ой, какие мы нежные. Ой, какие мы прозревшие... Ой, как нам не поздно все начать сначала. Забавный ты хомяк, Савлик. Чесно слово, забавный... — оживился даже Первый. — А ты попробуй. Попробуй, не ссы... С образования своего начни, ага...»

Язык знает, он чувствует, когда нет ничего настоящего, когда все куплено-заплачено, даже хорошие слова становятся стыдными.

У Савелия Вениаминовича два высших образования и кандидатская степень по экономике. Без единого захода в адрес. На защите своей, да, был. Пять минут позора и всю жизнь кандидат наук. Позора особого не было. Но на новых визитках степень он больше не указывает.

Наткнулся потому что на такой сочувственный, безгливый такой взгляд девицы-журналистки, что до костей пробрало.

Пробрало-ударило. Значит, знают? Значит, где-то, среди отстойных очкариков, ботанов (сколько их, один процент, полтора?), нищих бюджетников... Но знают? И не смеются даже, жалеют? Себя бы пожалели: ни украсть, ни пропить. Живут-ноют. Макарошки, ептить, по-флотски.

Он заводил себя привычно. И в целом, и адресно. Мол, а сама она что? Соска папикова? Ну, не певица, как сейчас водится, журналистка. Свитер в катышках. Сумка из козы-дерезы. Ей ли носом вертеть? Пигалица.

Но зацепила. Думал о ней часто. Не остывал никак. Штурмом решил взять. Хули крепость?

Эксклюзивное интервью пообещал. Ага. В уютном кабаке. Винтаж, патинированная мебель, повар-француз реальный, тарелки подогретые, порции маленькие, чтобы пузо не растить. За роялем лабух. Классическая музыка. По просьбам трудящихся даже Мурка.

В пресс-службе от этой его идеи на уши встали: «Зачем? Такие риски, Савелий Вениаминович, такие риски... Вы ж сроду никогда ни с кем... Мы ж всю жизнь все тексты за вас, для вас... Ну, в общем, плохая идея».

Он уперся. Потому что был план: в коечку, принцессу безгливую, в коечку, в отельчике «Монте Карло-бей». Потом шопинг, клубчик и машинка, на которую укажет ее пальчик во время променада по набережной-авеню имени принцессы Грейс. А?

«Я хочу, — написала пигалица на e-mail пресс-службы, — чтобы вы ответили честно на один вопрос: «Кто сделал вам в жизни Самое Плохое?»».

«Вам» с маленькой буквы, «Самое Плохое» с больших.

Савелий обиделся. Но и испугался тоже. Понял, что хотел бы с ней поговорить. Просто так, без диктофона, за жизнь.

Оценил это в себе как слабость, как бабство. И от интервью наотрез отказался.

Зато поменял визитки. Скромно и со вкусом: «Савелий Вениаминович Шишкин. Губернатор».

И никаких кандидатов экономических наук. Название губернии тоже — на фиг... Вон у Первого на визитке были только имя и фамилия. Так люди квартиры продавали, чтобы картоночку эту из его рук получить. Разве ж коррупция? Если сами, по собственной воле — продавали и чемоданами несли?

После пигалицы Савелий Вениаминович стал спотыкаться в словах. Когда зам его по сельскому хозяйству отвалил за орден полмиллиона здоровых денег, в горле, как в дорожной пробке, застряли поздравления. Не смог выдавить ничего, подавился мыслью «можно было и подешевле, надо знать, куда заносить...».

Орден. Благодарное отечество.

Догоняли его эти слова. До хвори догоняли.

От бесконечного повторения мантры про «улучшение благосостояния» немели ноги. От слова «любовь», спетого в ухо, рвало как по заказу. Он мог бы составить словарь болезней от этих пустых и ядовитых...

Каждый бы мог.

* * *

— Не спишь? — спросил гид Питер

Савелий покачал головой.

— Тогда слушай сказку.

— У вас тут высокий уровень обслуживания, — ухмыльнулся Савелий.

— Давным-давно чибис боялся землетрясения и урагана. Он думал, что ночью небо может упасть на него и раздавить в лепешку. А обезьяна боялась, что воры и разбойники украдут землю, пока она спит. И только земляной червяк испугался голода: «О, если кончатся запасы в почве, которыми я питаюсь, тогда я умру, умру!». Вот почему чибис всегда спит на спине. Он задирает свои крошечные лапки, чтобы подпереть небо, если оно вдруг рухнет. А обезьяна каждую ночь трижды спускается с дерева, чтобы пощупать землю и убедиться, что разбойники еще не украли ее...

А Савелий не боялся. Поначалу не боялся, нет. Если разобраться, то ни Первого не боялся, ни команды его — подобранной в штрафбатах, СИЗО, на прочих площадках для молодняка.

Перло Савелия от счастья жрать, что хочешь, от вольницы, от чужого страха. Он стрелял, в него стреляли.

Разок попали. А он — нет. Ни в кого и ни разу. Тут свезло. Ближе к сорока он понял, что было таки место везению. Без мальчиков кровавых в глазах обошлось. Это да...

Жить-поживать да добра наживать было легко и даже весело.

Тем более что добро прибавлялось как-то само собой.

Акции станкостроительного и химического заводов, компания по грузоперевозкам, стеклодувный цех (стоял закрытый, но в акциях — был, значился), пара строительных фирм, еще по мелочи.

Записано на детках, жене-дуре и даже на матери. А чего бы и нет?

Только если вот Савелий дернется, придут люди, морды серые, бумажные, скажут: «Верните любововно, иначе как заплачет по вам наш суд, самый гуманный суд в мире...».

Если дернется Савелий в свою жизнь, останется ему квартира, дача и домик у самого синего моря. Все как у советских персональных пенсионеров. Пока ты в деле, ты Князь. Спрыгнул — свободен. И это еще хорошо, если свободен.

Не боялся, нет. Ни зоны, ни смерти. И так затянул. Если бы в двадцать лет сел, уже б пару лет как сдох. Перегулял Савва. Перегулял.

Но вот так, чтобы оглянуться, вспомнить, получается, что и нечего.

Штаны хорошие научился носить и на других распознавать. Дядька-портной из Италии прямо в кабинет приезжал. Ну? Что еще... В часах разбираться, в автомобилях... Научился сразу видеть, как стырить процентов тридцать-сорок от проектной стоимости любого доброго дела на благо общества. Хорошую пластику груди тоже умел отличать от плохой. Хотя на ощупь все эти сиськи деланные так себе, не очень. Дутое оно дутое и есть, а если ночью такая дыня на голову свалится, то и коньки откинешь.

Морду умел делать чайником: брови свести, глаза в одну точку, рот — в точку, чтобы все судьбы родины в складках вокруг были видны...

Что еще? Еда всякая, самолеты, яхты (не больше десяти метров, понял, тебе больше не положено!).

Один раз сказал, не подумав, Первому: «Какие-то мы вредители получаемся...».

«О, мертвые заговорили, — ухмыльнулся он. — Вредители? Да мы — клей, понял, мы — клей, чтобы не распалось, не разбежалось стадо. Чем дурнее, чтобы ты понял, чем хуже, голоднее, тем ближе друг к другу. Плечом к плечу. Коллектив... Государство».

«Волки — санитары леса?» — Савелий опомнился только тогда, когда на пол снова полетели зубы. Этих было жалче. Эти были фарфоровые, красивые, он ставил их долго. Дантистку свою (ну звучит же, звучит?) два раза в Таиланд вывез. И было жарко, и влажно, и целую неделю вообще-то беззубо. И он даже смеялся.

Первый бил Савелия без особого чувства. Не для боли, а для унижения. Но унижения как раз не было. Тошнило только сильнее обычного.

Пять лет назад, после похорон бабки, мать решила остаться в семье. Набегалась, умаялась, никто ее не пригрел, не приглубил и в жены не взял.

«Я устала, сынок. Буду с вами, внуков вам понянчу, полы помою... Не прогонишь?»

Она смотрела в глаза Савелию так же, как все, — преданно, жалобно и немного брезгливо. Он мог дать, а мог не дать. Но от этого «не дать» жизнь матери и всех других просителей не изменилась бы кардинально. Они остались бы на месте, там, где стояли.

Эту мысль Савелий никогда не мог додумать до конца. Вертелось в голове смутное представление о том, что остаться на месте — это лучше. Даже, если это место — канава, барак, СИЗО, грунтовая дорога или, черт с ним, забой.

Но почему лучше?

Разве самогон или забытый напрочь «Тройной одеколон» лучше, чем виски? Надо было пить. Пробовать. Чтобы понимать, надо пробовать.

Он взял матери квартиру. Видеть ее каждый день в своем доме не было желания. Чужая женщина с тонкими чертами лица, визгливым голосом и холодным взглядом круглых серых глаз... У Савелия было много чужих женщин. В свой дом он их не водил.

Мать обиделась. Обиду компенсировала материально. Мебель, ремонт, море, домработница, собака размером с навозного жука, авто, к нему водитель, косметология, пластика, Милан, горные лыжи. Когда ей не хватало денег, приходила «навещать внуков» (ей было без разницы, что они оба с семи лет учились

за границей) и взхлеб ссорилась с женой-дурой. Или с ее матерью. Или с кем-то, кто попадался под руку.

За пять сытых и укорененных лет мать превратилась в светскую львицу — резиновую, тягучую, капризную и в смысле мозгов совершенно стерильную.

Зато она была нарядной. Вся в блестяшках, кружавчиках, мать постоянно побеждала черный цвет («Это моя миссия. Я не похоронный агент»). Как все другие львицы, она пела, рисовала, продавала свои наряды на благотворительных аукционах и давала бесконечные интервью.

Савелий ждал, что Первый скажет: «Выкинь или посади под замок, она тебя позорит...». И он бы выкинул. Или посадил. С радостью. Но Первый переспал с ней для порядка. С ней и с виагрой. Переспал, объявил об этом и ухмылялся. Веселая ситуация, разве нет?

«Мама, ты проститутка?» — спросил Савелий. Он давно хотел об этом спросить. Во время каждого приезда-отъезда. Лет с пяти он пусто повторял этот вопрос за бабкой, лет с семи повторял его со смыслом. Про себя, не вслух... Знал: спросит — и будет драка. И бить будут его — «гаденыша», «выпердыша», «говнюка неблагодарного».

Был момент еще, когда мать стало жалко. Савелий увидел ее — тоненькую, замученную, глупую, да, ну и что? Увидел ее легкость, способность к радости, дурную веру в то, что все будет очень и очень хорошо, надо только не сдаваться, искать... И что-то там еще — надо. Он увидел ее такой в свои пятнадцать, устыдился. Решил не лезть.

Она, мать, на крыле была. Какой-то питерский НИИшник вроде звал замуж, хотя был, конечно, с алиментами, старыми родителями и зарплатой унылой, как их обшарпанный дворовой умывальный. Но, кажется, была любовь, перспектива, и мать присматривала в магазине «Клен» кушетку, которую можно было бы поставить для Саввушки в их новой квартире.

Не срослось. Не взяли мать в Питер. Два месяца они с бабкой пили и ругались. Друг на друга, на судьбу-злодейку, на мужиков-сволочей. А к лету мать укатила в Сочи. Говорила: буду мыть посуду, а как намою на комнатку в общежитии, так сразу тебя и заберу. Так что кушетку — стереги-береги-присматривай.

Савелий, как дурак последний, присматривал. У кого Лувр — музей, у кого магазин «Клен». Это только кажется, что разные степени недостижимости. Только кажется.

«Ты проститутка?» — спросил Савелий.

«В моем возрасте это уже не обидный вопрос. Это комплимент», — сказала мать. Ей было пятьдесят восемь. Первому — семьдесят один. Нормально?

«Он хороший мужик, — твердо сказала мать. — Несчастный только».

Ясный пень. У нее все были сначала несчастные, потом — сволочи. Несчастье — это такой единый проездной для каждой дуры под названием «женщина».

Глаза у матери раньше были круглыми, а теперь стали раскосыми, аккуратно подтянутыми к вискам. Силы у нее во взгляде никогда не было, а теперь и вовсе — олененок, мать ее тетка. Сжималось сердце, сжималось, куда денешься. И было тошно.

«У него сын — твой ровесник. Рассеянный склероз. Давно. Сейчас уже нет такого течения болезни. Все врачи говорят: «Нет сейчас такого течения, и жить можно с этим сто лет и практически без инвалидности». Но он еще в прошлом веке заболел, когда была совсем другая медицина и другие возможности. В кресле двадцать лет. Ни руки, ни ноги... Они за мышцы языка сейчас сражаются, за гортань, чтобы ел и дышал. Понимаешь? Ты понимаешь, сколько это несчастья? Сынок?»

Нет, он не понимал. Мог объяснить, знал, как надо реагировать. Знал, что надо жалеть. Но не жалел.

Дровам в топке все равно, какой кровью обливается сердце дровосека. Савелий ощущал себя качественным поленом. И был уверен, что для Первого болезнь сына была пользой и ширмой. И не в ней было дело.

Горе — туз козырный. Но ходить с него можно один раз. А у нас привычка: если что, побеждать горем. На него равняться, с него картины писать — хоть героического сопротивления, хоть смерти голодной, хоть чего... Заказывай — не хочу...

— А земляной червяк, — сказал Питер, — теперь от страха тут же выплевывает все, что съедает. Он думает, что так сохраняет запасы еды...

— Рыгает, значит? — засыпая, спросил Савелий.

* * *

Утро в Танзании наступало быстро, солнце не церемонилось, не стучало деликатно, било в глаз, бросало в пот, сушило... И перемещалось по небу прыжками. Солнце здесь было дома. Хозяйничало.

От спанья под кустом ломило спину. Какой черт дернул его? Какой черт захотел стать «как мальчик масаи»?

Гид Питер сидел рядом, невозмутимый и величавый.

— Будем ехать или будем здесь жить? — спросил он.

— Разве здесь можно жить? — Савелий поднялся на ноги, отряхнулся. Затрещал-захрустел суставами. — Может быть, надо построить здесь дома, магазины, чтобы музыка играла, чтобы рабочие места? А?

Гид Питер смотрел на него жалостливо.

— Снова Киплинг. Все время Киплинг. Take up the White Man's burden...

Было много английских слов, которые рифмовались. Рифму, ритм Савелий понимал, кое-какие слова тоже... Звуки у Питера были гортанные. Он говорил тихо, но казалось, что где-то рядом кричит птица. Савелий спросил:

— Кто такой Киплинг? Киплинг — это Маугли?

— Я учился лучше, чем ты, — усмехнулся гид Питер.

— Я вообще не учился, — сказал Савелий. — Только в школе немного.

— Тогда зачем ты предлагаешь нам свою жизнь? Когда к нам приходит ваша цивилизация, мы много едим и пьем, мало думаем, быстро умираем.

— А мы ворует. Когда к нам приходит цивилизация, мы ворует.

— Нет, — Питер покачал головой. Показал зубы. Как будто улыбка. Но глаза его были серьезными. Гиду Питеру, мальчику-масаи, черножопому-голожопому, побирушке, живущему на чаевые от продажи родины, было жалко Савелия. Ну не срака-мотыка? — Нет. Мы не ворует. Мы берем то, что подарил нам всем бог Энгай.

— У нас другой бог.

— Но он тоже подарил вам все на свете. Вы можете брать это и пользоваться. Другие могут брать и пользоваться. Никто не может забрать все себе.

— Почему? — удивился Савелий.

— Ты не знаешь ответа на этот вопрос?

Да. Савелий не знал ответа на этот вопрос.

Был период, когда всего хотелось. Не детский — мамку-космос — джинсы-«Жигули» — а другой, осмысленный. В горле комком стояло: «Хочу! Могу! Буду!». Appetit был зверский, нос — по ветру. Ничем не брезговал. Хотел. Сначала квартиру — триста метров в двух этажах. Слова «джакузи», «инкрустация», «порш-дизайн» вкусно, как барбариски, перекатывались во рту. Чтобы телек — в каждой

комнате, чтобы музыкальный центр, чтобы полы — с подогревом и на пульте управления. И шторы, и свет, и люстры антикварные — тоже на управлении. Сам лично о кранах пекся. Кран-смеситель. Звучит? А если еще байда хрустальная наглобучена, и все это дело каратным золотом покрыто, то полное счастье.

Потом был дом и участок. Десять гектаров, лес — заповедная зона, пруд. Пруд чистили-мыли, докопались до ключей. А когда ключи, своя вода, то это не пруд, а уже озеро. Живая жизнь.

Мертвая тоже была. Картины стал собирать. Не старше восемнадцатого века. Щекастые бледные тетки, дядьки-гомики в туфлях на каблуках и в париках, в кружевах еще и с бантами (куда церковь, интересно, смотрела? Часто этот вопрос задавал. Братва смеялась. Савелию было приятно).

Из всей живописи ценил только натюрморты. Жрачку. Был у него любимый — селедка на бумаге, кружка с молоком, кувшин, кусок хлеба отгрызанный и пустая тарелка-миска. Стоял перед этой селедкой, до слез прошибало.

В доме все уже было по наивысшему разряду. Обои, инкрустированные перламутром, в кабинетах — шелк династии Цинь. Ковры ручной работы, говорили, вывезенные из резиденции иранского шаха. Яйца, конечно. Фаберже. Деревянные ручки династии Медичи. Всей династии или ее ошметков, не знал. Понимал, конечно, что туфты ему впарили процентов пятьдесят. Но кто нам ревизор, антиквар и смотритель? Блестит, трещит, переливается... Красиво. Буклет сделали — пятьдесят страниц. Путеводитель по дому, чтобы не заплутал и знал, где у него винный погреб, а где — зимний сад.

Бабка дома не видела. Только квартиру. На краешке дивана уместилась, рюмку приняла, другую тоже. Выпила знатно, но не до песен. Сказала весело: «Вот и дожил ты, внучек, до коммунизма. А никто ж не верил!». Икнула смачно и захрапела. А проснулась, сразу попросилась домой. Не могу, сказала, в музее нормальному человеку ни пожрать, ни посрать. Нету мне здесь места.

Лес, озеро, сад, конюшня, беседки, охотничий домик, гараж на десять машин, своя автомойка, котельная тоже своя. А места нет. Нет и не было в этом доме места для Савелия. Вот поди ж ты, не умри вовремя, жри золото лопатой, а на выходе — что?

Коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Способности у Савелия Вениаминовича были маленькие, а потребности большие. Однако же срослось. Деньги как фактор шуршания и пересчета исчезли. Сначала из кошелька, а потом вообще. Деньги начинались с миллиона по безналу, а потому цены на хлеб, пальто, авто не имели смысла.

Не существовали эти цены. И люди, для которых они играли роль, не существовали тоже.

Но и сам Савелий, если разобраться...

Только поговорить об этом было не с кем. Он вообще не разговаривал. Отдавал команды, слушал приказы, надувал щеки, фыркал, держал паузу, по-государственному разносил слова и интонировал речь. Но не разговаривал. Зато читал.

Детская привязанность к «Острову сокровищ» открыла ему Стивенсона. А Стивенсон — доктора Джекила и мистера Хайда.

Трагедия Джекила была понятна. Перло-перло и расперло. В команде губернатора Шишкина такие были. Чистенькие, идеально заточенные под классическую музыку, дипломатические приемы, гражданскую ответственность и маленькие зарубежные гранты на ее развитие. Им даже не надо было делать укол, чтобы вывести на свет Божий хайдов со всеми их натуральными причинами. Им надо было только предложить кусок пирога и вариант распила.

Сам Савелий, ясен-красен, был Хайдом с самого начала. Одни инстинкты. Он даже не знал, что их следует стесняться. В странной его истории плотно сто-

ял другой вопрос: как, почему, за что этот ублюдочный пораженец Джекил стал подавать голос. Зная точно, что ему не вылезти и не победить, он свернулся комком, дрожал, как осиновый лист, но не переставая впрыскивал внутрь то самое, что вызывало у Савелия стойкую реакцию отвращения к жизни.

Если бы Стивенсон был жив, губернатор Шишкин бросил бы все и поехал к нему: чисто рассказать. Рассказать и стать бомжом в Лондоне. Жене-дуре так было бы даже лучше.

* * *

Тем более что она не всегда была душой. И не всегда — пластмассовым изделием. Ее звали Маша. Она жила с Савелием в одном поселке (они говорили «на». «На одном поселке»). Маша была дочерью заместителя районного прокурора. В их квартире — в единственной поселковой многоэтажке, был лифт, мусоропровод и горячая вода. Маша была чистенькая, как все дети из этого дома. Но страшненькая. Худая, ноги кривые, глаза мелкие, выданные на сдачу от длиннющего бургристого носа. Крупные, как у лошади, зубы. Между ними — дырки. Серые жидкие волосы, впалая грудь.

Ее хорошо кормили, весь поселок видел, как водитель выгружает коробки с обкомовскими пайками. Собаки собирались вокруг мгновенно, лаяли и заливались слюной. После того как водитель входил в подъезд, запах копченой колбасы стоял еще минут пять-десять. Собаки грустно ложились на землю — в пыль или в снег, по сезону — и счастливо дышали тем, о чем вообще не имели представления.

Да. Машу кормили хорошо, но все равно во всей ее фигуре ощущалась какая-то нехватка. Какой-то недостаток. Или даже больше — недоделка.

Ближе к сорока Савелий Вениаминович научился есть устриц, плесенные сыры, трюфеля. Есть и находить в них вкус. С красотой женской — так же. Неочевидность, неровность, погрешность — все, что материны журналы называли «изюминкой», останавливало его взгляд. Ему стали интересны лица, а не ноги, ягодички и груди. Он находил привлекательной всякую природную неудачу. Ему нравились усилия, направленные на то, чтобы носить ее, неудачу, как орден. В этом было много смелости и вызова.

Но в юности хотелось Василису, а Маша была только лягушкой. Без возможности превращения.

Первый сказал: «Поухаживай и женись».

Савелий было дернулся, обиделся. Но тогда еще верил в отцовское и подумал, что это наставление. Согласился: почему нет? Пусть. Будет жена, будет дом.

Он не знал, как это, когда дом. Представлял приблизительно: стол, супница, вилки и ножи, салфетки полотняные, во главе — отец. В жизни, конечно, таких домов-супниц не видел. Но читал. Про дом всегда читал, а про любовь — пролиставал. Пустое.

Маша была на четыре года старше, но в ней не ощущалось ни веса, ни жизни, ни лет. Савелий пришел на нее посмотреть в районный суд. После юрфака она работала там помощницей судьи.

Посмотрел.

Вышел.

Закрыв глаза, чтобы представить себе ее, и не смог. Не представил. Как будто кто-то тут же стер из памяти ее изображение. Пожаловался Первому: «Не могу ее запомнить». «И хорошо, будешь приглядываться постепенно, есть шанс, что не скоро надоест...». «Мне бы фотокарточку, что ли...» — попытался пошутить Савелий. «Заткнись и делай», — отрезал Первый.

Делать было нетрудно. Савелий снова пришел в суд, поймал Машу в коридоре, схватил за руку: «Мне не ясна, девушка, одна буква закона. Прошу помощи...».

Она улыбнулась: «Та самая буква, по которой ваше дело было закрыто?».

«Уже год как... — Савелий хищно улыбнулся, прищурился и спросил: — Значит, все обо всем в курсе? Значит, улица с двусторонним движением? Она шире, конечно, но машины едут в разные стороны, а?»

«Не вижу ничего плохого в том, что нас решили познакомить», — сказала она.

«Как породистых собачек...»

«Которых ты вряд ли видел...»

«Одну вот суку увидеть повезло...» — хотел было сказать он, но вовремя остановился.

А с другой стороны?.. Вот совсем с другой. А что еще ей было делать, этой серой, неправильно вогнутой Маше? Притвориться Снегурочкой? Растаять с приходом весны? И врать от первой встречи до гробовой доски? В том, что гробовая доска будет у них общей, Савелий тогда не сомневался.

«Заведем собаку, не вопрос», — сказал он, продолжая держать Машу за руку.

Руки... Руки — это зона. Не шея-пупки, руки. Руки первыми теряют волю к сопротивлению, сдаются, обмякают или, напротив, хаотично латают плечи, спину и что-нибудь даже еще. Они отвечают пульсом. Кровью. Почти по понятиям.

Рука Маши, сжатая Савелием у локтя, расслабилась, как будто даже увеличилась слегка в размерах и удобно разлеглась в его ладони.

Начали встречаться. Савелий ждал Машу у суда, провожал до подъезда. В подъезде задерживал, прижимал к батарее возле окна, неторопливо щупал пальто, расстегивал пуговицы, зарывался носом в лисий мех, пробирался к груди, разочарованно натываясь на ребра, опускал ладонь ниже и там тоже почему-то разочаровывался.

Была зима. И деньги уже были. И забегаловки, в которых пластмассовые столы покрывали синтетическими, с неожиданной электрической искрой, скатертями, а потолок завешивали мигающими лампочками-«цветомышкой». Они назывались ресторанами или кафе, но водить в них Машу означало показывать и сравнивать. А когда Маша сбрасывала шкурку с лисьим воротником, лисью тоже шапку, разматывала длинный мохеровый шарф... Когда Маша сбрасывала все, что считалось в их поселке «дорого-богато», оставалась она сама. И предьявлять ее такую как трофей Савелию не хотелось.

Можно было ходить в кино. Но в кинотеатрах тогда продавали мебель, обои, автозапчасти. В кинотеатрах собирались люди по интересам — продавцы косметики, средств для похудения, каких-то лекарств, секретно гарантирующих бессмертие и преодоление бесплодия...

После подъезда Савелий шел домой. Хотя мог бы идти куда угодно.

В то счастливое бестелефонное время никто, даже Первый, никогда бы не смог знать наверняка, с бабкой или с бабой ночевал Савелий.

Но других женщин тогда не хотелось. Мужское тихо слиняло и превратилось в детское. Для Саввы эти встречи оказались трудными, непривычными. Но что-то в них было, что-то важное, возможное. Единственное, что напрягало, — это батарея и необходимость расстегивать пуговицы.

Машка была ему товарищ. А раздевать товарища, чтобы проткнуть хрупкую дружбу детородным органом — разве хорошо? Разве надо?

Ее, кстати, звали Майя. Майка. Очень подходящее имя для человека без внешности. Она сама назвалась Машей и стояла на том мертво.

«Брось, — говорил он. — Назовем дочку Инкой, а сына Ацтеком. И будет комплект...»

Она обижалась. И это было хуже всего, потому что примиряться следовало поцелуями, недоразрешенными касаниями, ее быстрым обмяканием и протяжным хриплым стоном.

Савелий мог бы с ней говорить. Хотел говорить. Рассчитывал все-таки на двухполосную дорогу. Чтобы в одну сторону, вместе. Но его автопарк вез тонны дружбы и, может быть, даже родственности. А маленькие атомобильчики Маши перевозили лишь страсть. Совпадало только направление.

В мае он был зван в дом, представлен родителям, опрошен, осмотрен, накормлен уткой с яблоками и тортом «Муравейник».

«Жениться когда думаете?» — спросил ее отец, Сергей Федорович.

«Папа!» — вспыхнула Машка и выбежала из-за стола.

«Жениться, говорю, когда? — строго повторил он. — Чего тянем? Куда тянем? Или поматросить и бросить собрался?»

«Нет. Деньги хочу подкопить. Кооператив купить. Или как у людей — квартиру», — ответил Савелий.

«У меня назначение в область. Повышение. Квартиру сделаем. Пока однокомнатную. А тебе в исполкоме — стульчик... Ну?»

За Машку стало почему-то обидно. Не такой уж была она лежалый товар, чтобы впаривать ее в нагрузку.

Потом, позже, когда семейная река вошла в широкое, пологое русло и стала почти медленной и почти недвижимой, а пьяная, совсем как бабка, Машка надувала для своих слов слюнявые пузыри, он понял, что нагрузки не было. Она его высмотрела, вылюбила, назначила. Она его захотела. Как лисью шапку, как спортивный велик. Она сказала папе: «Купи!». И Сергей Федорович, почти съеденный злой, не разбирающей карьер, чинов и званий болезнью, нашел способ. Нашел Первого, с которым когда-то начинал государеву службу. И все совпало, потому что на каждый товар есть свой купец, а на каждую сделку своя печать.

Свадьба случилась в июле. Платье Машки зачем-то было с длинными рукавами, а его костюм — из плотной темной шерсти. Савелий помнил, как они с Машкой все время целовались и потели. И запах пота, резкого, кислого, чуть застоявшегося под мышками, перебил все другие запахи и чувства их первой брачной ночи. Ночи и утра, если точно. Их первого общего времени, в котором Савелию было подарено место — нетронутое, неношеное, удивительно бесстыдное и ненасытное.

Савелию казалось, что он сдает какой-то важный норматив. И от результата будет зависеть все. Это был не секс, а долг: хочешь — не хочешь, будешь!

Он был уверен, что мужчина не может сказать «нет». «Нет» — это для слабаков. В битве с простынями и подушками, с усталостью, со скрипом кровати, с солнцем, ударившим в пустое, бесшторное окно, с голодом, который подавал сигнал короткими болями в желудке... В этой битве он не мог проиграть. Но победа эта его не радовала. В ней был привкус резины и почему-то конюшни.

Свою часть договора Сергей Федорович выполнил. Стульчик оказался креслом заместителя отдела капитального строительства исполкома, в квартире с окнами на юг были горячая вода, унитаз, газовая плита. И этому чуду на исходе двадцатого века Савелий радовался больше, чем мог себе признаться.

Через полгода после свадьбы теща тихо умер, не причинив никому никакого беспокойства. Похороны его взяла на себя служба. Шел снег, играла музыка, в воздух стреляли трижды. Первого на похоронах не было.

Но Савелий работал на него. Сам уже не шил, не крал, не носил черную шапочку, которую, не стесняясь, называли пидоркой, не ездил на разборки «в районы». Теперь он курировал. Контролировал. И не только палатки.

Теперь у него были землеотводы, согласования, решения городских комиссий... Новая бумажная сила.

Как говорила бабка — «сила-силенная».

В первый год жизни с Машкой, без Первого на утренних и вечерних поверках, без тестя уже, Савелий хотел доказать какую-то свою личную теорему. В ответе, который нужно было выстроить, все сходилось идеально: он сам, его силы, его личные деньги, часы с камушками для Машки и для нее же — кожаный плащ.

В ответе — сходилось, но в условиях была дырка, что-то неназванное было, упущенное. Как будто кто-то стер посылки и следствия, чтобы нарочно создать между условием и решением пропасть или даже бездну.

Из ложного условия следовало ложное доказательство: Савелий думал, что он теперь сам. Сам-один. И сам-свободен. А не надо было думать: надо было сруливать.

Спрыгивать, бежать, хватать снова беременную Машку, недавно родившего сына, который не вызывал никакого чувства, кроме брезгливости. Но все равно — хватать. И бежать куда Макар телят не гонял...

Руки, которые держали ножницы для его жизни, проливали кровь и собирали деньги где-то в условной Чечне.

Вообще тогда не приходило в голову, что они, эти руки, эти ножницы, не волшебные и ни разу не добрые, уже замахнулись, чтобы отрезать.

На сопельке, на ниточке, на волосочке болталась тогда возможность будущего. И был вкус у настоящего. Был — не приторный, не душный, не тошно-творный, а вполне себе вкус.

Почему Савелий выбрал остаться? Никто ведь не принуждал, не заставлял и не пугал даже.

«Ты, Савлик, все сам, все сам...» — скрипел в голове голос Первого.

* * *

— Приезжай в гости, — сказал Савелий Питеру. — У нас страна больших возможностей.

Они стояли у входа в здание аэропорта «Дар-эс-Салам». Было жарко, но ветер уже дышал влажно, почти кашлял приближающимися дождями, в запахе которых Савелию чудился привкус полыни. Привычная горечь.

— У вас холодно. Очень холодно. Нужно покупать шапку, — улыбнулся Питер.

— А хочешь, я возьму тебя на работу? — предложил Савелий и испугался.

Живо увиделось: зима, сугробы, двухметровый поджарый негр в кроличьей шапке, в тонком пальтишке почему-то из «Детского мира», секретарша, Первый, Машка, совещание по планированию бюджета области с учетом иностранных инвестиций.

— Я тоже могу взять тебя на работу, — улыбнулся Питер.

И они оба засмеялись. Не от неловкости, от ровности. От ровности спины. Она была прямая у Питера. И у Савелия тоже была прямая.

Из Дар-эс-Салама летел в Дубай, оттуда в Москву. Из Москвы — домой.

На все про все ушло восемнадцать часов. Рейсы были стыкованы по уму. Потому что охранник Савелия был теперь больше логистик, чем телохранилитель.

Пока летел, думал о том, что впервые за много лет вырвался куда-то один. В их кругу принято было передвигаться делегациями, семьями, большими компаниями. Стаями. В путешествиях по Нормандии, Сицилии или норвежским фьор-

дам они должны были быть вместе. Вместе ловить рыбу, кататься на лыжах, греть пузо у бассейна, громко смеяться, горланить русские песни, лениво и снисходительно отпускать жен в загульный придиричивый шопинг.

Есть — завтракать с непромытыми лицами, ужинать в мишленовских ресторанах, обсуждать, как было в прошлый раз, поддевать официантов, называть американцев «тупыми», планировать каждый свой следующий шаг, каждый свой день и каждый луч солнца, выделенный им как представителям элиты.

Их трусы, купальники, отрывки, волосатые ноги («Савелий Вениаминович, а как вы относитесь к эпиляции?»), быстро схваченные простуды и заслуженные обжорством поносы, их женщины, если принималось решение ехать без жен, их половые успехи (чаще проблемы) — все это считалось общим, делилось и умножалось («не с убытков воровать, а с прибылей, запомни») на всех.

В поездках все они склеивались должностями, деньгами, взаимными одолжениями, позволительными в их кругу пороками, чтобы не ощутить бессмысленности своей жизни.

Их жены или женщины, если решение «гульнуть по свободе» одобрялось Первым, рассаживались на золотом крыльце согласно рангам — царицы, царевны, королевы, королевичны, сапожницы, портнихи. И у них не было ни одного шанса хоть на мгновение поменяться местами.

Строго вписанные в таблицу о рангах, их жены и женщины ведали глупостями и делали это настойчиво и даже истерично. Поэтому из каждой поездки, в которой Савелий был условно третьим или даже вторым, приходилось приводить обещание купить кролика, которыми увлекалась жена московского прокурора (и покупать! Не одного, а парочку, а лучше две. «Чтобы разводить на своей ферме. Потому что это так мило...»). Или антикварный автомобиль — обещать и покупать его в салоне, которым владела женщина министра. Хуже всего были диеты и клиники подруг нефтяных чиновников... В клиниках надо было лежать и худеть... И они ложились и худели. Иначе и без того сложные отношения могли разрушиться вмиг...

Когда на смену одним женщинам приходили другие, кроликов и диету можно было выбросить. Их место тут же занимали болонки, лошади, финансирование гастролей или еще какая чума, навсегда включенная в список субвенций настоящей мужской дружбы.

А пигалицу эту Савелий узнал сразу. Выходило, что запала она ему в душу. Помнил. «Кто вам сделал Самое Плохое?» Ага.

Жена Маша суетилась на ресепшн. Она всегда суетилась, подозревая служащих всех отелей в том, что они всучат ей худший из возможных люксов, окна которого будут выходить на шумную улицу или в хозяйственный двор. Маша никогда не знала точно, что лучше. В разных отелях всегда было разное «лучше». И тем, другим женщинам, все время доставалось правильное «лучше». А ей, им, какое-то смешное, над чем шутили постоянно. «Опять вершки и корешки», — говорили в компании. И глаза Маши мгновенно наливались слезами. Она огорчалась так, как будто вид из окна был самой главной неудачей в ее жизни.

Савелий предупредил ее, что в Мадриде нет моря и нет смысла биться за вид на него. Маша фыркнула, но обидеться не решилась. Она давно не решалась на него обижаться. Она была такой терпеливой и спокойной, что стэпфордские жены могли брать у нее уроки.

Они опоздали тогда на два дня. Компания уже посмотрела окрестные виллы, выставленные на продажу, сбегала в музей Реала, заскочила в Прадо и, сидя в лобби гостиницы «Ритц», горячечно спорила о том, что было раньше — дьявол, который это дело носил, или дурак, который развесил картины и назвал музей именем модного бренда.

Этот спор казался всем смешным. Савелий присоединился к нему, ожидая, пока Маша получит ключи.

Пигалица сидела напротив, в глубоком дорогом потертом кресле. Все в ней было не так, как запомнил Савелий. Волосы стали длинными, прямыми, пряди были выкрашены в разные цвета. Нет, не в синий и желтый, хотя это было бы смешно. В разные приличные цвета — от жаркого темно-русого до холодного, безжизненного белого. Конечно, она была не в джинсах, не в свитере с катышками... Конечно, теперь ее сумка была сшита не из козы-дерезы, а из какой-то очень дорогой кожи.

Блузка мягкого синего льна, три пуговицы, ведущие вниз, к закрытой на замок четвертой, молочного цвета кофта — не для тепла, для комплекта, светлые, тоже почти молочные брюки. Савелий бродил взглядом по ее новому гардеробу, пытаясь понять о ней то, чего не понимал о себе.

Он вдруг захотел сказать, что вот это все, все, что было на ней, включая даже кольцо по цене квартиры, ее не стоило. Все это было значительно дешевле ее наглости, надежды, отчаяния, ее брезгливого и жалостливого дыхания, ее глаз, прищуренных в честном удивлении от его когда-то важных степеней и званий.

Когда Маша взяла наконец ключи, Савелий поднялся с дивана, кивнул пьяненьким товарищам и, строго глядя в глаза Пигалице, спросил тихо: «Выйдешь вечером?».

В номере он сразу пошел в душ. Мылся. Мылся долго, чувствуя себя недостаточно чистым. Нюхал подмышки, рассматривал ногти, дышал в ладонь, чтобы поймать запах изо рта. Поймать и обезвредить. Видел себя всего — волосатая уже с проседью грудь, тугой, чуть больше, чем нужно, живот, крепкие ноги... Да, крепкие ноги. Он любил приседать со штангой и задыхался-ненавидел беговую дорожку. Он ходил в зал, потому что у сильной власти должно быть сильное и тренированное тело. Потому что на власть надо смотреть. Смотреть и любоваться. Спорт — это воля, и суррогат спорта — тоже воля. Хорошо, пусть тоже суррогат. Но все толстые — слабаки, а все жирные — идиоты.

И он скажет этой Пигалице, он спросит у нее, он рассмеется ей в лицо...

Только речь почему-то не получалась. Вода была слишком горячей, комната наполнялась паром, а слова никак не находились, не собирались. И репетируемый перед зеркалом смех был жалким. Маша кричала: «Что ты так долго? Пора ужинать. Нас все ждут. Выходи».

А он, Савелий, в горячем своем тумане, видел, как Пигалица заглядывает в рот своему жениху (тур был с официальными женщинами, значит, жениху). А изо рта этого придурка вылетают слюни, жирные масляные обещания, стыдные и не смешные анекдоты. Как он, почесывая задницу, садится к любому столу, как пьет, распуская по подбородку реки терпких красных вин. Как этим ртом он костерит своих бывших за размеры, истерики и позы и сам себе смеется, как целует ее — лениво и сыто. И как она невозмутимо улыбается, держит спину, не задает вопросов и видит будущее. И будущее, конечно, протягивает к ней руки, чтобы обнять, в нужных местах надуть и слегка раздавить. Слегка или сильно. Как получится.

Ужинали весело. Жених Пигалицы был в ударе. Он тянул на себе вечер, рассказывая, как нашел очередную жену на помойке («Вот эту, смотрите, она у меня ничего, а дырки между зубами — это мы вылечим, цементом зальем, да, лапочка?»), решил взять ее с двумя детьми («широкой я души человек») и тремя сестрами («чем больше баб, тем лучше»).

Всем столом обсуждали, куда ее пристроить. Жены-ветераны горячо спорили, что лучше для новобранца — главное кресло в нарядном глянцево-журнале или свое миленькое ток-шоу в телевизоре. Одна только Маша не участвовала,

молчала. Она обиделась за дырку в зубах. То единственное «неправленное», которое носила гордо и даже с вызовом.

Сошлись на том, что в их компании маловато интеллектуальных профессий. С Савелия стали требовать место декана факультета журналистики, он вяло отбивался автономией вузов вообще и независимостью университетов в частности. И это слово «автономия» вызывало бурный и даже слегка истерический смех.

Жених напился, почти не буйнил и был транспортирован в номер. Наверное, Пигалица раздевала его, снимала ботинки, носки, распускала галстук. Наверное, поправляла подушку...

Все разошлись. Савелий остался на террасе. С сигаретой и десертным меню ресторана «Гойя».

Отсюда можно было сбежать. Взять за руку Пигалицу, как когда-то хотелось взять Машку... Взять, черт с ними, детей пигалицы, ее сестер тоже. И бежать.

Ты можешь, можешь, можешь. Ты можешь сбежать.

Сердце Савелия пропускало один удар. В пропуске этом не было угрозы. Только возможность.

Ты можешь, можешь, можешь. Ты можешь сбежать.

Если отвечаешь на вопрос «кто?».

Но никуда не денешься, потому что...

Сердцебиение пришло в норму. Савелий давно или всегда отвечал на вопрос «что?».

Он давно или всегда был «что за человек». Он был наш, он был грамотный, он был продвинутый, семейный, командный, дальновидный, осторожный, профессиональный, жесткий, не склонный к интригам. Он был дисциплинированный и пунктуальный.

Он был очень даже «что за человек». Но — не «кто».

Никто.

И внезапная, горячая и жидкая, как бабкин супчик, тревога.

Весна была, да. Вечер. Терраса. Сад. Белый чайник с ситечком. Пачка сигарет. Привычный приступ тошноты. Наверное, дружеский. Отвращение взялось его спасать. И это веселило. И, да, спасало. Удерживало на краю. Отгораживало от нищеты, в которую он провалился бы вместе с Пигалицей, ее сестрами и детьми. От грязи еще, от туалета во дворе, от бессмысленных и бесполезных рук, от вопросов, от жизни, которую ему никогда уже не прожить.

Савелий просидел на террасе до рассвета. Мягкая подушка в плетеном кресле, стол, скатерть, пепельница, пустой чайник. Ждал.

Но она вышла не к нему. А замуж.

Машка говорила, что Пигалица эта теперь живет на центральном канале. И зрители ее любят, и рейтинги тоже.

Савелий так и не узнал, как ее зовут. Телевизор он не смотрел.

* * *

Когда самолет приземлился, Савелий включил телефон. Он не собирался отвечать на звонки и не любил читать эсэмэски. Но он должен был быть на связи.

У трапа самолета водитель тихо сказал Савелию: «Он умер...».

И Савелий не спросил кто.

Он умер, пришивая пуговицу на рубашке своего сына. Он терпеть не мог всякого беспорядка, расхлябанности и неточности. «Бардак начинается с малого. Ты не контролируешь ситуацию только один раз. А потом она, она, а не ты, руководит твоей жизнью».

В той клинике, где жил сын Первого, было множество рубашек, пуговиц и персонала, готового в один момент соединить и то, и другое. Но он хотел сам. Савелий завидовал и этому «хотел», и этому «сам».

В жизни Первого были вещи, которые он хотел делать сам.

Пуговица, повисшая на нитке. Беспомощность ее, готовность к падению, к пропаже, к бегству. Бессмысленность разношенной петли...

Первый сам снял с сына рубашку, потребовал нитку с иглой, надел очки,сел удобно — к окну. И умер от разорвавшейся аневризмы аорты.

Хоронили достойно, дорого, в присутствии важных и скорбных лиц. Все, как он хотел. Кроме Кремлевской стены. Тут не получилось. Но была надежда, что урну пристроят, когда времена окончательно войдут в правильные берега. И труба позовет и уложит всех нужных и верных туда, где они хотели бы лежать вечно.

После смерти Первого ожидалась войны, переделы и даже чистки. Мокрая, хлюпающая, уже серая совсем осень беззубо улыбалась свободой. И Савелий думал, что свобода наступает после всякой смерти. И что расчет на нее в таких условиях подлый. И отвращение, растущее где-то за границей понятного ему мира, расплзлось по телу, жирно капая даже с кончиков пальцев.

Зато Савелию не было страшно. Все свои усилия он направлял на то, чтобы сдерживать тошноту, не вытолкнуть, не выплюнуть из себя тяжесть противостояния с «джекилом», который делал Савелия уязвимым и изрыгающим из себя невозможность жить.

Соратники же суетились, ездили в столицу, заручались поддержкой и тут же отчаливали на всякий случай к счастливым лазурным берегам. И даже дальше — к островам. Или просто к острову, который прятался в тумане. В тумане, достаточно плотном для богатых и беспечных.

Все дергались, рыпались, хлопотали своими важными и скорбными лицами. Савелий же сцеплял зубы.

Смерть Первого ничего не могла поменять в его жизни. Он знал это давно. И давно ощущал себя частью мусорного ветра, полиэтиленовым пакетом, который летит рядом с другими, зная, что никак не птица, но все равно — цепляется за деревья, а иногда даже взмывает в облака. А если надо — тихонько, незаметно шуршит по земле, понимая точно, что утилизации не будет.

Подавление рвотного бунта сочли проявлением силы. Мрачной, неразговорчивой и нерассуждающей. Савелий показался кому-то надежным механизмом. И он был оставлен во главе шуршащей стаи. И с этим его поздравляли, уже не решаясь ни улыбнуться, ни хлопнуть по плечу.

* * *

Он приехал домой, чтобы переодеться в подобающие скорби сорокового дня пиджак и рубашку. Первый любил порядок. И это надо было уважить.

Савелий поднялся наверх, вслепую распахивал дверцы шкафов. Он не знал и не должен был знать, что и где у него лежит. В шкафах было пусто. Они стояли для красоты, а не для дела. Пустые, чистые полки... Ухоженная, реставрированная древесина.

Он выглянул в окно и увидел, что подъезжает Машкина машина. Облегченно вздохнул: не надо звать горничных. Хозяйка справится. Сможет.

Он улыбался. Машка пулей вылетела из машины и стала истерично дергать ручку водительской двери. Водитель, хороший мужик, в жизни которого была одна горячая точка, разросшаяся до размеров материка, вышел спокойно.

Машка ударила его по лицу. И замахнулась, чтобы ударить снова. Он поймал ее руку. И держал в своей. Высоко. Не там, где летали птицы, а там, где снег

еще имел шанс не упасть на землю, чтобы не превратиться в грязь. Машка замерла. И сделала один маленький шагок, малюсенький шагок к нему, к хорошему мужику, отличнику боевой и политической... И в шагке этом как будто бросилась, упала, прижалась вся и один раз обиженно и прерывисто вздохнула. Так показалось.

Савелий продолжал улыбаться, каменея ногами. Ему следовало бы испытывать унижение, за которым могла прийти агрессия, пустая, но натянутая, как барабан, жестокость. А он завидовал. Завидовал легко, без тяжести и возможности собственного, сравнимого шанса. Он мог бы даже выйти и благословить их.

Но руки, на которые все еще падал снег, в этом не нуждались.

Савелий тихо уехал, переоделся в магазине, где даже не пришлось выбирать. Он сказал, что нужно и куда он собирается это надеть, и ему принесли. Очень удобно.

А на сороковины плюнул, завернул в тошниловку, где выбирали лучшее лицо года. И это лицо было хорошеньким, и коленки у лица были детскими, а голос на удивление низким и хриплым. Еще оно не употребляло алкоголь, бегало в любую погоду и помогало бродячим животным.

И на них, на этих животных, все, в сущности, и сошлось. Вечером Шишкин подарил лицу цветы, а утром увидел его на подушке рядом. Не дома, а в президентском люксе, который обычно пустовал в ожидании хоть какого-нибудь гостя.

* * *

Со стороны казалось, что завертелась жизнь. Виделось: Шишкин сорвался с поводка и вообще. Говорили о нем с удивлением: «таскается», «бабник», «завидный жених». Про седину говорили тоже. И про беса.

Он развелся с женой через адвокатов. Оставил все, что она попросила. Плюс дом-музей, в котором ему все равно не было места. На рождественские каникулы приехали из Лондона сыновья. По-прежнему рыхлые, вялые и чужие. Старший сказал, что вернет ему деньги за учебу. Младший попросил купить автомобиль и квартиру. «Где?» — спросил Савелий.

«Там. Мы же не собираемся возвращаться. Мы здесь ничего не знаем. Мы же не для того учились. И профессии у нас будут для этой земли (он сказал «for this land») непригодные. Вы же сами так хотели. Или я не прав?»

Младший тархтел испуганно, но страстно. Был похож на мать. На Машку. Савелий хотел погладить его по голове. Но не знал, как это делается.

«А кем вы будете там работать?» — спросил он.

«Я — ветеринаром, — усмехнулся старший. — Я уже работаю...»

«Коровам с семнадцати лет хвосты крутишь? Ну-ну».

Старший промолчал. Поправил очки на переносице. И Савелий вспомнил его этот жест. И другие, тоже связанные с очками. Когда он, старший, плакал, слезам было неудобно, они делали крюк к внешней стороне глаза, задерживаясь и чуть высыхая по дороге. И старший-маленький просовывал под линзы пальцы, пытаясь вытереть или удержать слезы. И пальцы эти под очками каждый раз выдавали в старшем слабака и раздражали Савелия безмерно. И он кричал: «Подотри сопли! Чтобы я этого больше не видел! Мешок ты с дерьмом, а не мужик...».

И старший-маленький сглатывал слезы, всхлипывал, стараясь, чтобы воздух вошел в него незаметно. Но незаметно не получалось, а получалось только хуже. Савелий смотрел на него разочарованно и звал Машку: «Разберись со своим слюнтяем».

«Пьешь уже?» — спросил он у старшего.

«Пиво. Да», — ответил он без всякой воли к сопротивлению, без обязательного и жданного Савелием «а что? А сам? А тебе какое дело?».

«Я буду программистом, — сказал младший. — Не пью. Подходит?»

«Матери привет, — сказал Савелий. — Свободны».

Встречались в его кабинете. И это «свободны», наверное, все-таки было лишним.

«Пока», — сказали они. Сыновья. Савелий не называл их по имени. Они не называли его никак. Ни папой, ни отцом. Миры, в которых не было Савелия, множились его сыновьями.

Но он все равно купил квартиру и машину тому, кто просил. Просил — значит, хотел.

Весной Машка вышла замуж. В день ее условной свадьбы (расписались тихо, по месту регистрации жениха) Старший прислал Савелию sms «как ты?». Он не ответил, потому что не понимал, как надо реагировать. И еще думалось, что старший издевается. Но обидно не было.

Савелий ездил на работу, убеждая себя, что можно попробовать все поправить. Можно поверить в «клей», в «дыру», в «прыжочек», во власть свою как милость и благодать по отношению к тем, кто спивается или спился уже до синевы-черноты, и по отношению тем, кто бродит изнутри жаждой, ожидая, когда пустят, призовут кормиться из всеобщей сонной артерии, наскоро прикрытой навозом.

Правова Первого и его, Савелия, нынешняя правота были очевидными и проявлялись везде: все мало-мальски живое вокруг продавалось за разные деньги, все родившееся мертвым покорно склоняло шею, впадая в плевок только по причине выпитого много и неудачно. Теперь он позволял себе видеть только то, что хотел видеть. Он пытался переложить свое отвращение в мир внешний. И мир давал много справедливых и честных оснований, чтобы оправдать постоянную тошноту.

В июне, в жару, которая стояла третью неделю подряд и уходить не собиралась, губернатор Шишкин повез в клинику немецкое оборудование, купленное на деньги двух благотворительных фондов. Повез, потому что к зиме намечались выборы, и он, Савелий, уже был назначен ответственным за убедительный победный результат.

Врачей согнали в конференц-зал, рассадили согласно статусам, регалиям и навыкам приличного поведения. В первом ряду — только понимающие важность момента, благородные и благодарные лица.

Савелий говорил о клятве Гиппократова, о ратном подвиге в мирное время, о смерти, которая отступает перед мудрым взглядом врача. Ему написали хороший текст, а, значит, он почти не давился и мог дышать, смотреть и даже разглядывать людей в зале.

Месяц назад он убрал главного врача клиники — встроенного в систему, но упертого и пьющего дядьку, который не отдавал старое здание неврологии, парк, прилегающий к нему, и имел наглость вступить в бой за эти крохи собственности, которые в надежных руках могли бы принести сытость, комфорт и счастливую старость людям губернатора Шишкина.

И, может быть, Савелий оставил бы дядьку, чтобы рассмотреть, сколько на самом деле стоит это внутреннее трепыхание, но доченька зама подросла, выучилась и вернулась. И это было — не кот чихнул, мать его тетка. Не кот.

Девочке нужен был европейский размах, а где же его взять, как не в славной клинике? Все сошлось. И дядьку даже не выгнали, оставили замом — похорошему. Но он сопротивлялся запоем и нарывался на увольнение по статье. И этот его трюк, помноженный на взятки (ну брал же? брал?!), злил Савелия, но вызывал искреннее сочувствие людей, белые халаты которых превратились в штанишки и рубашонки неясного зеленого цвета.

«И если вы хотите и дальше плодить коррупцию и наживаться на самом святом — жизнь человеческих, если вы и дальше хотите разворовывать то, что вам не принадлежит...»

Этой фразы не было в речи. Но она была в модном политическом тренде. Грубоватые, немного уличные слова и чуть бандитские интонации. Такой был сверху сигнал, такой посыл по борьбе с коррупцией.

Оторвавшись от бумажки, Савелий Вениаминович впился взглядом в публику, которая, он знал, едва терпит все это действие и его тоже. Едва терпит.

Он хотел, чтобы они — мелкие воры и взяточники — спрятали глаза. Заткнулись. Он хотел, чтобы их тошнило так же, как его. Или просто — от страха.

«Ну? Хотите и дальше тырить, как сявки, я вас спрашиваю?!»

Мужик... Молодой еще парень. Человек с первого ряда. Наверное, заведующий отделением. Он встал, глянул на Савелия, как на насморк, и вышел. Даже дверью не хлопнул. Мать его тетка.

Савелий закончил выступление, с умным видом потрогал кнопки немецких аппаратов, заглянул в палаты, сохраняя на лице выражение благородного понимания. Когда журналисты уехали, он повернулся к свите и сказал: «Убрать нахер этого ублюдка из больницы... И старого тоже — на пенсию... Вопросы есть?»

Кто-то из свиты-толпы, больничного люда пискнул: «Он наш лучший хирург. Вы не знаете... Вы не знаете, у него такая работа... Его просто к больному вызвали... Он хороший».

И это «хороший» зашелестело еще в нескольких местах и остановилось в согласии лиц. Просьбой и почти унижением.

«Я сказал: убрать нахер!»

В голове Савелия били победные барабаны. Били-били, а потом вдруг перестали. И в тишине, немного ватной, пахнущей йодом и хлоркой, прозвучал голос: «Что ты гонишь, Савлик? Зачем так гонишь?».

* * *

Чей голос? Чей? Сам с собой Савелий разговаривал по-другому. Савликом его называл только Первый. Или те, кому с подачи Первого было можно. Мать в последнее время пристрастилась-переняла. Да. А Машка — нет, так не называла. Чей голос? Точно не Первого, точно не матери, тогда чей? Ну?

И откуда, откуда звучал он, было не ясно тоже. Кто из этих нищесбродов позволил себе? Кто?! Не слова даже, а интонацию эту — с пониманием ясным и прощением полным? Кто здесь посмел его прощать?! Что это за бунт? Сраная клиника — место силы?

Савелий попытался увидеть лица, поймать на горячем. Знал потому что: жалость быстро не сотрешь, от нее след. Свет.

Не смог разглядеть. Ничего не смог разглядеть. Ослеп.

Это не сразу до него дошло. Два ли, три шага по коридору сделал. Хотел крикнуть: «Что с электричеством, мать ваша тетка!». Часы поправил. Нащупал. Поднес к глазам.

Ничего.

Никого.

Панику придушил, просто глотнул привычно, отметив, что вкус у нее — другой. Тихо, но не шепотом («власть не шепчет!») бросил помощнику: «Мне нехорошо...».

И тот, от удивления, наверное, завопил как раненный в жопу: «Скорую!» Срочно «скорую» губернатору Шишкину!».

У Савелия хватило сил, чтобы за него порадоваться и сказать громко: «Мы в больнице, идиот...». И еще хватило сил на то, чтобы услышать, как все смеются. И сам он тоже фыркнул для порядка. Сделал шаг к стене. Прислонился.

«Каталку! Бригаду реанимации... Палату...»

Он дал себя положить. Это было унижительно. Но идти самому, спотыкаясь, нашаривая руками двери, тянуть кверху подбородок, как будто пытаешься понюхать то, что нужно просто увидеть... Это было бы хуже.

На что жалуетесь, Савелий Вениаминович? Что болит?

Он не мог ответить на этот вопрос. У него не болело. Он просто перестал видеть. Наверное, нуждался в очках. Да-да, ему давно предлагали. Даже пустая оправа придает...

А, может быть, в больнице проблемы с освещением? Другой свет? Другие лампочки? Нет?

Он старался не быть беспомощным. Оставаться главным. Способность командовать — это способность жить. Разве нет?

«Так вы, Савелий Вениаминович, отрицаете факт своей слепоты?»

«С мамой своей будешь так разговаривать, понял?..»

«Анозгнозия. Вы согласны, коллега? Реакция зрачков сохранена?»

«Давайте исключим двусторонний инфаркт затылочных долей и эмболию базилярной артерии, а там видно будет...»

«Видно? Ничего, что я здесь лежу?!»

Савелий вскочил с кровати и рванулся туда, где, как ему казалось, была дверь. Наткнулся на стул, на чьи-то плечи, плохую, скрипящую под руками ткань на них, развернулся и сделал еще одну попытку, налетел коленями на кровать. Рывкнул: «Одноместных не было номеров?».

«Вам не стоит так нервничать...»

«Да, давайте ляжем. Если это истерическое, то через три дня пройдет... Помогите, коллега».

Он снова дал себя уложить. Потому что понял: больше он не существует. Был еще маленький утешительный вариант: не существует здесь, именно здесь, где смерть — точка отсчета и в сравнении с ней все должности, регалии и капризы — пустяк.

Но утешение это было слабым. Савелий быстро и точно считал свои возможности. Это у него было. Не отнимешь.

Было ясно, что врачи ему не помогут. В крайнем случае, найдут опухоль в башке. Башку вскроют, а там — коридоры власти. После операции он, может быть, будет видеть. Но не будет ходить. Или разговаривать. Или станет срать под себя, оставаясь при этом во вполне себе трезвом уме. Срать, вонять и веселиться. А что?

Клиника в Австрии. Исход — тот же. Хули ехать?

Тем более что губернаторы слепыми не бывают. Ради эксперимента, конечно, чтобы на весь мир — равенство возможностей, делегации из ООН, всеобщее восхищение системой, которая дает шанс каждому. Но сам Савелий никогда и ни ради чего не стал бы проводить опыты, которые бы грозили потерей контроля и управления. И денег, конечно. Он бы вышвырнул. И его вышвырнут.

И надо успеть уйти самому.

Он думал еще о том, что придется отдать... Акции, заводы. Что еще? Отдать все, что они могут захотеть. Все, о чем они знают.

Не жалко. Этого всего Савелию было не жалко. И это не пугало.

Его ожидало кое-что похуже: он не знал, где лежат его носки и трусы, он не помнил наизусть ни одного телефона, плохо ориентировался в квартире, где теперь жил один, не представлял, откуда берутся деньги, обычные деньги для

обычных покупок. Он не знал еще, где делаются эти покупки. И города, с его улицами, дворами, остановками, светофорами, его укромными и тихими местами, города, в котором он долго сидел и правил, тоже толком не знал. Он думал о том, что, если бы у младенцев в момент прибытия спрашивали: «Это то, чего вы хотели?», то они бы орали как резаные.

Но их не спрашивали. А они все равно орали.

Как жить, если ты не знаешь, где найти еду и унитаз?

Зато можно не бриться. Борода отрастет клочками (однажды, в отпуске он проверял: клочками). И, скорее всего, она будет седой. Или мутно-серой. Савелий сожалел, что не сможет увидеть себя — заросшего комика в замызганном, зато ручной работы, пиджаке. Это могло бы быть смешно.

«Ведь у вас есть близкие, которые будут за вами ухаживать?»

«За деньги у нас все близкие», — буркнул Савелий.

Он знал, что ведет себя с врачами неверно. Истерика ничего не добавляла. Ни в пространстве, которое подло нападало отовсюду, ни во времени, что исчезло совсем. Рассосалось, как не было.

Просто никак не нащупывалась интонация, в которой можно было бы сохранить достоинство. Он знал, что надо оставаться мужиком, проявлять силу и даже беспечность. Но грань между нею и жалкой бравадой была неочевидной.

Вообще все, если разобраться, стало неочевидным.

«К вам мать...»

«Это я, миленький, это я...»

Он узнал руки, которые обхватили его голову. Мать начала его целовать, он отстранился.

«А в черненьком вся. В первый раз за долги-долгие годы... Нарушила вот обет», — проворковала мать. Засмеялась.

«Тебе идет», — ответил Савелий.

«Зачем говоришь, если не видишь?» — обиделась. Замолчала. Потом громко всхлипнула.

Он не отреагировал.

Слепые не ходят в театр пантомимы.

«Что я могу для тебя сделать? Давай подумаем, миленький, о наших первоочередных задачах. А я говорила тебе: собственность требует надежных рук... Адвоката твоего я знаю. Завтра? Когда тебе удобно?..»

«Я хочу поговорить с доктором, который меня не боится»

«А тебя уже никто не боится. Даже охраны возле палаты нет. Безобразие!» — взвизгнула мать.

«Тем более».

«Не надо ставить на себе крест. Завтра мы подпишем все бумаги. Мы не дадим этой проходимке меня облапошить...»

Слушать ее было трудно. Но другого переговорщика для Савелия не нашлось.

«Пусть приедет моя секретарша, найдите Наташу-повариху. И пусть зайдет Машкин муж. Других пожеланий нет...»

Савелий отвернулся. Думал, что отвернулся к стене. Осторожно протянул руку, чтобы ее нащупать. Стены не было... Его кровать, стопудово, стояла посередине палаты. У стены стояла другая. Он, наверное, хотел бы спать на ней.

Но ночь никак не наступала.

* * *

Он выписался из больницы и с работы по собственному желанию. Отдал акции, которыми теперь не мог управлять эффективно. Как будто когда-то мог... Заведующий отделением, имени которого Савелий не захотел запомнить, ска-

зал, что надо пробовать лечиться. Что диагноз неясен, но инсульта нет. Инсульта нет, но опухоль — возможна. Из хорошего еще не было эмболии, болезни Лернера и поражения метиловым спиртом. Зато (тоже из хорошего) был шанс на истерическую слепоту. Как у Гитлера. Врач сказал: «Как у Гитлера».

И Савелий сжал кулаки. Он все еще был сильным. Но это снова не имело значения.

Жизнь его теперь зависела от матери. А он хотел зависеть от поварахи Наташи и Машкиного мужа.

Он доверял им, потому что они у него украли. И он представлял себе размеры их любого другого воровства. И эти размеры его не пугали. Другой Машки у него не было, а продуктов и невинности — не жалко. Что было, что не было... Пусть.

Ему все время хотелось есть. Он подозревал, что это таблетки. И из-за этого невиданного аппетита, а не из-за возможности здоровья, принимал их.

Машкиного мужа звали Федором. У него была крепкая сухая ладонь и тяжелые шаги. Он пах бензином, травой и асфальтом, на который упали первые капли дождя. В его голосе не было жалости. Скорее всего, он уже успел устать от Машки. А потому на Савелия был сердит.

Федор приносил пользу. Азбуку Брайля, плеер, аудиокниги, самоучитель по плетению корзин, кнопки быстрого вызова. Он купил Савелию большой мобильный телефон, скорее всего — ворованный и старый, зато удобный для пальцев.

На первых трех кнопках были «скорая», пожарная и милиция. На четверке — Федор, на пятерке — Наташа.

«А других не надо», — сказал Савелий.

«Подумаешь, потом скажешь», — не согласился Федор и был прав.

Думать о том, кого разместить на кнопках быстрого вызова, было гораздо приятнее, чем думать о жизни, которая кончилась как-то неожиданно.

Когда Наташа копошилась на кухне, Савелий исследовал свою спальню. Он нашел в ней кресло, журнальный стол (синяки под коленями не переводились), дверь, ведущую в туалет. Там он легко разобрался с краном, который работал на фотоэлементах, нащупал туалетную бумагу, прикинул (и оказался прав!) место, где могли бы висеть полотенца.

Ему показалось, что он победил, но пространство умудрялось меняться и доставало Савелия то неожиданным ударом дверей, то холодной водой, которая никак не нагревалась, то креслом, отъезжающим в сторону чугунной батареи. Узнавая мир, в котором ему предстояло быть, он часто падал. И думал о том, что в этой бессмысленной битве не стоило участвовать. Ему казалось, что в бабкином доме он справился бы лучше.

Однажды, убирая со стола, Наташа подошла к нему так близко, как он не любил и никому не разрешал. Он отодвинулся, отклонился на стуле. Задние ножки качнулись. Савелий упал и больно ударился затылком.

«Если тебе надо, — засмеялась она, — только скажи, ты же знаешь, я женщина чистая и свободная... И духи те давно выбросила...»

Засмеялась и нависла.

«Мне не надо», — сказал он.

Она прерывисто вздохнула. Обиделась.

«Мне не надо так, — снова сказал он. — Я видеть хочу...»

«Ну вот ты и сказал, — улынулась она. — Хочешь — значит будешь».

Пастораль.

Мирная сельская жизнь. Без претензий на подвиг. Только на глупость.

У него висела такая картина в том доме, что остался Машке. Голубое небо, зеленая трава, девушка, переодетая в шкуру волка, следит за тем, не балует ли на охоте ее парень. Парень не балует. Он стреляет из лука и убивает волка. И вместо роскошной шубы получает расходы на похороны. Картина называлась «Сильвио и Доринда».

Машка называла ее «Савелий и Дурында».

А удовлетворения никакого не было. И облегчения-привыкания — не наступало. Савелий не мог внятно объяснить, отчего стал ждать того темного и страшного, что накатывало временами и заливало лоб холодной липкой водой, количество которой превосходило все его представления о возможностях собственного организма. И могло бы быть предметом гордости, да.

В конце концов, он все еще ел, ходил, снимал штаны, проводил расческой по волосам. Он слушал книги и был им — всякой и каждой, даже самой глупой — рад. В конце концов, он улыбался, разрешал вывозить себя на природу, смысла которой никогда не понимал. Он даже слушал футбольные матчи, обнаруживая в себе болельщика. Все было не так плохо. Не так, как раньше.

Его новое «плохо» было простым. Каким-то детским — с оттопыренной губой, с легкими, но жгучими слезами, которых он отчаянно стыдился, а потому воли не давал. Есть, пить, ходить на горшок и просто ходить, говорить тоже. Понимать, где право, где лево, соединять снег и зиму, лужи и осень, ориентироваться по часам — чтобы что?

Чтобы вырасти и пойти работать? Чтобы вернуться и всем доказать?

Чтобы снова владеть теми, кто забыл его так же быстро, как это сделал бы он сам?

Он думал о том, как вел бы себя в этой ситуации Первый. И как вела бы себя бабка.

Первый бы лечился. Самозабвенно. Он окружил бы себя ими всеми, держал на коротком поводке своим длинным знанием их пустых, но обидных секретов. Они бы, и сам Савелий, считали за счастье помочь, подать, подтереть... Они бы ждали, когда он сдохнет, когда замолчит, но мыли бы ноги и пили воду.

А бабка гоняла бы змея. Заливала бы страх до состояния, в котором хотелось песни и драки, кричала бы через забор соседям. И те, слетаясь на дармовую выпивку, орали бы с ней матерные частушки, чтобы разругаться без повода и помириться без сердца.

И бабка и Первый умирали бы так, как жили.

Выходило, что Савелий не жил никак. Но у него было достаточно денег, чтобы этого не замечать.

«Давай побреемся, — сказал Федор. — Хочешь я, хочешь парикмахершу тебе привезу. Заодно и пострижет...»

«Зачем?» — спросил Савелий.

«Косы скоро плести будем, — огрызнулся. Помолчал. Добавил нехотя: — К тебе телевизор из Москвы. Сейчас у Машки сидит. Очень просит...»

«Кто просит? Кто сидит? Какой телевизор?»

Савелий знал все ответы на все вопросы. Он просто прошивал панику звуками. Прятался за шумом, как делал всегда.

«Я тоже сказал, что ни к чему это. Клоуна из тебя делать... На весь мир».

«Пусть придет, — сухо бросил Савелий. — Пусть придет сама, без камер...»

Наташа шумно вздохнула, загремела посудой. Затеялась с уборкой. Впустила в комнаты запахи, среди которых Савелий узнавал сосну, немного химическую, резкую, ландыш и мокрую газету. Наташа мыла окна, полировала двери, натирала кафель.

Комиссия из центра — это всегда повод подмыться.

И побриться.

Савелий согласился. И на стрижку тоже и даже на маникюр.

Пигалица. Снова Пигалица.

Хотела увидеть его пораженцем. И торгануть им слезливо, но поучительно.

Но кто скажет, что это ее желание — не живое чувство? Ну?

Не важно, что она там объясняла себе и своему начальству, важно, что она сидела сейчас у Машки на кухне и...

Он отпустил (по сути выгнал) Наташу. Он сам открыл дверь, впустил и даже помог снять пальто. Знал, что не сможет его повесить. Положил на диванчик. «Это я...» — сказала она.

«Неужели?» — усмехнулся Савелий и стал ее трогать. Ее волосы были теплыми, губы живыми, с трещиной-ранкой в уголке. В их поселке это называли «заедой». Плечи ее показались Савелию острыми, сопротивляющимися, а грудь неожиданно налитой, плотной и горячей. Он погладил ее шею, щеки и провел пальцем по носу... И неожиданно поймал руками ее улыбку.

Закрыв глаза. Вздохнул, обнял за плечи и прижал к себе. Чуть-чуть...

Он хотел предложить ей деньги на побег от слюнявого пижона. Только деньги, без себя в нагрузку. Он хотел купить ей не «бентли» или виллу на мысе Антиб, как делали все люди его круга. Он хотел купить ей свободу.

Макушка пигалицы оказалась у Савелия под подбородком, а в живот уперся арбуз.

«Ты все-таки женила его на себе? А теперь носишь аквариум?» — спросил хрипло.

«С одной рыбкой», — сказала она.

«Значит, любовь? — усмехнулся Савелий. — Общие дети? И всякое семейное счастье? Поздравляю...»

Она обиженно хмыкнула, пожала плечами, отстранилась. Но заговорила деловито, напористо: «О вас и вашей трагедии часто пишут газеты. Фотографии ужасные. Сплетни... Мы можем это исправить. От первого лица. Мы заткнем им рты!»

«Зачем?» — спросил Савелий.

Любая болезнь сама по себе правда. И других правд она не признает. Для нее вообще нет других: ни людей, ни ситуаций. Она сама отсчитывает время, определяет границы нужного и ненужного. И эти границы не совпадают, мать их тетка, ни с какими пунктирными линиями, условно нанесенными на чужие карты. И беременные женщины должны бы об этом знать. Нет?

Разве рыбка не рассказала тебе об этом? Разве есть жизнь за пределами твоего пуза?

Ах да, беременность не болезнь! Но разве есть у тебя сейчас другая правда, кроме той, что толстый масляный слюнявый хлыщ скоро будет отцом?

«Вы и сам теперь толстый! — сердито и задиристо выкрикнула она. — И еще... И еще... Вы недостаточно слепой, чтобы все это понять!»

Это была такая наглость, что Савелий не смог удержаться: рассмеялся. Ржал как лошадь. В глазах, которые оказались недостаточно слепыми, выступили слезы. Он не мог остановиться. Он радовался, что правильно выбрал ее, эту Пигалицу, потому что с ней можно было дружить.

И он практически полон сил. Если ему все еще смешно. Если на месте, где привычно царили отвращение и пустота, появилась вдруг боль. Потому что пустое, кажется, не болит.

«Ты разбираешься в мобильных телефонах?» — спросил Савелий.

«Вы хотите продать или купить?»

Продать или купить. Других вариантов жизни уже давно не существовало.

«Найди в моем телефоне номер Питера. Там должно быть записано Питер-гид. Или гид-Питер. Не помню... Если я недостаточно слепой, то почему бы мне не съездить на экскурсию? Нашла? Теперь впиши его на кнопку быстрого вызова. На семерку. На шестерку можешь вписать свой...»

* * *

Брахистегии — странные деревья. Цвет осени у них наступает раньше, чем цвет весны. Первые листья — желтые, бронзовые, красные тоже. Лес миобмо пламенеет ими. Но не в предчувствии-отчаянии падения. То, что должно умереть в логике среднерусских лесов, там, в Африке, просто ждет своего цвета. Желтое и красное становится зеленым, и зеленым же усыхает. Получается другая осень.

Савелий позвонил Питеру. Тот узнал его сразу. Назвал по имени. Савелий довольно усмехнулся: такая у них, у гидов, работа — знать клиентов по голосу. Питер спросил: «Ты хочешь приехать?». Он ответил: «Да». И сказал еще, что совершенно слепой. Stone-blind. Слепой как камень.

Савелий хотел, чтобы он догадался, чтобы сам предложил сделать рейс и встретить в удобном аэропорту стыковки. Но Питер молчал. И просить все-таки пришлось.

«Через Стамбул». Савелий перезвонил Питеру через три тысячи шестьсот секунд, которые добросовестно отсчитал, прибавляя к каждой цифре заикающееся «и». И тот предложил лететь через Стамбул. «А номер паспорта я нашел в прокате машин. Я закажу билеты на сайте. Ты все еще Шишкин?»

Он был все еще Шишкин, а потому украл из кошелька у Наташи немного денег. Это были его деньги, выданные на хозяйство. Но Савелий взял их без спроса.

Еще он смог найти и открыть сейф, три часа лущуя его настоящей кувалдой. Ее подарили Шишкину на юбилей, отмечать который считалось дурной приметой.

Сейф, обещавший титановое сопротивление, сдался чуть позже, чем начальник областной милиции, сосед. Он стоял под дверью Савелия и орал: «У тебя воры? Сейчас вызову своих! Держись там!». Савелий, вытирая со лба пот, кричал в ответ: «Не шебурши! Я музыку слушаю». «Так ночь же, ночь, Вениаминович. Спят же люди... Совесть имей...»

«И честь, ага», — буркнул Савелий. Из сейфа он вытащил полезные чужестранные деньги, паспорт и две кредитки, пин-коды которых модно совпадали с датой его рождения.

Еще нужно было вызвать такси, найти сумку, пиджак, смену белья, пару футболок, удобные кроссовки, зубную щетку. Еще нужно было понять, который час и как сбежать от Наташи и ото всех. Сбежать, чтобы не искали и не думали даже...

Он метался по квартире, натываясь на мебель, которую успел возненавидеть и обещал сжечь при первом удобном случае. Его «умный дом», будь он проклят, откликнулся автоматическим включением телевизора, воды, подогрева полов, микроволновой печи и кондиционеров, которые сами уже не понимали — охлаждать или кипятить им Савелия Шишкина.

Но он перегорел и заморозился сам. Сдался вдруг, на мелочи, когда не смог узнать свою зубную щетку — среди трех похожих, а может быть, даже одинаковых. Он не знал, зачем ему три. Не знал.

Сел на пол в ванной, подтянул колени к подбородку. Мрамор под задницей откликнулся и стал теплым.

Савелий подумал, что все это — бесполезно. В тех книгах, что он читал, люди заедали беду рассветом, супружеством или залпом победы. Один только честный доктор Джекил писал, что час его смерти давно наступил, а все остальное касается не его. Другого.

Но у Савелия случилось обратное превращение. И кто-то с тихим голосом закрыл ему путь назад. И почему-то забрал отвращение, которое, по всему выходило, было его, Савелия, стержнем. Его избытком света. Излишком, которого он не вынес.

Савелия не стало, как не было. Ни в прошлом, ни в будущем. И никто бы теперь не взял его в слепые музыканты, потому что не было больше музыки, и в переплетчики книг, потому что не было силы, которой они зачитывались до дыр. Его бы не взяли даже в настройщики роялей, потому что, где он и где они, эти, срака-мотыка, рояли.

И глупо было даже думать о саванне и пацанах, которые выросли, ночуя на голой земле. Савелий и без них это умел. Ночевать на земле, в снегу, в подвале, просто под дверь. Он давно был забытым, но это не сделало его взрослым.

Еще он тосковал по Первому, потому что только ему, злобному и гнусному, несчастливому очень, было до Савелия дело. Ему и немножко Машке. Но самому Савелию дела не было ни до кого. И он не знал, можно ли это исправить. Он не умел. Он не знал, из чего это растет. И не знал, нужно ли ему это.

Думал, все это слепое время думал (и мысль была нетерпеливой, живой), что высокий и невозмутимый Питер может ему помочь. Потому что Савелий тоже был черный, только с изнанки, на швах. И, значит, в ночном масайском небе они оба могли бы увидеть себя, свою кожу и свою душу, в существовании которой Савелий сомневался.

Но сидя на полу в собственной ванной, Савелий понял, что нет. Ничего не выйдет. Ни такси, ни носки, ни молчание гида Питера, прерываемое сказкой о червяке, который боялся, что ему не хватит запасов, а потому выплевывал все съеденное назад — ничто из всего этого ему не было нужно.

Он позвонил Питеру: «Я не смогу приехать...».

А Питер ответил: «О'кэй. Я буду ждать тебя в другое время».

Но Савелий знал, что другое время не наступит. Что ему, по чести и совести, не положено больше ничего. Его давно уже не тошнило. Отпустило совсем. Слова вокруг стали чистыми, и каждое — от тряпки до морковки — имело смысл. И это уже было много. Больше, чем заслуживал человек, не способный даже к плетению корзин.

Он все о себе понимал. Он всегда понимал. И теперь хотел только, чтобы опухоль в голове разрослась быстро и так же быстро превратила его в растение. И, если бы он мог выбирать, то хотел бы стать брахистегией. Сначала желтой, потом зеленой. Он был уверен, что это получилось бы у него хорошо.

Владимир Гандельсман

Запах спящего дерева в церквях

Готланд

Розы, выросшие на камнях,
остров роз,
запах спящего дерева в церквях,
детский Христос,
созданный не Отцом,
а плотником, Его отцом.

Так доверчивей, и так монах
кормит коз,
словно держит сердце своё в руках,
сланец стрекоз,
шёлк бабочек, шёлк, шёлк,
знающий в лепетанье толк.

Остров, где каждый дом осиян,
где сосной
пахнет кровь Его рисованных ран,
где жив земной
на щеках прихожан
отсвет земляничных полян.

Там, где к ночи густеет замес
волн морских
и — под стать им — мускулистых небес,
голос не стих
твой и взгляд не исчез, —
нет исчезновенья чудес.

Апория-1

Жизнь вынашивает воспоминание
о себе, как мать вынашивает дитя,
замедляет ход, излучает сияние
и почти навёрстывает себя, хотя
черепашка была и пребудет чуть впереди

Ахиллеса (и это щит его и его пята).
На часах двенадцать, но без пяти,
скоро, скоро, а в сущности — никогда.
Только всю воссоздал, а она ушла
на шагок, не успеть за ней, не успеть.
Бесконечной задуманная, светла
вспоминанием. Невозможна смерть.

Апория-2

Едва касаюсь лезвия болезни
в младенчестве, когда впервые страхом
дохнуло, миг — и зарождаюсь в бездне,
в сцепленьях с миром находя себя по крохам.
Но чуть продлюсь там — и уже потерян.
Стихотворенье движется напрасно,
и надо возвращаться к тем портьерам,
слегка колеблющимся, не рифмуя праздно.
К волчку, к вращению его с завывом
и выбегом из яви — грани стёрты,
к тому, как чахнет и, качнувшись криво
туда-сюда, ложится набок, полумёртвый.
Последовательность движенья — призрак,
стихотворенье движется к началу
себя, в своих младенческих капризах.
Путь непреодолим, я в нём души не чаю.

Апория-3

Я почувствовал: скоро. Тихо
дверь прикрыл и сбежал во двор.
Там, натягивая тетиву к уху,
с самодельным луком стоял Тевтар.

И стрела, рванувшись, застыла.
В сонном страхе вернулся: дверь
приоткрыта, за ней — затылок
и спина — с носилками пятится санитар.

Непосильный позор. Всё ближе.
Мёртвый груз прикрыт простынёй.
Мне хватило б раза. Но вижу
бесконечно: недвижно летит стрелой.

Посещение

Ночь декабрьская, холод.
В отчий дом захожу.
Я, старик, ещё молод.
Свет тускнеет в прихожей.

Из столовой отец
сбоку выйдя: «Трагедия

в нашем доме», — и тень
к тени, две на паркете.

Мать выходит потом.
«Что стряслось?» — замираю.
«Мы вчера, — впалым ртом
говорит, — оба умерли».

Прохожу. Вижу в спальне
мать у зеркала молодая
прихорашивается, шаль
на плечах, ни следа

смерти, рядом отец —
то обнимет её, то смеётся,
слышу скрип половиц,
белый свет на них льётся.

Осень

Лечь в квартире пустой,
глаза закрыть.
Был талантливый, не простой...
Время убило прыть.

Кем притворялся ты
лет пятьдесят,
рифмами наводя мосты?
Пересчитать цыплят

самое время. Покой земли.
Только в стекло —
ветка — мол, за тобой пришли.
Оно и пришло.

Как узнало ты адрес мой?
Даром следы я за-
метал, не приходил домой,
менял адреса?

Даром? Нет его.
Молодому оставь
погремушку часа рассветного.
Ночь наступает. Явь.

Хлеб не тело, вино не кровь.
Образ отшелуши.
Не говори, что в душе любовь,
там ни души.

В изморози поля.
К нулю сползла
температура. И ты с нуля
начинай, не со зла.

Элегия. Кузина в 1973 году

Весна. Трамваи катятся под горку.
Горнист. В подкорку.
Командирован в Звёздный, я в Москве.
Иду к кухне, чуть поздней — вдове,
потом — бесследно умершей в больнице,
за «Соколом»-метро, не в Ницце.

Останется сын Константин. В подкорку.
Ты помнишь генеральную уборку
и повсеместное мытьё?
Зеленолиственное по ветвям дутьё.
Иду. Однажды в раннем детстве, летом
нас положили спать валетом.

Ночь. В Евпатории янтарной.
Я брат твой, с опозданием благодарный.
Валетом. То-то я годам
к двенадцати искал в колодах дам.
Пиковых ли, бубновых ли, крестовых,
а более всего — червовых.

Ты козырь дядьки. Университета
студентка. Математик. Ты воспета
в хвастливых монологах. Задран нос.
Он вскоре умер и унёс
гордыню в смерть. О, тётя Доба.
Добрейшая. Любовь всегда — до гроба.

О, гром литавр! О, эта колесница!
Хоронят главного евпаторийца.
Главу горкома. Полдень раскалён.
Колодой он лежит. Не королём.
Горком. Партком. Трудящиеся массы.
Мясопотамия. Умеры. Мясо.

Гроб. Вот бездарности образчик.
Чья мысль ты — положение во ящик?
Весна. Распахновение одежд.
Не оправдавшая надежд,
ведёшь бухгалтерский учёт в конторе.
Но дядьки нет, а то бы горе.

Сластёна, краснобай и щёголь,
он походил на взбитый гоголь-моголь.
Да. В гоголевском смысле. Сахарок
накапливал, пока не вышел срок.
Да. Диабет. Но был он жовиален,
любитель жён чужих и спален.

Весна. Вечерний воздух. Варят трубы.
Трубит горнист, вытягивая губы.
Счастливец не узнал, что дочь сошлась
со сварщиком. Что заварилась связь.
Что закалилась сталь и что со света оба
сживали тётку. Бог мой, тётя Доба!

Пришёл. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Через них мы рвались к звёздам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновение сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

Перед отлётом

Вот он, огненный тамбур, —
здесь с тобой выпивал я не раз.
Это гамбургер, варвар,
это чизбургер, френч твою фрайз.
Здесь я захорошею
и увижу, как в чёрном окне,
лебединую шею
изогнув, проплываю вовне.
В чёрном космосе — жёлтый
куб «Макдоналдса». Музы поют.
Что искал, то нашёл ты, —
чуждой жизни последний приют.
Так давай же потешим
душу, глядя на звёздчатый лёд, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролёт.

Леонид Зорин

Перед сном

две повести

ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ

Удушливая вязкая ночь. Теперь уже ясно: на сей раз не выкарабкаюсь. Что бы ни говорили врачи. Их дело — вселять в меня надежду. Но я-то знаю: не увернусь. Хотя, разумеется, каждый цепляется за ускользающую соломинку: все люди смертны, кроме меня. Каждый уверен, что без него мир невозможен, земля исчезнет. И тот, кто спасительно простодушен, и тот, кто кичится своею трезвостью, не отличаются друг от друга. Верят, что чаша сия их минет. Каждый из нас убежден, что ему достанется мафусаилов век. Профессор Сперанский однажды сказал: смиритесь, бессмертие невозможно. Но жизнь продлить науке доступно? Он мрачно кивнул: продлить — сумеем. В принципе человек способен прожить свои полтора года. Я сразу же крикнул: вот и прекрасно! А больше от вас ничего и не требуется. Возликовал. Совсем как малец, который спешит ухватить дареное, пока дарящий не передумал. Прожить на земле полтора столетия было бы в самом деле занятно. Хотя, разумеется, дело не в том. Дело в твоей человеческой сути. В уверенности в своей единственности. Был до тебя Адам, был Фауст, были Шекспир и Лев Толстой. Можно перечислять титанов безостановочно, что из того? Даже, когда бы ты знал поименно каждого, жившего на земле, это ничуть бы не повлияло на непреклонную убежденность: мир завершается на тебе. Никто не признается в том, что верует лишь в эту изначальную истину, ныне и присно — в нее одну. Признаться в таком центропупстве трудно. Однако это и есть наша суть.

Жизнь, которая мне досталась, которой я жил, которую создал, была изнурительной и непростой. Всегда в ней главенствовали чрезмерность, перенасыщенность, запредельность. Она никогда мне не оставляла возможности хоть недолгое время побыть наедине с собой, того, как воздух необходимого, жизненно важного одиночества, в котором душа достигает зрелости, а мысль стремится не ввысь, а вглубь.

Все так, но сетовать на судьбу было бы грубой неблагодарностью. Сложилась она живописной, как сказка, с какой-то неправдоподобной щедростью. Естественно, если бы сам я не тратил и не расходовал своих сил так расточительно, я сумел бы продлить ее на несколько лет. Но мне не хватило душевной строгости ни обуздать себя, ни ограничить, ни совладать со своей избыточностью. Я был замешан несоразмерно, меня всегда было слишком много, я так и не смог овладеть искусством несокрушимого равновесия.

Об авторе | Леонид Генрихович Зорин — постоянный автор «Знамени». Нынешняя публикация — двадцать пятая на страницах нашего журнала.

Детские годы я помню лучше — крупнее, отчетливей, выразительней, нежели свою пеструю зрелость. Помню ровесников, помню ярмарки в жаркие июльские дни. Помню нелепого тощего Якова с его приподнятым правым плечом, вытянутым длинным лицом, чем-то неуловимо похожим на морду уставшего ломовика. Глаза его тоже напоминали грустные конские гляделки, всегда испуганно-удивленные. Меня почему-то тянуло спросить его, чему он дивится, чего опасается. Мальчишек он любил и одаривал — то леденцами, то свистелками, которые сам же и мастерил. Мне от него однажды достался царский подарок — длинная, темная подозренная труба-остроглазка. Он вообще меня выделял из общей стайки — всегда расспрашивал, как я живу и кем я стану. Труба его меня восхищала. Смотрел в нее, как солнце заходит, однажды увидел на рыжем шаре кривой фиолетовый ободок. Когда поделился своим открытием, ровесники подняли меня на смех, но Яков тут же их осадил: приметил — стало быть, глаз востер. Мальчишки после меня дразнили, прозвали фиолетовым солнышком, однако дразнилка не прижилась — слишком затейлива и заковыриста.

А кем я стану — я не догадывался. Якову толком не мог ответить. Мало ли кем мне хотелось стать. Меньше всего я думал о том, чтоб стать писателем. Это была иная, непостижимая жизнь, и люди, причастные к этой жизни, были людьми другой породы, жили в иной неизвестной стране, по непонятным своим законам. Первой из моих книг был псалтырь, и как он был сложен, кем он был сложен — об этом я думал меньше всего. Хватало мне и своих забот — быть не последним среди ребятни, выдюжить жесткую школу Заречья. Все-таки был я, как видно, жиллист, смог устоять на своих ногах. Им предстояло работы вдосталь, и послужили они на совесть. Я обошел ими пол-России.

Где ни бродяжил, ни кочевал, куда нелегкая ни заносила, пока не уселся за письменный стол, пока не присох к нему и не врос в него, наглухо, намертво, навсегда. Тот, кто прилип однажды к бумаге, тот никуда от нее не уйдет — пожрет она его с потрохами. До своего последнего часа будешь питать ее своим мясом, поить ее своею кровью. И сколько ей ни отдай, все ей мало. И ненасытна, и неутомима.

Зато и отблагодарила щедро. Той славой, которая не оставляет тебе не единого уголка, где можно укрыться от жадного глаза, от чуткого уха, от цепких рук. Живешь на ярмарке, где тебя рассматривают со всех сторон, принимают, отрезают по ломтику, пробуют и на вкус и на ошупь. Живешь как в бане, даже в парной — и жарко, и стыдно, и нечем прикрыться. И больше нет у тебя ни секрета, ни скрытой страсти, ни главной тайны. Нет больше ничего своего. Все ваше, самое сокровенное.

Вот уже пятый десяток лет веду я эту необъяснимую и самоубийственную жизнь. Есть безусловно бесовское и безусловно нечто болезненное в этом раздаивании себя, собственной сути и естества. Все на потребу и на продажу. Все выставлено — напоказ и на торг. Берите, лакомьтесь, угощайтесь. Только бы я вам не приелся.

Писатель — тот же двуликий Янус. Не то он зритель, не то лицедей. Сначала присматривается к людям, потом влезает в чужие одежды, примеривает чужие жизни. Как будто век ему не отмерен. Игру с людьми он ведет двойную. Сперва смиренно придет на исповедь — все расскажу, во всем признаюсь, вы только выслушайте меня. Когда же овладеет вниманием, он уже пастырь и проповедник.

Сколько писателей погубила эта когтистая страсть к учительству! И никого из тех, кто однажды решил доверить себя перу, их горестные судьбы не учат. Стоит тебе взойти на подмостки — и сразу же превращаешь их в кафедру. Сам не увидишь, как неприметно исповедальня станет амвоном.

И Гоголь, еще вчера готовый своей усмешкой вернуть нам разум, вернуть нас в несочиненный мир, и мудрый седобородый Лев, умеющий видеть все то, что скрыто, и Достоевский с нагой душой — никто не устоял пред соблазном. Все вознамерились нас исправить, образовать, указать нам путь. Что, если б встали они из могил, увидели, как все так же слепо бредем мы во мраке к последней бездне. Иной раз даже придет на ум, что есть в нас нечто непостижимое, ведущее к самоуничтожению.

Невесело такое прозрение. Все, что я сделал, и все, что сделало меня самого, всегда утверждало совсем иную картину мира. Занятней всего, что сам я не думал о роли, которая мне досталась, о некоей миссии и назначении. Я был переполнен и пьян своим счастьем, я все еще не мог сопоставить свалившуюся на меня известность с тем угловатым и несуразным, восторженным молодым человеком, которым я был еще накануне. Я не успел еще ни отвыкнуть, ни резко отторгнуть привычной сути, привычного состава души, хотя уже начал осознавать, что отторжение неизбежно. Желал я этого или нет, но я был обязан теперь соответствовать новой странице своей судьбы. Я был обязан переиначить, перелопатить себя самого. Что эта жестокая хирургия над собственной сутью и естеством может мне дорого обойтись, я попросту запретил себе думать. *Так было нужно*, и я это сделал.

Это свое преобразование, этот побег из семьи, из среды, из круга, к которому я относился, в котором я должен был существовать, всегда мне казалось не только удачей, не даром фортуны, но главной победой, едва ли не подвигом богатыря. Но очень скоро я убедился, что миру я нужен как некий пришелец, как гость из неведомой преисподней, что я не только не смог уйти, не смог убежать от своей родословной, от прошлого, от опостылевших лиц, что я привязан к ним, приторочен какой-то могучей кандалной цепью, что я обречен не только остаться, не только вариться в этом котле, но мало того — его восславить, но больше того — его воспеть. Выяснилось, что все эти люди, к которым я рвался и частью которых хотел я стать, совсем не готовы принять беглеца. Что я им важен и интересен только как гость с другой планеты, вестник войны, посланец скифов, уже готовых на них обрушиться. Мир, о котором я так мечтал, воспринимал меня как беспощадного, победоносного завоевателя. Именно это и возбудило его опасливый и тревожный, почти мазохический интерес.

Понадобилось какое-то время, чтоб это повышенное внимание мне перестало казаться обидным. Я не был обделен самолюбием, с годами оно во мне только крепло. Поэтому нет ничего удивительного, что поначалу я был уязвлен. Надо признаться: ответным чувством была отчетливая досада. Такая обостренная гордость свойственна людям нашей породы. Чехов был адски самолюбив, но он сумел себя обуздать, спрятать свою амбициозность. Я же по страстности и неистовству доставшегося мне темперамента долгое время жил как в осаде. Казалось, что окружающий мир только и занят тем, чтоб больше и изощренней меня обидеть. Можно представить, как было непросто людям, с которыми я встречался. Редко кому удавалось найти верную манеру общения. Горько подумать, как много людей я растерял по собственной глупости. Годы прошли, пока мой характер мало-помалу стал приносить мне не только утраты, но и трофеи.

Но так оно всегда происходит, если тебе хватает упорства, чтобы остаться самим собой. Ибо переkreить себя трудно, если вообще достижимо. Стоит немного пожить на свете, и чаще всего тебе открывается твое несовпадение с миром. Не может быть ничего огорчительней этого первого потрясения. Оно гораздо невыносимей и внешней среды, и любых обстоятельств. Даже, казалось бы, неодолимых. Именно это несоответствие, которое я в себе обнаружил, заставило выстрелить себе в сердце, но я уцелел, я остался жить, я проклял свою

преступную слабость, и этот расчет со своим малодушием, в конце концов, сделал меня писателем, а значит, наставником, миссионером. Но ты не сможешь распоряжаться чужими судьбами, не научившись смотреть на себя самого в упор, не убояться себя увидеть, не выдуманым, а тем, кто ты есть. И тут уже приходится вновь учиться давно утраченной искренности. Тем более ты уже так привык всегда заслоняться от собственных тайн чужими судьбами, либо придуманными, либо застрявшими в твоей памяти. Тем более нет ничего соблазнительней роли наставника и судьбы.

Так вышло, так сложилось, ты врос в эту одежду, ты к ней примерился, она подошла и пришлась по вкусу. Вы уже давно неотделимы, уже не понять, где ты, где она, вы образуете новую целостность. Не зря же в собственной твоей пьесе, когда актер перестал актерствовать, когда ему перестал сопутствовать рев зрителя, «гром аплодисментов», осталось одно — найти пустырь и там задушить себя петлею.

Так кончилось, будто бы изошла и задохнулась на полуфразе самая громкая твоя пьеса, всесветно прославившая твое имя. Я дал ей название «На дне жизни». Умные люди мне посоветовали отсечь последнее лишнее слово, название выросло в смысле и в силе. То был неопенимый урок — и все же я так и не научился жестоко зачеркивать лишнее слово. Поныне все тону и захлебываюсь в избытке слов, и всегда мне их мало. Похоже, что так я и не расстался с надеждой найти то — самое важное, единственное и все итожащее. То слово, которое наконец все объяснит и все оценит. Да и чему же мне было верить, если не слову, когда оно переменяло, перевернуло, а попросту — сделало мою жизнь. Было бы странно не уверовать в его всемогущество, в его власть. Тем более ныне, когда твоя роль уже сложилась и обозначилась, когда ты сам над нею не властен. Она ведет тебя за собой, подсказывает слова и поступки. Выходит, ты предрек свою участь. С писателями такое случается. Впрочем, тебе это не грозит — прикончат тебя не петля, не пуля, все сделают дырявые легкие, проснувшаяся старая хворь, до времени пришедшая немощь.

Сейчас, в эту ночь, пора бы избавиться от изнурительной необходимости достойно обрамлять свои чувства. Похоже, что госпожа словесность сыграла с тобой дурную шутку. Ничто не смогло, никто не сумел заставить ее посторониться. Ни страсти, ни страхи, ни ужас смерти, ни женщины, которых любил. Все улеглось, и все отступило, все, кроме слова. Даже теперь, когда стало ясно, что срок на твоей земле истекает.

На той, далекой заре твоих дней был Город, была Река, был простор. Город был пестр, криклив и звонок. Река была щедра и привольна. Простор — загадочен и притягателен. Они и были дарами жизни. Все остальное тебе предстояло взять с боем, ни на кого не надеясь.

Потом ты уехал, а город остался и через многие десятилетия был назван твоим сочиненным именем, сменившим однажды твою родовую и незатейливую фамилию. Оно приросло к тебе накрепко, намертво, так прочно, что, кажется, навсегда утратило свой изначальный смысл.

Столько воды утекло с тех пор в громадную неутолимую Волгу, вобравшую ручьи и речушки, и всю неоглядную Оку, готовую нести свои воды неведомо куда, до Хазара, сквозь тысячу заводей и затонов, до дальних и чужих городов. Сколько истаяло и ушло и дней, и полдней, и черных ночей, и сладких ночей, вместивших в себя сначала годы, а там и долгие десятилетия, наполненные и гулом и шорохом, осколками счастья, обломками дружб и стопками терпеливой бумаги, набухшей густым прирученным словом. Она постепенно преобразила и трудно давшуюся мне жизнь, и вместе с нею меня самого. Она и корежила и уродовала, зато и вознаградила по-царски. Она дала мне всего сверх мер,

больше, чем человеку нужно. Немудрено, что в конце концов я дал ей себя убедить, что все зависит от самого человека, поверил, что надо лишь захотеть. Что все по силам и все по росту.

И я заставил себя забыть все, что я знал о человеке. А знал я много. Больше, чем стоило. Знал, как он может быть завистлив. Безжалостен, несправедлив, жесток. Но, зная присущие ему свойства, я предпочел его возвеличить. И это было не только естественным, но взвешенным и мудрым решением. Племя, уставшее от поражений, услышало здравицу в свою честь и было за нее благодарно. Мое счастливое состояние вдруг оказалось необходимым, целебным, возродившим надежду. Стало понятным, что зоркость Чехова, его беспощадная, жесткая трезвость и даже его ни с чем не сравнимое, такое всевластное обаяние не то отстают от боя часов, не то теряют силу воздействия. Если Толстой был наместником Бога, вероучителем и судьей, то наш Антон Павлович слишком приблизился к своей читательской аудитории, он стал неотъемлемой ее частью, соседом, сородичем, членом семьи. Меж тем читатель, как оказалось, — в особенности российский читатель — хочет, возможно и неосознанно, чувствовать некое расстояние между писателем и собой. Пушкин естественно наше все, но про себя мы отлично знаем и твердо помним, что все — не наше. Все — это то, к чему стремятся, что нас вмещает, но что существует само по себе, вне нас и над нами. Планета, окруженная спутниками.

Я полной мерою заплатил за место, занятое в словесности. Я вынужден был жить публичной жизнью, которую втайне я не любил. Недаром меня влекли острова, те оторвавшиеся от суши клочки ее тверди, однажды ставшие существовать от нее автономно. И сам я стремился стать если не островом, то хоть одним из островитян. Принадлежать самому себе. Остаться наедине с бумагой, с моими цветными карандашами и верным пером, зажатым в руке. Но эта единственная мечта, имевшая неподдельную ценность, так и осталась недостижимой. Сбылись остальные. Самые вздорные. Тешившие мое честолюбие, которое, получив свое, в конце концов отпустило душу, зато самого меня так и оставило заложником завоеванной славы.

Отныне я был приговорен к немолчной, неестественной жизни. Себе я отныне не принадлежал. Я должен был соответствовать образу, созданному своею легендой. Я стал олицетворением мифа, которому я дал свое имя, свою биографию и судьбу. Я понимал, что ему обязан тем, чем владею, и всем, что значу. Что мы отныне неотторжимы.

И стало ясно, что ни чахотка, ни вечная каторга за столом, ни эта последняя Главная Книга, которую вряд ли допишу, не расположат, не привлекут чужую завтрашнюю Россию. Книги не примут, мою судьбу перетолкуют, труд обесмыслят. Так заплачу я за то, что забыл, что книга — исповедь, а не проповедь. Стоило только взвалить на себя тяжкую, неподъемную кладь то ли наставника, то ли пастыря, и сразу же я стал обречен на грозное сотрясение воздуха, на оглашение приговоров или раздачу похвальных грамот. Отныне я стал получателем писем, почтовым ящиком, главным арбитром. Я должен был не говорить, а вещать, не излагать свои впечатления, а выносить одни лишь вердикты, не подлежащие обсуждению. Время всегда было переполнено, в нем не осталось свободного места для разговоров с самим собой, для размышления, для одиночества. Воздух, которым теперь я дышал, стал ледовит и жизнеопасен — острый, разреженный воздух вершин. Чем больше весило мое слово, тем меньше было в нем жизни и страсти. Чем ближе был ко мне человек, тем я скупее был в своем чувстве. Бывшие жены ездили в гости, я уже мало их отличал от остальных своих посетителей. Сыну отцовской любви недодал, за это был наказан так страшно — не он меня, я его хоронил. Дочери рядом не задержались. Первая оставила мир, в нем не прожив и пяти го-

дочков, другая со мной не провела и нескольких дней. Неловко сказать — я и не разглядел ее толком. Живет во Франции, балеринка, отцом своим считает другого. Мать ее была гордая женщина, так и внушила ей с детских лет. Этот другой благородно поддерживал укоренившуюся легенду. Он был умен, дальновиден, удачлив, сумел без особых на то оснований тепло и удобно устроиться в мире и знал, что за такую фортуна не так уж и дорого заплатил. Жизнь ему досталась счастливая, удавшаяся по всем статьям. Теперь и семья у него другая, жена и красива и молода, актриска, снялась в популярной ленте.

Однажды один наблюдательный гном сказал мне, покачав головой, с почтительно завистливым вздохом: «Сколько любило вас и ласкало жен и дочерей человеческих!». Я посмеялся, не стал с ним спорить, и разве он погрешил против истины? Много вокруг меня прошуршало женских одежд, и чаще всего эти одежды послушно спадали, оказывались непрочной защитой. И все-таки маленький острослов не так уж был прав. Те, кого я любил, меня не любили, хотя и охотно и щедро делили со мною ложе. Любили Горького, а не Пешкова, любили не человека, а имя, его необычную, с боем взятую и завоеванную им жизнь.

Но этого никому не скажешь, а если скажешь — не будешь понят. Вот и пришлось мне полищедействовать, до самого последнего дня расцветивать и грузить свою жизнь — пророчествовать, судить, прокурорствовать, смирить свою гордость, отдать свободу, поставить слабеющее перо на службу политической воле.

Я помнил в лучшие свои годы: литература не терпит притворства. Писатель не пишет того, что не чувствует. Чехов был близок моей душе, но я не умел и совсем не хотел ни утешать, ни жалеть людей, которых он был готов понять, простить и, больше того, оплакать. Я устоял и перед Толстым, который внушал мне сакральный трепет, и не умножил числа богомольцев. Я не хотел присягать народу, что было необходимым условием, стоявшим перед русским писателем. Но я ведь, в отличие от большинства моих собратьев, был его частью, я в нем родился и долго жил, и я не убоился спросить, когда он стал священной коровой нашей словесности: а за что я должен его любить? За скотство? За свинство, за грязь, за свальный грех? За то, что упившийся негодяй с размаха бьет своим сапожищем в живот беременную жену?

Какое растерянное негодование вызвали эти слова в благопристойной среде коллег, привыкших в своих ухоженных гнездах демократически горевать о грустной судьбе меньшого брата! Но я не боялся пойти поперек, сказать поперек, не слишком задумывался о правилах хорошего тона. Я делал то, что считал естественным, и говорил лишь то, что хотел. Отлично помню, как Немирович мне написал, возвращая пьесу, что отношение его к автору не поколеблено и остается таким же дружеским и сердечным. Меня не придержали приличия, и я в ответном письме заверил самодовольного джентльмена, что никогда меня не занимало то, как ко мне относятся люди. Имело значение только то, как я отношусь к этим людям сам. И Немирович стерпел, смолчал, понял, что может мной поперхнуться.

То были мои лучшие дни. Судьба мне воздала тысячекратно за темное сиротское детство, за неприютность, за ту униженность, которую я ощущал так остро, совсем не с мальчишеской глубиной. Это недоброе, злое чувство угрюмо, настойчиво, неотступно скапливалось в моей душе и, как я понял в зрелые годы, неслышно делало свое дело. Возможно, что строгие гуманисты назвали бы его разрушительным, но я как опытный литератор привык извлекать из вороха слов единственное точное слово. Душа моя вовсе не разрушалась, совсем напротив, она твердела. Тот человеческий состав, который был во мне изначально, естественно претерпел изменения. Он не годился для новой жизни, для предназна-

ченной мне судьбы, для долгой и каменистой дороги. Ему надлежало перемениться, и перемена произошла. Конечно, я понял это не сразу, суровое время самопознания приходит лишь в зрелую пору жизни, и вряд ли приходит оно ко всем. Но тот, кому на роду написано стать литератором, тот напряженно прислушивается к гулу души.

Это суровая диалектика. При этом — достаточно обременительная. С одной стороны, в писателе ценится его непосредственная отзывчивость, с другой стороны, она сосуществует с самоубийственной способностью увидеть себя сторонним взглядом. И это дарованное мне зрение позволило разглядеть, что от прежнего, такого, каким я вступал в этот мир, почти ничего уже не осталось.

Со временем мне открылось немало темных секретов моей натуры. Мало-помалу я к ним привык и все же так до конца и не понял, как удавалось им совместиться с неутолимой творческой жаждой. Весь век, проведенный мной за столом, я настойчиво и упрямо пытался разгадать человека, я поверял его собственным опытом. Но, кажется, было легче понять любого из тех, кого я встретил, чем разобраться в самом себе. Я так и не смог с собой поладить.

Все, что мной сделано, дал мой разум, но управляли мной лишь страсти. Все то, что я запрещал другому, я разрешал и прощал себе. Писатель, наставник и проповедник жили отдельно от человека.

Выносливость справедливо считается, возможно, самым нужным достоинством. Но все, что чрезмерно, — жизнеопасно. Выносливость моего характера сделала меня тем, кто я есть. Выносливость духа, сколь это ни странно, сыграла со мной дурную шутку. Она мне позволила перешагнуть и то, что запретно и заповедано. Чего бы я никогда не простил ни женщине, ни сыну, ни другу. Впрочем, друзей, пожалуй, и не было. Дружба без равенства невозможна. Мог я влюбиться, мог покровительствовать, но все мои дружбы были условны, декоративны и символичны. Существовали они как легенды. Легенды о моей дружбе с Ролланом. О дружбе с Лениным. Дружбе со Сталиным. Все эти мифы стали частями пышного мифа моей судьбы.

Миф — благородная оболочка, изысканное обозначение выдумки. Мифом мы называем талантливую, ярко преподнесенную ложь. «Сказка — ложь...» — усмехнулся Пушкин, но оправдал ее тайным смыслом, который заложен в ее основе: «...добрым молодцам урок». Возможно, из моей биографии можно извлечь какую-то звонкую, нравоучительную подсказку для молодого человека. Тем более если он наделен воображением и честолюбием. Был ли я счастлив? Мне трудно ответить. Счастье зависит не от успешности, не от благоволения судьбы. Может ли быть писатель счастлив? Если он мал, то он не замечен и, значит, жизнь его отравлена. Если замечен, то обречен. Дидро говорил, что жизнь удалась, если ты в ней сумел затеряться. Но сам он был слишком умен и мудр, а люди слишком пусты и суетны. Ни современники, ни потомки не догадались ему поверить.

Мне много пришлось размышлять над тем, было ли верным мое решение вернуться на родину, о которой я думал болезненно, напряженно, но от которой по сути отвык. Я уже смутно себе представлял свое возвращение, но понимал, что мне предстоит вернуться в клетку, хотя она была золотой. И безусловно тут дело было не только в естественной ностальгии — я мог таким образом развязать много узлов и решить немало возникших в ту пору житейских сложностей.

Мне с каждым днем становилось трудней и обеспечивать и содержать мое разросшееся семейство. На солнечной живописной чужбине имя мое день ото дня теряло свой вес и свою притягательность. Меж тем, облепившие меня люди привыкли не думать о завтрашнем дне и знать, что я их избавлю от тягот.

К довольству, к сытости, к благополучию, как правило, привыкают стремительно, поистине с удивительной скоростью. Блага, которые окружают, однаж-

ды начинают казаться естественным условием быта. Никто из них не был, подобно мне, приучен к сиротству и нищете.

Им было даровано щедрое солнце, щедрая жизнь и щедрый мир. Жить поиному они не желали — и не умели и не могли. А я отвечал за родню, за близких, за приживал, за всех гостей, стекавшихся ко мне отовсюду. Все они знали, что здесь их ждут и кров, и стол, и всякая помощь.

Я понимал, что угрюмый Коба ждал от меня произведения, в котором он будет увековечен, но я надеялся, что сумею выиграть в этой опасной игре необходимую мне отсрочку, что увернусь, заслонюсь своим возрастом, своей застарелой привычной хворью.

Он был злопамятен и опасен, но я был опытен и искушен. А главное, я был ему нужен, и он, как я знал, умел выжидать.

Меж тем, отпущенное мне время все убывало — при всей моей жадности к жизни, ко всем ее чудесам, я стал необратимо стареть и все острее ощущать усталость. К тому же хватило печальной трезвости понять, что я на земле не вечен и неизбежный конец моих странствий может хотя бы меня уберечь от угрожавшего мне пятна.

Я сознавал, что дело не только в том, что я уже не могу не думать, что мой срок на земле не завершится вместе со мною и даже не в сентиментальной уверенности, что прах мой должен быть освящен своим погребением в русской почве.

Я помнил, что любая легенда нуждается в некоей канонизации, — хочу я того или не хочу, она теперь неизбежно станет частью отечественной истории. Я знал уже: до поры до времени все биографии уязвимы. Рискуют однажды быть пересмотренными, оспоренными и даже развенчанными. Тем более в моем неустойчивом, не слишком благодарном отечестве. Твердость и прочность слова качательны, их звучность, влияние, убедительность почти неизбежно теряют в силе. И цвет их вянет, и вес слабеет.

Я понимал, в чем я уязвим. Я так привык к охоте за словом, что жизнь без этого вечного поиска теряла смысл и оправдание.

Я был не в силах представить дня без неизменного приключения, которое ждет меня за столом, без этого острого холодка, сопровождающего находку.

В эти минуты мне все казалось, что все по-прежнему, все возможно. Что я сумею справиться с хворью, с ночной тоскою, с утратой женщины, которую любил словно юноша. Я знал, что она сильна, удачлива, что мир ее прочен и неколебим. Знал я и то, что она любима, что тот, кому она принадлежит, — баловень, хрестоматийный счастливчик, что я не выношу ни его, ни этой на диво удавшейся жизни.

Я сознавал, что роптать не вправе. Вглядываясь в начало дороги, видел, как могла повернуться, переломиться моя биография. В памяти сохранилось так много сдавшихся перемолотых судеб — было с кем сопоставить свою.

Но существует закон равновесия. Щедрость фортуны должна быть оплачена. Когда я смирился с потерей Муры, я не догадывался, что мне еще предстоит прощание с сыном.

Эта разлука была тем горше, что я ощущал свою вину. Похоже, я был не лучшим отцом, не смог воздать ему полной мерой за эту безоглядную верность.

Поистине литература ревнивая и беспощадная госпожа — ей нужно, чтобы ты ей служил самозабвенно и безраздельно. Она не оставляет тебе ни права распоряжаться собою, ни времени на досуг и безделье. Она подчиняет и ум, и душу и пожирает тебя целиком. Подсказывает тебе твои сны, переиначивает намеренья. Ничто не имеет такой цены, как точное слово, ты его ищешь и думаешь о нем неустанно — в дороге, в застолье, в постели с женщиной. Нет ничего

тяжелей и слаще твоей бессрочной писательской каторги. Ее неволя милей свободы.

Мне предстояло еще немало тяжелых и горестных расставаний. Много утрат и много разрывов. Я часто увлекался людьми и еще чаще охладевал. Умел приветить, умел обидеть. Эти внезапные перепады казались то вздорными, то жестокими. Я сам дивился непостоянству своих симпатий и отторжений. Мог умилиться, пустить слезу, мог вдруг заледенеть и замкнуться. И людям было со мной непросто, и я все сильнее от них уставал. Тут не было ничего неестественного — их слишком много прошло сквозь жизнь и слишком многим из них хотелось укорениться в моей среде.

Однако чем я больше старел, тем больше накапливалось во мне усталости от моих домочадцев, гостей, визитеров, от смены лиц. С одной стороны, все острее я чувствовал, как убывает и тает время, с другой — все более разрасталась уже почти неподъемная ноша обязанностей и обязательств.

Чем круче и глубже судьба меня втягивала в безжалостный, иссушающий спор между гражданственностью и творчеством, тем я болезненней ощущал его изначальную неразрешимость. Чем я стремительней превращался из человека и литератора в правительственный руководящий орган, тем тяжелей становилась зависимость от политического диктата.

Я сознавал: с каждым днем, с каждым часом все меньше распоряжаюсь собою, утрачиваю ту автономность, которой всегда я так дорожил. И жизнь все более походила на некую странную и вероломную игру без правил — нельзя ее выиграть, ты обречен ее проиграть.

Это безрадостное прозрение делало и трудней, и безвыходней, и двойственное мое положение. Но становилось все очевидней: уже ничего нельзя исправить. Еще никому не удавалось стать памятником и вместе с тем остаться естественным человеком. В том выборе, который я сделал, таилась изначальная ложь.

Естественно принятое решение казалось и нравственным, и бесспорным. В преддверии скорого эпилога писатель оставляет уютное и привлекательное убежище, чтобы припасть к материнскому лону вновь обретенной родной земли. Торжественный и живописный финал библейской притчи о блудном сыне. В реальности все оказалось проще — и откровенней и унижительней.

Не состоялось даже трагедии. Досталась ведущая роль в трагифарсе — начальника некой новой словесности, которой был придан особый стиль и был дозволен единственный жанр — смесь оратории и декламации. Мне полагалось и освящать, и укреплять своим безусловным апостольско-генеральским весом эту бесстыжую шумную ярмарку.

Все, что торжественно, велеречиво я проповедовал и вещал с литературного амвона, приобретало теперь характер не то призыва, не то команды. Я наставлял, и я поучал, слово утратило цвет и трепет, стало неотличимым от заповеди.

Когда меня несколько дней назад вдруг осчастливила посещением нынешняя могучая кучка — высшая знать и ближняя свита, уже ритуально неотделимая от всемогущего принципала, я не почувствовал благодарности, прилипчивый писательский взгляд не обострился и не зажегся привычным охотничьим любопытством. Возможно оттого, что они настолько ухитрились стереть все, что несет на себе печать неповторимости и особенности, что даже профессиональному зрению уже было не за что зацепиться. Возможно оттого, что я сам стал частью этого ближнего круга.

Но к человеку, вокруг которого теснились все эти люди-призраки, во мне по-прежнему сохранялся все тот же не гаснущий интерес. И я ловил себя на неподвластном и угнетавшем меня ощущении, что этот ритуальный визит, бес-

спорно продуманный, тщательно взвешенный, как всякий шаг, который он делал, меня оскорбительно возвышает в собственных все повидавших глазах. Больше того, я безусловно испытывал странную стыдную радость.

Таким оказался конечный итог долгого страннического пути писателя, старого человека, который в своей ослепительной молодости беседовал с Чеховым и Толстым. Чего же стоили моя дерзость, мои бунтарства и независимость, борьба с абсурдом и ложью века?

Вся эта пышная, вся эта выставочная, какая-то архиерейская старость со всем появившимся в ней актерством, как эта придуманная, позирующая, возвышенная дружба с Ролланом, вся эта пышная шелуха припудривает и гримирует, грозит обрушить такую долгую, сложенную по кирпичику жизнь. А ведь сегодня, в последнюю ночь, в минуты прощания с этим миром, я мог бы чувствовать полноправную, ничем не замутненную гордость.

Но здоровые мысли во мне толпились отдельно от того, что я чувствовал. Они ни на что уже не влияли и ничего не могли изменить. А истина состояла в том, что старый старик, одной ногою стоящий за пределами жизни, уже ощущающий холод пустыни, ее ледяное прикосновение, все еще вглядывался с угодливой, почтительно благодарной улыбкой в рябое безжалостное лицо, давно застывшее и утратившее хоть легкую тень человеческих чувств. В нем не было ни дрожи сочувствия, ни облачка грусти, ни милосердия. Оно было холодно и обезцвечено, глухо и немо, неуязвимо.

Спустя еще несколько минут и он, и те, кто ему сопутствовал, простились со мною — пора уже было вернуться к своим оставленным подданным, чье будущее от них зависело, чьи судьбы они держали в руках.

А мне еще предстояло сделать несколько судорожных усилий, прожить еще несколько летних дней в моей несчастной и грешной стране. Мне предстояло сойти в ее землю, а ей — и дальше нести свой крест и продолжать свой путь на Голгофу.

Бедное сердце мое, переполненное жалостью, болью, давней тоской, билось все глуше и все слабее. Но больше этой всепоглощающей, последней печали было сознание, что так и не смог написать, оставить всего, что я понял, к чему пришел.

Шиллеру выпало отчеканить одну из этих загадочных реплик, которые все-таки выживают в потоке опостылевших слов. Она неслучайно присвоена миром: «Ну что ж... мавр сделал свое дело. Мавр теперь может уйти».

Но мне эти слова не помогут. Все понятное уйдет со мной.

ОБОРВАННЫЙ ДИАЛОГ

1. Старик

То, что в своей запущенной комнате, тесной от многочисленных полок, заставленных снизу доверху книгами и старыми папками для бумаг, я не один, есть еще кто-то, я понял не сразу — верней, ощутил.

И только включив настольную лампу, стоящую на шатком комодке, в ее дрожащем неверном свете увидел перед собою Везунчика.

Не помню, кто первый дал этому малому такое полудетское прозвище, однако оно пришло, приклеилось, и вот они стали неотделимы.

За это долгое, может быть даже, непозволительно долгое время Везунчик несколько не изменился. Все то же молодое лицо и те же молодые глаза, усмешливые и, вместе с этим, словно подсвеченные нетерпением.

Я долго всматривался в него, и он, в свой черед, меня разглядывал с его характерным, таким мне знакомым, бесцеремонным интересом.

— Ну, здравствуй, — сказал я.

Он отозвался — весело и не слишком учтиво:

— Привет тебе, Старче. Так ты еще жив?

* * *

Я долго откладывал эту работу, я не считал себя к ней готовым. И вот когда мне вдруг померещилось: нечто существенное я понял, витальных сил уже не осталось.

В чем заключалась моя ошибка?

Что не дало довести до ума давно задуманное мной дело?

Какая странная чертовщина меня неизменно хватала за руку? Неужто во мне копошилась мутная, стыдная спрятанная обида: судьбою что-то было недодано? И люди были слепы и глухи? И обошли меня стороною лавры, литавры, вся дребедень.

Если и впрямь меня это точит, пиши пропало — ничто на свете не может быть горше и унижительней. Закономерно, что не сложились ни жизнь, ни сам я — все справедливо.

Я чувствовал себя уязвленным. Стыдил и ругал себя — слишком рискованны подобные игры с самим собой.

Бесспорно, в них был большой соблазн — рассматривать столь длительный век как затянувшуюся юность, шептать себе на ушко ободряющий, а в сущности усыпительный вздор: я не созрел еще, не готов. Еще я примериваюсь, приглядываюсь, накапливаю свои силенки, третий звонок не прозвучал. И помни, голубчик, совет титанов: откладывать всегда хорошо.

Родится еще один назидательный, еще один хрестоматийный сюжет о требовательном к себе литераторе. Настолько требовательном, что он так и не успел состояться. С одной стороны, себя уверил: еще не вполне готов записать важнейший свой текст, с другой стороны, вполне созрел, чтоб закончить жизнь. Если

быть честным, моя история смахивает на дурной анекдот — проспал спектакль и вот проснулся, когда звучит финальная реплика.

Меж тем, ненаписанные страницы должны были заменить собою всю предыдущую писанину. Именно так, а не иначе — перечеркнуть мою пачкотню.

Жестокое слово, однако возраст уже не оставляет лазеек. Не допускает ни самообмана, ни литературского кокетства. Скорее всего, не хватит времени. Когда же тебя опустят в яму, все потеряет свое значение. Прежде всего, смешная надежда: придет однажды какой-то птенчик, прольет на выцветшие листки меланхолическую слезинку. Была бы все же соблюдена литературная традиция. Не в духе времени, но в ней есть какой-никакой ритуальный шарм.

К несчастью, я достаточно трезв, чтоб сознать: когда бы и впрямь возник столь книжный и столь безвкусный, заимствованный тобой персонаж, он был бы сильно разочарован. Оказывается, покойный автор отчаянно нервничал, торопился, все время поглядывал на циферблат — но там, где спешка, там нет искусства, мелодия небогата оттенками и много необязательных слов. Когда пробыет двенадцатый час, то обнаружится, что усилия были напрасными, неплодотворными, замысел не обрел своей плоти, не состоялись ни люди, ни судьбы.

Вдруг выяснилось, что долгая жизнь прошла в лихорадочном поиске слова. Я был уже опытным следопытом, бывалым охотником и убедился, что нужное слово всегда существует в одном-единственном варианте, синонимов нет и не может быть, что сразу же тебя обступает услужливая орава эрзацев, которые себя предлагают, как девки, торгующие собой. Чтобы построить и сколотить четкую и точную фразу, не надо жалеть ни усилий, ни времени.

А это значит, что самые важные и даже фундаментальные смыслы должны быть изложены ясно и просто, как можно более лаконично. Ибо художественное исследование обязано сохранить свою грацию. Серьезная мысль требует четкости.

Я стал покрывать бумажный лист буквами сызмальства, но, сколь ни странно, мое исступленное графоманство поныне осталось неутоленным. Возможно, в этом и состояла моя удача? По сути дела, я стал продолжением и частью письменного стола. Мне выпало приобщение к радости, с которой допустимо сравнить, быть может, лишь обладание женщиной.

Неоспоримо, что личность автора, его человеческая природа, и вес его, и состав, и строй определяют и тон и звук, присущую лишь ему мелодию. Насколько Чехов ценил изящество, настолько Толстой его опасался. Он был убежден, нет, попросту знал то, что его, толстовская, мысль требует мощи и основательности, слишком отточенное письмо рискует ей придать легковесность. Он долго ковал свой особый стиль, неповторимый толстовский период — казалось бы, несколько тяжеловесный, подчеркнуто неторопливый и твердый. Мысль не мчится и не парит, ступает медленно, осторожно, как будто впечатывает свой след в крутую и вязкую почву дороги надолго, намертво, на века. Путь устремлен не ввысь, а вглубь, и автор не всадник, он землепроходец. Но чуткое ухо отлично слышит, как гипнотически завораживает эта яснополянская музыка и сколь убедителен ее ритм.

Своя интонация мне доставалась мучительно долго и неподатливо. Должно быть, потому, что не сразу, непросто сложился и сам характер. В молодости мне импонировали веселость, порывистость, легкомыслие.

Возможно оттого, что я сам родился под южными небесами, а значит, исходно был убежден, что легкая мысль необязательно всего лишь поспешность и шалость ума. Я органически не выносил той изнурительной тяготины, которую принято обозначать как выяснение отношений. А легкомысленный человек чаще всего был добрым малым. Его уместней воспринимать как собеседни-

ка, а не партнера, тем более в деловом предприятии. Не зря легкомысленный человек так неохотно прощается с юностью и, больше того, прилагает усилия, чтоб сохранить ее непосредственность. Это ему подает надежду выдержать перемену климата и устоять при смене сезонов.

Со временем выяснилось, что я настолько прирос к своей звонкой юности, что попросту не умею стареть. Порою даже и впрямь казалось, что я стал частью своей весны. Но долго длиться так не могло, однажды, на горестном перекрестке, пришлось нам расстаться — веселый малый остался в своем победоносном, своем прельстительном первоцвете, другого ждал холод и листопад.

То драматическое прощание далось не просто и не легко. Я понял, что заклониться некем, отныне я виден со всех сторон во всей своей старческой неприглядности. Казалось, набравшему вес перу стали запретны и недоступны врачующие зоны надежды. И мудрость, которая в давние дни казалась спасительной и целебной, предстала в неожиданном облике.

Не постаревшей Прекрасной Дамой, всепонимающей, всепостигшей, с усталой усмешкой на сжатых устах. Вошла полускрюченная карга, кичащаяся безжалостной трезвостью.

Когда эта мысль меня припекала, я раздраженно себя осаживал: ну, истинный сын своего отечества. С одной стороны, всегда наготове почти патетический монолог, насмешка неупрежденного сына над обанкротившимся родителем, с другой — какая-то полуактерская, многозначительная улыбка этакой поздно явившейся зрелости: сколько ж намешано в нашей России! И смеха — сверх мер, и столько боли!

Да, это так. Печально, но так. Последние дни даются непросто. Но тем изнурительнее и сумрачней их надоевшая круговерть, тем горше, обиднее обнаружить разгадку душевной неразберихи, понять, отчего же итог невесел. А ведь ответ так ясен и прост. Суть в том, что не хватило таланта.

Я недолюбливал это слово. Подозревал его то в кокетливости, то в щегольстве, то в тайной претензии. Все это было игрою в жмурки. Слово решительно ни при чем. Само по себе ничего не значит и ничего не объясняет. Не существует в отрыве от личности.

В юности мне не раз встречался изжеванный, вечно нетрезвый Олеша, почти забытый, и так незаслуженно! Впрочем, вступая в литературу, следует помнить, на что идешь. Если тебе не повезет уйти на заре, почти неизбежно в друг с изумлением обнаруживаешь: библиотеки похожи на кладбища.

Олеша был уже стариком, но он казался седым мальчишкой. Совсем не по летам эта порывистость и непонятная неутоленность, сквозившие в каждом его движении. Такая детская непосредственность не сочеталась с его годами, с его сединой, но — прежде всего — с выпавшей на его долю эпохой. Его биография долгое время казалась мне безмерно жестокой.

Впрочем, спустя десятилетия такое суждение я нашел поспешным, слишком категоричным. При всей своей несовместимости с веком Олеша сохранил свою суть. А если вспомнить, что он к тому же окончил жизнь в своей постели, такая участь была, пожалуй, гораздо благосклонней, чем выглядела.

Я знал, что меня самого считают едва ли не хрестоматийным удачником. В сущности, так оно все и есть. Присущая мне неблагодарность на редкость благосклонной судьбе, моя меланхолия и бессонница связаны даже не с вздорным характером, а с тем, что я долго живу на свете. Зажил, попросту говоря.

Меж тем, мне и в самом деле везло. Едва ли не с самого первого дня. Члены Союза советских писателей обычно краснеют, когда вспоминают литературную биографию, тем более если долгие годы ее сопровождали фанфары.

Было бы все-таки прелюбопытно прочесть, какую же эпитафию высекут однажды потомки на ритуальном надгробном камне? «Прохожий, здесь погребен Гомер, которому удалось совладать с единственно верным и славным методом социалистического реализма».

Грубая лесть. Не по Сеньке шапка. Может быть, только коллега Везунчик вправе рассчитывать на подобный, столь триумфальный конец пути.

Самое лестное, что, возможно, я вправе сказать о самом себе — мне удалось избежать позора.

Что же, не много. Пусть меня судят. Но заодно — моего читателя. Если уж выпало нам жить вместе, значит нам вместе держать ответ. Писали же вы мне когда-то письма, случалось даже — благодарили.

Проклевывается занятный жанр: исповедь, переходящая в проповедь. За дело! Всю жизнь я обходился без помощи пишущих машинок, без быстро вошедших в моду компьютеров — оберегал свою старомодность. Только карандаши и перья. Ну что же. Вот они громоздятся в стеклянном стакане, а перед ними — плотная стопка писчей бумаги. Лиши ее девственной чистоты.

И первое — забудь все, что знаешь. Все то, что привычно, захватано, стерто. Будь неуступчив, придирчив, бдителен! Семь шкур и потов с тебя сойдет, прежде чем наконец проклянется, забрезжит, появится перед тобой то самое слово, которое ищешь.

Особенно трудно дается эпитет. Этот всегда у тебя под рукой, давно уже стертый от употребления до полной потери вкуса и цвета. Услужливо-нагло себя предлагает, бесстыже, как продажная девка. И все норовит слететь с пера, все рвется на простыню бумаги. Гони его взашей, за дверь, за порог.

На время ты должен забыть все, что сделал до этого дня, — на первых порах твоя многоопытность лишь помеха. И неслучайно отчетливо вспомнился похожий на мальчишку Олеша. Дети едва ли не постоянно выглядят талантливой взрослых. Они не актерствуют, не драпируются и не считают, что слиться с местностью всего важнее и безопасней. Не зря же всякая непосредственность кажется признаком инфантильности, обидной для взрослого человека.

Не потому ли ты стал сторониться своих ровесников — меньше риска увидеть в этих увядших лицах старое собственное лицо.

Чем чаще я заставлял себя думать, что жизнь сложилась и состоялась, тем неуверенней себя чувствовал. Нет ничего обреченной попытки внушить себе, что все превосходно, что Господа схватил ты за бороду, мечты воплотились, горести мнимы. Самогипноз способен подействовать разве на слишком элементарные и одноклеточные натуры, и то — на очень недолгий срок. Действительность быстро приводит в чувство. Бодришься, подмигиваешь себе, то хочешь изобразить мудреца, то равнодушного созерцателя, но, в общем, сразу же обнаруживаешь, что это пустая попытка к бегству — от самого себя не сбежишь. Недаром же школьная латынь напоминает, что все свое ты носишь с собой. Никуда не деться.

Как опостылела эта ноша! После бессонницы долго спишь. Проснувшись, невесело понимаешь, что Высшая Сила неторопливо тебя готовит к Вечному Сну. И продолжительная дремота — не вещей знак, а практический тренинг. Все просто — мистики никакой.

Мои отношения со Всевышним не задались. С пионерского детства. Иной раз я сожалел об этом. Но это были одни лишь вздохи.

Частенько мне думалось: будь я моложе, не удержался бы и настроил стишки с таким ироническим перчиком. Какой-нибудь озорной куплетец: не верил. Возможно, что это спасло. От пастырей, от духовной жажды. От долга осилить всемирное зло. От темного страха прозреть однажды.

Впрочем, какой из меня поэт? Стихи я кропал только в раннем детстве. Потом запретил себе рифмоплетство. А озорство? Оно появляется в те дни, когда вера однажды становится правилом хорошего тона, а богохульство воспринимается всего лишь как визитная карточка твоей неотесанной радикальности. На протяжении долгой жизни я не однажды бывал свидетелем самых разительным перемен, происходящих с общественным климатом. Давно уже перестал удивляться.

Пора бы понять, что всю дорогу ты сочинял не книгу, но автора. Обычная творческая неудача. Сам Бог от нее не застрахован. Недоработал нашего брата.

И дара он то ли дал не по росту, а то ли сам рост не больно велик. В том-то и суть. И вся отгадка. Расплачиваешься за то, что чрезмерно любил и охранял свою жизнь. Хотел ее непременно выиграть. И вот, чем больше выигрывал жизнь, тем больше проигрывал судьбу. Все очень просто, прозрачно, ясно. Однажды явилась на свет особь, рожденная для нормальных радостей. И надо было с этим смириться и сразу же в себе задушить свои наполеоновы замыслы.

Еще важнее было понять, что человек не создан для счастья, как птица создана для полета. Кто марширует, парить не может. К чему стадам дары свободы? — спрашивал Александр Сергеевич. Не с этой лагерной ограниченностью чувствовать себя птицами мира.

А мне пора подвести черту, уняться, уйти на заслуженный отдых. И вновь перелистать напоследок настольные незаменимые книги. Я вспомнил, как в детстве читал перед сном — то были сладостные часы, но мать беспощадно меня заставляла закрыть переплет и улечься в постель. Теперь уже некому ни запретить, ни, тем более, отнять этой радости, и надо использовать в полной мере все преимущества, обретенные вместе со старостью и одиночеством. Можно теперь начитаться вдосталь, вздохнуть и до дна — перед вечным сном.

А главную, заветную книгу, которую навряд ли окончишь, возможно, напишет другой безумец. Тот, кто моложе и даровитей, а главное — располагает временем. Дай Боже ему на всю катушку воспользоваться своей удачей — в конце концов, горло литературы не сдавливают своей мертвой хваткой тугая цензурная петля. Авовь судьба улыбнется везунчику.

Меня угораздило появиться в угрюмые годы. Любая строчка рождалась и пробивалась с кровью — цензура душила ее в утробе. На свет рождались по большей части ублюдочные чахлые дети — отрывки Эзопова языка. Однажды я понял с убийственной ясностью: мне драматически не повезло, явился в окайненные дни, когда нормальная литература попросту упразднена за ненадобностью. Счастливые исключения редки — причуды загадочной лотереи. Надо смириться и пробавляться дозволенными перу огрызками. А так как не писать я не мог — ничто не смогло бы меня заставить отречься от графоманской страсти, зависимости от писчей бумаги, потребности покрывать ее знаками, — то, значит, я вынужден прозябать, разыгрывать постыдное действо, изображать из себя писателя и профанировать день за днем это сакральное призвание, самый возвышенный труд на земле.

Судьба издевательски улыбнулась — моей России была суждена пьянящая долгожданная оттепель, и я до нее, по счастью, дожил. Однажды отечество встало с колен, цензура пала. Режим осознал, что может спокойно прожить без нее. Никто не взялся бы предсказать, на долгий ли срок писателям выпала ни с чем не сравнимая пьяная радость — возможность предельной самоотдачи. Я понимал, что счастливый билет — подарок новому поколению, другому молодому Везунчику. А он уже не тот человек, который некогда так стремительно вломился в русскую литературу.

По прихоти или причуде судьбы мой старт состоялся в мальчишеском возрасте — уж так сложилась моя биография. Смешные безыскусные вирши, в ко-

торых не было ничего, кроме чрезмерного темперамента, доставшегося от чертова Юга, были однажды опубликованы в местной газете. Ранний дебют.

Должно быть, мой город решил завести этакий собственный аттракциончик. В ту пору, в моем пионерском детстве, то было повальное увлечение. Едва ли не всюду мои ровесники усердно и рьяно строчили стишки. Но я задумался о писательстве как о профессии. Эта претензия могла мне дорого обойтись.

Я скоро понял, что мне досталась хотя и не бьющая через край, но восприимчивая одаренность. Тем более хватило мозгов, чтоб вовремя оценить и почувствовать опасность своего положения. Надежда заключалась в усидчивости. Упорство и трезвая самооценка, а прежде всего готовность к схиме, к вседневному каторжному труду давали какой-то шанс уцелеть. Другой возможности попросту не было.

Так началась и так продолжилась моя графоманская трудная жизнь. Я сам называл себя графоманом, но это слово, при всей сомнительности своей репутации, не угнетало, скорее обязывало трудиться.

Но выбор был сделан, и жизнь текла в чередовании долгих дней, привинченная к столу и креслу, с редкими выходами из дома, под шелест бумаги, под скрип пера, под пляску букв и мерцание слов, сбегавшихся в пеструю вязь периодов, в растущую стопку готовых страниц.

Мало-помалу я научился вносить необходимый порядок в этот поток настроений и смыслов. И это умение помогло занять отвоеванную нишу. Я овдовел сравнительно рано, повторно впустить в келейную жизнь новую женщину не захотел. Коллеги привыкли к тому, что я есть, благо, что я избегал публичности и редко покидал свою норку. И умудрился просуществовать в жизнеопасном чаду словесности. Для равновесия напоминал себе, что плодотворен неспешный шаг, он завоевывает пространство.

Но крест литератора — тяжкая ноша. Был горек мой хлеб, а вода солона. И все же ни дня я не пожалел, что положил свою голову в жернов, перемоловший мою жизнь. Не было часа, чтоб я не пьянел от жгучего неутолимого счастья. Пусть даже за долгие свои годы я видел немало раздавленных судеб и сломанных жизней моих коллег. Не мне было сетовать на фортуна, хотя от родителей я унаследовал нелегкий характер и странную блажь — почти беспричинную меланхолию. Я трезво сознавал, что обязан благодарить небеса за удачу, но кожей не ощущал ее хмеля.

Правда, уже в далекую пору литературного дебюта и мне однажды пришлось несладко. В те дни удавка идеологии была особенно беспощадна. Но в порошок меня не растерли, тем более в лагерную пыль. В конечном счете, нелегкий опыт знакомства с тяжелым катком государства пошел скорее даже на пользу. Впоследствии я любил повторять: успехи делают нас павлинами. Людьми нас делают неудачи.

А прежде всего, я раз навсегда запомнил, что идея в искусстве должна угадываться, а не внушаться — тут надо проявлять осторожность. Идеи чреватые идеологией, которая загоняет в клеть. Литература любит простор.

Впоследствии климат переменился, меня благополучно забыли, позволили тихо существовать. И удалось среди очень немногих ужиться с лютым двадцатым столетием и проскочить в двадцать первый век.

Осталось так же благопристойно, негромко дожить отпущенный срок. Тем более, возраст настал суровый, болезни становились грозней и посещали меня все чаще. Шагреневая кожа сжималась, все призрачнее и все условней была моя засбоившая жизнь. Практически я стал домоседом. Любое общение было нелегким обременительным испытанием. И все же сильнее всего была потребность увидеть снова Везунчика.

2. Везунчик (страницы из дневника)

Та осень была для меня нелегкой. Случаются в жизни такие полосы, когда решительно все неувязки, все незадачи и неприятности, которыми она так богата, вдруг стягиваются в один клубок, в тугой и намертво скрученный узел. Его не распутаешь, не развяжешь. Рубить опасно, можно поранить и изувечить себя самого.

Послушное перо затушилось, слова утратили цвет и свежесть, а в сердце ныла сквозная рана — любимой женщине надоело соперничать с письменным столом. Бессмысленнее и безнадежней, чем с разными случайными феями — те исчезали так же стремительно, как появлялись, будто их не было. Устала она и от перепадов, от частой смены моих состояний.

Вдруг, неожиданно, оказалось, что быть одиноким не так уж весело. Свобода, когда от нее отвыкаешь, утрачивает былую легкость. А заодно и свою привлекательность. Оказывается, она умеет быть, сколь ни странно, обременительной. Пустыня она и есть пустыня. В ней никого не дозовешься, в ней можно никого не дожидаться. Для человека такого края, какой мне выпал, если подумать — выбор безрадостно невелик. Впервые за много лет я понял, что означает отсутствие тыла — душе твоей не к кому прислониться.

Однажды мне привелось пережить безжалостную бессонную ночь. Я полагал, что такими бывают одни лишь стариковские ночи — и вдруг подступила такая тоска, такая свирепая безнадега — впору тревожно, по-волчьи, завывать.

Как полагается литератору, я сразу же стал искать параллели. Естественно, прежде всего я вспомнил про арзамасский ужас Толстого. Потом мне подумалось, что такая же дремучая, пещерная боль душила некогда Маяковского, а впрочем, не его одного. Немало каторжников пера однажды задумывались о пуле, которая убьет их тоску, и о петле-удавке на горле. Догадываются ли разумные люди о том, как мы маемся и скулим?

Нет, разумеется. По привычке люди считают меня Везунчиком, которому все на земле удается.

Впрочем, не следует верещать. Стоит взглянуть хоть на Старика. Вот уж кто одинок, как перст, как ржавый лист, как последний зуб. К тому же бездетен. И нелюдим. Общается с выдуманными тенями, рожденными собственным воображением. Сам заточил себя в кабинете, который тесней монастырской кельи, запущен, заставлен старыми полками, стонущими под тяжестью книг и папок, набитых черновиками.

Дней ему осталось немного. Доволен ли он тем, как он жил? Груды исчерканной бумаги — в нее, как в песок, ушли его годы.

Неужто и меня поджидает такое же беспросветное будущее? А ведь меня называют Везунчиком. В самую точку — хорош Везунчик!

Да. Безусловно. Всегда везло. Книги рождались. Читались. Нравились. Бабы клубились. Друзья завидовали. Все, как положено — жизнь удалась!

Писарев никогда не мог понять онегинского стенания: «Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать?». Читал эти строки и попросту исходил от желчи, от этой своей нигилистской злости. Зато и Бог его покарал — не прожил и тридцати годков — глупо утоп в латышской речушке. Впрочем, нерядовые люди редко засиживаются на свете. Годы их отмерены скупой. К тому же никому не известно, какими были и каковы их долгие бессонные ночи. Лев Николаевич не в счет. Слишком уж была велика эта его витальная сила. Но вряд ли и наш исполин был счастлив. Был у него свой Арзамас. Меня же, скромного литератора, упрямо называют Везунчиком. Эта дурацкая кликуха стала какой-то визитной карточкой.

Когда я впервые о ней услышал, она мне польстила, пришлось по душе — уж лучше мне быть предметом зависти, нежели жить отравленным ею. Мишенью этого гадкого чувства быть утомительно, но, безусловно, противней завидовать самому. Бесплодно и бессмысленно сравнивать свое персональное несовершенство с какой-нибудь хрестоматийной тенью или, что еще омерзительней, с кем-нибудь, кто живет на свете одновременно с тобой самим.

Принято думать, что наши удачи нас оглушают, а учат несчастья. Ни то, ни другое. Земля перепажана и мавзолеями, и усыпальницами завоевателей и триумфаторов. Однако ни история мира, ни собственный опыт еще никого не сделали лучше, да и разумней. Общеизвестная закономерность. Грусти в ней вдоволь, а проку чуть.

Кто из двуногих способен дивиться недолговечности всяких побед?

Рвемся к ним, подгоняя время, а плодотворен неспешный шаг, он подчиняет себе пространства.

В этом и состоит секрет всякой успешной цивилизации, пусть и отчетливо различимо некое тайное самодовольство в этом претенциозном слове. Привычно тешат пестрые краски и колокольная музыка славы.

Но чем устойчивей утверждалась в доверчивом сознании публики легенда о молодом Везунчике, его успешности и удачливости, тем изнурительней становилось давно набухавшее раздражение. Что знают эти шумные люди с их странной потребностью в пестром мифе о том, что я чувствую и что думаю, что понято мною за эти годы?

И как объясняют они себе мое затянувшееся молчание? Неужто лишь тем, что я рад был проститься с Голгофой письменного стола, что попросту мы надоели друг другу, что я уже не прежний птенец, что вот и случилось то, что случилось — я окончательно израсходовал отпущенный мне золотой запас, все, что я мог сказать, мною сказано. В конце концов, каждый, кто оказался на этих благословенных галерах, однажды видит: колодец пуст. Он вычерпан до самого доньшка. Не я тут первый, не я последний.

Но это прозрение и постижение моих скорбей меня не утешило. Резоны разума не всесильны. Имеет значение только то, что тебя точит ежеминутно. Ты засыпаешь и просыпаешься все с той же присохшей к тебе тоской. Проснувшись ты чувствуешь: никуда она не делась, все так же яростно грызет твою печень или твой дух. Кому какое слово родней.

Я знал, что надо довериться времени, что время делает чудеса. Но я уже далеко не юноша, и счет отпущенного мне срока идет не на долгие десятилетия. Дай Бог, на годы или на месяцы — опасно ждать у моря погоды. Необходимо в себе найти запасы мужества и достоинства.

Для этого нужно быть Стариком.

3. Напоследок

Признаюсь искренне, мой визит, никем не подсказанный, малопонятный, меня самого обескуражил. Во всяком случае — удивил. Бесспорно это меня не красит, но согласитесь, что мы пребывали поистине в полярных мирах. Пройдет еще столько десятилетий, пока я достигну этого возраста. Сам же Старик однажды сказал:

— Мы странно устроены. И вообще земляне — малопонятное племя. Очень талантливое и яркое. Способное на безусловные подвиги, на авантюры и на открытия. Способное совершить нечто мощное, и вместе с тем — недоброе племя.

Болезненно вздорное и завистливое, анафемски непостижимо беспамятное. Способное в сотый, в тысячный раз ступить на те же самые грабли. Как это варе-

во в нем существует, как эта подлинно адская смесь его до сих пор не истребила, не уничтожила, не извела — великая загадка природы, неведомых нам космических сил — и в высшей степени — непонятная. То совершаем скачки и прорывы, то пятимся и поспешно откатываемся в доисторическую эпоху, к пещерным временам и обычаям. И так — мы талантливы, но неумны. Достаточно поглядеть на тех, кому доверяем мы нами править.

Столь же неясны и необъяснимы наши сакральные институты. Религии, созданные, чтобы спланировать, на самом деле разъединяют. С именем Христа на устах, Христа милосердного, всем все простившего, жили и живут до сих пор неутомимые инквизиторы. Разум, который мы обожествовали, скорей убедительно продемонстрировал возможности нашего исчезновения, нежели преобразования мира. Но независимо ни от чего мы, литераторы по призванию, обязаны делать наше волшебное, бесплодное, но гордое дело.

Хотя он окончил свой монолог на этой духоподъемной ноте, меня почему-то прошел холодок. И я неприязненно пробурчал:

— В этом напутствии есть идея. И, надо сказать, не обнадеживающая.

Старик невесело усмехнулся:

— Чур меня, чур. Никакой идеи. Есть преходящее настроение. Идея — дама небезопасная. Идея пахнет идеологией. А это всегда петля для художества. Литературе нужен простор.

И снова, в полном противоречии с таким утверждением, грустно вздохнул:

— Тебе привелось появиться на свет в усталой, перестрадавшей стране. Не с нашим лагерным размежеванием чувствовать себя птицами мира.

Но тут же добавил:

— И тем не менее, Везунчик обязан усердно помахивать своими одаренными крылышками. Летай за своим столом посмелей. Не слушайся старого меланхолика.

Вот этому совету я следовал. Я инстинктивно его сторонился. Общались редко. Себя оправдывал даже не тем, что он вдвое старше — он попросту древнее меня. Нас разделяют не только годы — нас разграничивают эпохи. Он тихо, без шороха, соскользнул с орбиты моей переполненной жизни, ничем не связанной с этим затворничеством. Я не винил себя. Что поделаешь — таков естественный ход вещей. Слабеют и родственные союзы — между отцами и сыновьями. Печально, ужасно, смириться трудно, но это случается то и дело. Связь поколений — понятие хрупкое, а в чем-то даже и беззащитное — подвержено ржавчине и коррозии, горькой опасности стать однажды данью отцветшему ритуалу. Игра не перестает быть игрой, даже когда соблюдаются правила.

Но, значит, Старик, сколь это ни странно, все же присутствует в моей жизни! Совсем непредвиденный мною сюрприз. Так много свидетелей моей юности с годами ушли, растаяли в дымке, а многих я попросту позабыл. Сурово? Что делать! Литература, в которой, по прихоти лотереи, нам выпало растворить наши жизни, — жестокая и властная дама. И человек, к ней приговоренный, отлично знает, на что идет. Знает и то, каким он станет. И тем не менее, не променяет эту свою бессрочную каторгу даже на самые идилические, самые солнечные сады. Ни помраченная голова, распухшая от непомерной ноши, ни наше душевное пространство не могут вместить в себя столько лиц и столько судеб — их слишком много проходит сквозь нас — всеядная память тоже имеет свои пределы, свои кладовые и закрома. Там прячет она свои трофеи и подвернувшиеся находки. Иначе ей было бы не под силу справиться со своими обязанностями. Однажды прозвучит еле слышный и все же внятный хрустальный звон — некие тени, давно исчезнувшие, нежданно выходят из ночи на свет. Твой поезд замедляет движение — на этой станции нужно сойти. В такой вот день напросился я в гости.

За время, что мы не виделись, Старик разительно изменился. Не в лучшую сторону. В этом, само собой, не было ничего удивительного.

Ему становилось все тяжелей справляться со стойкой коварной хворью. Его будто намертво сжатые губы стали какого-то белого цвета, глаза потухли, а птичий нос еще выразительней заострился. Он стал очень слаб, едва говорил. Сознание его было ясным, точнее сказать — относительно ясным. Порой он входил в какое-то странное сомнамбулическое состояние. Тогда он утрачивал чувство последовательности, связь между утром, полуднем, сумерками и, наконец, вечерней порой. В его кабинетике постоянно, с весьма недолгими промежутками, неярко горела настольная лампа.

И все-таки, когда я пришел, хозяин не выразил недовольства. Больше того, мне показалось, что он, возможно, даже обрадован.

— Садись, — негромко проговорил он. — И не взъщи — я все же прилягу.

— Уж обойдемся без церемоний. Поверь, в горизонтальной позиции, — я выдавил из себя улыбку, — еще очевидней и выразительней твое прирожденное патрицианство.

Я знал его едва ли не с детства, и в том, что я говорил ему «ты», не было никакой неучтивости.

Он еле слышно прошелестел:

— Итак, что за ветер занес Везунчика в жилие ветерана, который к тому же дышит на ладан?

Эти слова и, прежде всего, натужно шутливая интонация меня встревожили и огорчили.

— Прости, — пробормотал я сконфуженно. — Похоже, тебе не до визитера.

— Надеюсь, что ты не визитер, — устало проговорил Старик. — Давно тебя не было в этом доме. Меж тем, увидеть тебя приятно. Мне одиноко, уныло, скучно. И грустно, и некому руку пожать. Скажи мне, что тебя привело? Догадываюсь, что есть забота.

Я грустно промямлил:

— Еще какая. Сiju за столом положенный срок. Тружусь регулярно. Но все, что вылуливается, меня удручает и словно вяжет. Необъяснимо и невыносимо. В особенности для графомана. Такого, как твой незванный гость.

— Сочувствую, — хмуро сказал Старик. — Но поводов для паники нет. Такое случается с нашим братом. Тут надобно проявить терпение и дать ему положенный срок, чтоб он наполнился свежей влагой. Не все же тебе сидеть за столом. Тем более ты достаточно молод, если взглянуть с моей колокольни. Имеешь право какой-то период всецело посвятить своей плоти. Возможно, она у тебя застоялась. Любимчику женщин это во вред.

Я хмуро заметил:

— Не угадал. Дамья могло бы быть и поменьше. Известная тебе толкотня еще продолжается. То ли я сам не вышел из моды, то ли в кругу лирических гурий слух обо мне идет похвальный, и поэтические создания меня друг дружке рекомендуют на целомудренных посиделках. Возможно, я безвольно поддался их нездоровому интересу, но с некоторых пор я почувствовал, что это внимание не побуждает зажечь своим огнем человечество.

Старик посмотрел на меня с интересом.

— Тебе не пишется? Или, вернее, работа тебя перестала радовать?

Я согласился:

— В самое яблочко. Пишу не о том, пишу не так. Слова безжизненны и поверхностны. Все вяло, бескровно, в строке нет спермы. И нет счастливого заблуждения, что все могу и что все по силам. Ушло, исчезло, а ведь оно-то обычно и поджигало порох. И взгляд потух, и походка не та. Но хуже всего — это стало

заметно. Люди привычно обходят лузеров, они боятся, что ненароком обрушат на собственные плечи чужие беды и невезуху. Ко мне тянулись, когда меня считали Везунчиком, видно, мерещилось, что рядом со мной пофартит и им. И сразу же, в мгновение ока изменится их нескладная жизнь. Возможно, ко мне их привлекала детская вера, что эта близость подарит им тоже немного счастья, что им однажды перепадет какой-то ломтик чужой удачи. Должно быть, вся эта мельтешня избаловала меня самого, в известной мере даже подпитывала какой-то избыточной убежденностью — однажды я сделаю нечто стоящее. И вот не то она отломилась, не то иссякла, куда-то делась потребность выплескивать некий поток, который всегда не давал покоя, усаживал за письменный стол. Час, отнятый у этого требовательного, необходимого извержения, казался мне потерянным часом. Из-за стола я привык вставать измученным, выжатым, опустошенным и вместе с тем переполненным счастьем, каким-то, стыдно сказать, неприличным, смешным сознанием всемогущества.

И вот, впервые за много лет, я чувствую, что эта потребность, которая и была моим воздухом, ушла куда-то, она скукожилась, я смутно понимаю, зачем я. Зачем просыпаюсь, хожу по улицам? Читаю прессу? Фун-кци-они-рую?

Когда я оглядываюсь назад, я в тысячный раз хочу понять: в чем заключается причина такого необъяснимого ступора? Но толком, должно быть, и не пойму. Естественно, прежде всего напрашивается простое и жесткое объяснение: я начисто выработал ресурс, и вот он иссяк, истончился, сдулся. Но все во мне яростно протестует. Я вновь вспоминаю, что я не стар и, больше того, относительно молод, я вспоминаю хотя бы тебя, твою завидную неутомимость, неистовую тягу к перу, к нанизыванию строчки на строчку. Я не могу понять, отчего увяла во мне моя способность рождать сюжеты, ловить слова, куда она делась, за что я наказан? Уж не за то ли, что жил взахлеб, взасос, на полную выкладку? Что рядом со мной теснились люди, что я не раз и не два бросался в этот котел, в котором корячилась и сотрясалась моя страна? Ты можешь сказать — есть мера гражданственности и эту меру я преступил. Но я не верю, что ты так скажешь. Моя погруженность в сегодняшний день, в его малоохольную температуру, не может быть роковой ошибкой, причиной немоты и исчерпанности. Неужто я должен был скрыться с глаз, то ли загнать себя в некий скит, то ли торжественно взгромоздиться на среднерусскую возвышенность, как на трибуну или на кафедру, вместо того чтоб поскрипывать перышком? Я не могу с этим согласиться.

Он слушал, не прерывая, мой беспорядочный монолог. Лицо оставалось не то отрешенным, не то безучастным. Я вновь увидел, как горько он стар. И, устыдившись, я мрачно буркнул:

— Прошу прощения.

Он помедлил и произнес:

— Нет, это лишнее. Сам знаешь, ты теперь редкий гость.

— Это никак меня не оправдывает. Ты занят и, кроме того, нездоров.

Он возразил:

— О тебе я думаю всегда и рад, что ты появился. Оставим всяческий политес. Поверь, что мне так будет комфортней. Договорились?

— Как ты скажешь.

— Возможно, я не готов участвовать в празднике юности и красоты, но ты пришел сюда не за этим. Давай поговорим о тебе. И потолкуем, как два литератора. Все эти последние годы ты самовыражался сверх меры. Ты извергался и фонтанировал. Сравнительно за короткий срок ты написал и обнародовал маленькую библиотеку. Кто с уважением, кто с досадой всегда именует тебя Везунчиком. Причем справедливо. Теперь за тобой будут слеживать. И ревниво. Ты же обязан лишь прибавлять.

Прежде всего — не содрогайся. Переведи хоть немного дух, чтоб осмотреться, проверить возможности и понять, чем ты можешь воспламениться. Кроме того, и шумок поутихнет. Однажды к тебе привыкнут как к части литературного пейзажа. И станет легче существовать. Уже не придется ни что-то доказывать, ни так упрямо самоутверждаться. Литературный успех утратит свою первостепенную важность.

Я мрачно покачал головой.

— Хорошего мнения ты обо мне. Портрет озабоченного павлина.

Старик благодушно меня утешил:

— Я о тебе высокого мнения. А озабоченность смотрится лучше, чем откровенное самодовольство. Все это мелочи — место на лестнице, витрина, фасад и прочая хрень. Забота твоя одна — написать то, что пока еще не осилил. Сейчас у тебя наиболее щедрая и восхитительная пора. За письменным столом ты осваиваешь свой столь обильный любовный опыт. Писать о женщинах, вспоминать их и снова переживать в своей прозе те вулканические часы необыкновенно приятно. Никто не любит так одержимо, как любят писатели, ибо любовь, как никакое другое чувство, связана с нашим воображением. И чем щедрей оно, тем притягательней и неумейней потребность в любви. Но мало-помалу твой темперамент насытит свою молодую мужественность и займется судьбой планеты. Страсть переплывит в столь же неистовую миссионерскую радикальность. Это — накатанная колея. Тебе по примеру великих собратьев захочется внести свою лепту в преобразование государства, возможно даже — рода людского. Это практически неизбежно, и тут тебя поджидают опасности.

Я взволновался, и не на шутку:

— Так ты полагаешь, что все же возможна реанимация цензуры?

— Такой вариант исключать нельзя, — заметил Старик. — Живем мы в державе во всех отношениях своеобразной. Она не скупится на испытания и прочие зигзаги развития. Видишь ли, есть такой трудно понятный и удивительный парадокс. Известно, что мы — страна мятежная, страна революционных бурь. И вместе с тем — сколь это ни странно — я не убежден до конца, что мы в самом деле любим свободу. Мы и хотим ее, и опасаемся, и смутно знаем, как надо с ней жить. Перелистай-ка нашу историю — всю тысячу залитых кровью лет — разве не видно, как мы привязаны к этой железной вождистской модели — великокняжеской, самодержавной, а в лучшем случае — авторитарной. Наша родимая птица-тройка подспудно тоскует о крепкой узде. И наши поэты, наши prophets догадывались об этом не раз. Но, тем не менее, следует помнить, что мы и сами не мудрецы. Не только потому, что хлопочем, взываем, требуем, просветительствуем и все стараемся переломить отечественное самосознание. Беда еще в том, что мы расточительно, с ребячьей беспечностью тратим время, которого нам отпущено мало. А значит, все мы — не слишком зорки. Лишь успокаиваем себя, что чем мы шибче и жарче резвимся, тем больше пополняем запас необходимых нам впечатлений. Если бы так! По большей части мы занимаемся мельтешней.

Когда я смирился с тем, что я стар, и понял, что ежеминутно рискую откинуть копыта, я взвыл от ужаса — сколько упущено невозместимых бесценных часов!

Поэтому я тебя заклинаю — трясись над каждой своей заготовкой, над каждой записью в тайных тетрадках, как Гарпагон над своими дублонами. Ничто не должно уйти бесследно. И мало научиться зачеркивать, хоть это умение означает едва ли не высшее мастерство, надо уметь еще распорядиться своим богатством, чтоб все отброшенное, не закрепленное на бумаге, угадывалось и даже прочитывалось в немногих оставленных жить словах, в выструганном и уцелевшем тексте.

Я хмуро спросил:

— А как же быть с желанием усовершенствовать нравы и привести наш родной заповедник, как говорится, в божеский вид?

Он сострадательно усмехнулся:

— Это однажды произойдет. Не вздумай только взойти на амвон, чтобы «сказать с него много добра». Гоголь попробовал и надорвался. Мало того, что он не успел сделать все то, что должен был сделать, он еще сам себя наказал — предал огню свои поучения. И вот еще что: никогда, ни-ког-да не осуждай своих современников за то, что они тебе что-то недодали. Превращение человека в икону, как это произошло при жизни с беднягой Алексеем Максимовичем, в немалой степени притушило его художнический огонь.

Помни, сыночек, что сила проповеди не может соперничать с мощью исповеди. Некрасов был и сыном отечества, и гражданином, и поэтом, и замечательным человеком (со слабостями — но кто же без них?), имел воздействие на умы. Когда его гроб опускали в могилу, студенты кричали: «Он выше Пушкина!». Был, кстати, среди них и Плеханов. Но что из того? Александр Сергеевич и ныне и присно — наш свет в окне. И в горнице и в темнице сырой. Хотя он был грешником, озорником и написал «Гавриилиаду».

Впрочем у каждого свой удел. Иной принимает раннюю смерть, другой обретает посмертную славу, а третий всходит на эшафот. Поистине — каждому свое. Начертано на вратах Бухенвальда.

И даже мне, слабаку, неумехе, не оправдавшему ни родительских, ни дружеских, ни своих надежд, тоже дана своя дорожка, конец которой столь недалек. Сделал немного и неуклюже, но сделал, что мог. И все тут. Аминь.

Жизнь вообще не способна дать больше, чем воздаст нам смерть. Естественно, если мы того стоим. За все неумеренные восторги, за эти молитвенные обряды, за переименования улиц и городов большой человек не только уменьшился в объеме, он должен был еще расплатиться собачьей верностью уголовнику, чревоуещанием, одиночеством. Не состоялось даже трагедии, ее заместил какой-то нелепый и оскорбительный трагифарс. Горький безропотно занял место верховного арбитра словесности, ее начальника и жреца, пастыря этой мертворожденной и пародийной литературы. Он утвердил в ней единый стиль и предписал единый жанр — одический холуйский восторг. Достойная участь для буревику. Для сокола. Попросту — для писателя, который ворвался в литературу, как факел, как вихрь, как сноп огня. Нет, не грусти, не хнычь, не досадуй, что не торгуешь собственным даром на ярмарке, не трясешь локотками на свалке литературных карьер.

— Ну, что ж, — я попробовал усмехнуться, хотя мне и стало не по себе. — Я обещаю тебе затвердить то, что В начале было Слово.

— Да, это так, — согласился Старик. — И все же не обожествляй и его. Хоть каждый из нас, на свой манер, ему поклоняется, стоит помнить, что Слово бывает и лживо и дешево. Сталину ничего не стоило сделать начальственный комплимент сдавшемуся Алексею Максимовичу, глубокомысленно превознести его учебническую поэму, сказать, что «любовь побеждает смерть». И это произнес негодяй, который главным своим союзником, главным подручным как раз и сделал насильственную жестокую Смерть. А что он позволил себе сказать о все понявшем, пронзительном Зощенко, которому даже был не достоин шнурки завязать на башмаках! Не говорю уже о всех прочих, кого он распял на своей Голгофе. И все это было на наших глазах, в цивилизованном, столь просвещенном двадцатом веке! Нет, Слово, исторгнутое из грязных, из лживых и безнравственных уст, при всей живописности то и дело послушно служит кому угодно. Без всякой совести и стыда. Уж полагайся на незаемную, на выстраданную, бесстрашную мысль.

Эта с усилием произнесенная и затянущаяся тирада меня удивила и опечалила. Всегда он старательно избегал любых деклараций, а голос его обычно звучал почти отрешенно. И вот, поди ж ты, такой неожиданный, почти патетический монолог.

Но весь его облик болезненно остро напоминал о том, как он стар, как он устал, о том, что былая витальная сила его покидает.

Я вдруг, против воли, его спросил:

— Доволен ты тем, как прожил жизнь?

Старик помедлил, потом вздохнул:

— Загадка. С ходу и не ответишь. Все старые книги обычно кончались почти обязательно словами: «И жили они долго и счастливо». Есть тут натяжка. Само собою, от всей души желаю тебе долгих и беспечальных лет, но вы меня скопом загнали в угол. Однако не стану темнить: доволен. Я занимался отменной работой. Такая удача не всем достается. К тому же у меня не было выбора. Тебе ж на прощанье хочу сказать: ты можешь сделать Бог знает как много. Если сумеешь распорядиться тем, что отпущено было родителями, небом, природой, не знаю кем. Я говорю это неслучайно. Племя людское весьма талантливо, очень талантливо, но неумно.

Я был польщен, но вместе с тем почувствовал, что задет. Взмолился:

— Дай же хоть шанс нашим мозгам.

Словно надеялся, что Старик подхватит мое театральное ерничество и успокоит ответной шуткой. Но он, пожав плечами, спросил:

— При нашем суицидальном начале?

Эти слова меня обескуражили. И опечалили. Я-то ведь знал, что он на дух не переносил столь патетических оборотов.

И словно угадав мои мысли, Старик чуть слышно прошелестел:

— Намаялся с вами я, господа. Пора и передохнуть.

Я встал. Но он неожиданно остановил меня.

— Еще два слова. Сейчас я кончу.

Я очень надеюсь, что ты напишешь все то, что я не сумел, не смог, не удосужился написать. Если, само собой, не изведешь доставшейся неведомо как этой моцартианской мощи на безделушки и на куплеты и падкое на известность даме, если со временем не утратишь способности чувствовать и страдать. Если окажешься, наконец, способным на схиму и одиночество. Зависит все это лишь от тебя.

Он замолчал, устало вздохнул. И вдруг чуть слышно сказал:

— Забавно. Иной раз мне кажется — я поселился на этом свете давным-давно. Живу непозволительно долго. И вдруг понимаю: лишь несколько лет прошло с того дня, когда я вылупился. Случилось это в осенний день, в измызганном двухэтажном доме на грязной и голосистой улице приморского азиатского города. Он весь был продут соленым ветром, обозначавшимся словом «норд». Он засыпал мою мордашку мелкой коричневатой пылью, острыми, крохотными песчинками. Всего лишь вчера или позавчера я был непоседливым смуглым воробышком, и вся моя бесконечная жизнь раскатывалась, набирала разбег.

И вот — финиширую. Уморительно. Заканчиваю свой марафон. А думаю чаще всего о тебе. И знаешь, что я тебе скажу? Живи веселее. Как тебе свойственно. Желаю тебе поменьше умничать.

— Рад бы, — сказал я — но есть загадка. И не дает мне она покоя.

Он буркнул:

— Какая еще загадка?

— Все та же, — сказал я. — Ты ее знаешь. Хотел бы я, наконец, просечь: чем так провинились мы перед миром? За что, за какие такие грехи, Всевышний вот

уже тысячу лет так люто карает мое отечество? Другим в поученье? Себе на потеху? Жестокая и кровавая шутка. Иной раз мне кажется, что я тронусь, если не отыщу ответа.

— Тронешься, — мрачно сказал Старик. — Хотел бы и я, в свой черед, понять: за что тебя окрестили Везунчиком? Тоже ведь шутка не из удачных. Ловко же ты всех обманул.

Помедлив, он ворчливо сказал:

— Загадка она и есть загадка. Тысячу лет уже, говоришь, люди не могут найти ответа? Значит, его и нет. И уймись. Иначе проживешь мою жизнь, да и получишь в конце мою старость. Не требуй от мира даров и ответов.

Он снова покачал головой.

— Мастер ты все же втирать очки. А я-то думал, и я ли один, что ты порхаешь, как птичка певчая. А ты, сынок, не живешь, а маешься. Бродишь по свету, как Агасфер, с булыжниками в своей душе.

Я рассмеялся:

— Поздно хватился. Теперь уже ничего не исправишь.

— Спасибо тебе от всей души, — махнул он невесомой рукой. — Был у меня единственный миф о грешной, такой беспечной молодости. И этот ты отнял. Благодарю. Теперь прощаемся. Я устал.

— Прощай, дорогой мой, — пробормотал я.

Он вяло кивнул. Не сказал ни слова.

* * *

Сил у меня оставалось все меньше.

Я будто почувствовал сквозь дремоту чей-то пытливый внимательный взгляд. От этого взгляда мне стало неловко. Я съежился, повернулся к стене, словно старательно заслоняясь от этих пронзительных, изучающих, обидно сострадающих глаз.

И мне окончательно стало ясно: разглядывает меня не гость, не этот придуманный человек, а собственная везучая молодость, с которой я все не хотел проститься, не мог отпустить, мечтал удержать — вот и веду с нею наш бесконечный, изматывающий меня диалог.

Потом мне послышалось, будто кто-то бесшумно закрыл за собою дверь. Не то чтобы я сумел расслышать, скорей мне почудились осторожные, едва доносящиеся шаги.

И я догадался, что он ушел.

На этот раз — ушел навсегда.

Павел Банников
поезд Сеул—Бусан

Каберне

ветер в спину прекрасно темно и уже рука
 не дрожит
 каберне и запах чужих квартир
 на углу фонарь подобием маяка
 и дома как будто дырявые корабли
 трюмы камбузы мачты хриплое йохохо
 так спокойно
 за бортом
 свободные
 не вполне
 ветер слева одарит нас ворохом
 листьев
 холод
 а руки греют колокольчики из монет
 и не странно вернуться в каюту свою к утру
 несмотря на *но* и на спор о природе *цо*
 и ещё не странно бояться не утонуть
 утону — постой когда ветер дунет в лицо
 пиши:
 R. I. P. ОН НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ МОРЯ

Радио Дюна

I. представь себе сломанное радио
 где-то в средней полосе Америки:
 старый пьяный негр сбивается и его замещает
 какой-то кислотный белый молодчик с гитарой
 а в паузах — Голос — но столь далёкий

Об авторе | Павел Банников — поэт, эссеист, редактор. Родился в 1983 году в Алма-Ате. После окончания школы работал на сборке анодных заземлителей, подсобником на стройке, первая профессия — обойщик мебели. В 2004 году окончил литературные курсы ОФ «Мусагет». Изучал лингвистику в Казахском университете, окончив его в 2007. В 2005—2006 — редактор ЛХИ «Аполлинаруй». С конца 2006 — редактор и главный редактор в гляцевых изданиях. С 2012 — колумнист в журнале «Алау», издающемся в партнёрстве с журналом «Огонёк». Составитель, редактор и соиздатель нескольких сборников произведений и авторских книг казахстанских писателей. Один из основателей издания «Ылшо Одын» (2009) и поэтического фестиваля «Созьы» (2012). Первая публикация — в журнале «Аполлинаруй» в 2004 году. Участник литературного фестиваля в Казахстане, проведённого Фондом СЭИП в ноябре 2012 года в пансионате «Каргалы» (Алматы) — в семинаре отдела поэзии журнала «Знамя». Живет в Алматы.

что ни травы ни твари не обращают внимания
и не склоняют очей
это место ещё не чисто
ты знаешь
и знаешь
что делать
Господи Иисусе поймёт
и простит
ты знаешь

II. Шамиль чист и светел, и даже как-то неловко
что именно он выполняет миссию по доставке
небольшого количества афганской травы через весь город,
спрятав, должно быть, в трусах
наконец, звонок, я встречаю его, робкого
и пунцового от приключения
он целомудренно достаёт бумажный свёрток из длинных плавов
(я видел их на нём у Чёрного моря, подарок жены, со вшитым кармашком
на редкий случай дальних поездок)
мы виновато улыбаемся, я высыпаю слегка пересушенную траву на стол
и пока Али забывает косяк
рассматриваю упаковку —
бумага — явно — «Снегурочка» 80 г/см², распечатка на струйном принтере:

*...доподлинно известно, что в коттедже Б. Тлеухана,
который в мкр. Шубары, г. Астана,
многokrатно проводили и проводят проповеди известные ваххабиты
Халиль, Ибрахим, Ринат, Дарын, Дидар...
В подвале коттеджа устроена мечеть с полами с подогревом...*

дальше — молча, Али — забывает
мы курим
Али забывает
мы — курим
молчим
мы читаем стихи, и от этого становится легче
потом все уходят, а я пишу
мне страшно
я пишу, и мне страшно
я боюсь слов
я боюсь чистого листа

III. Степь, немного пыльный закат. Едыге
поправляет спутниковую тарелку, сегодня вечером обещали
показать «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо».
Едыге смотрит в закат, вспоминает, что забыл про закят*, думает:
«В воскресенье возьму двух баранов, поеду в город, имам поймёт. Красивый
сегодня закат, надо позвать Алию, красота, дарованная Всевышним, очищает. Алия,
что-то уныла в последнее время. А даже у христиан это грех, помню, так говорил
в том фильме тот парень, похожий на ангела. Хороший закат, хороший...»

Черепиховый кот

<вырезано внутренним редактором>

это невозможно —
этого нельзя делать ни в коем случае —

никогда!
 никогда!
 (особенно по осени)
 забудь про ностальгию —
 никогда не открывай альбом
 со старыми маленькими фотографиями знакомых на одной странице —
 (на старом фото у него длинные волосы и романтическая небритость
 ещё свеж —
 не бледен и не похож на смертельно больного человека
 она в кудряшках и смелая —
 ей ещё не выбивали зубы в тёмной подворотне
 он явно ещё умеет выпивать литр дешёвой водки
 а после идёт искать дорогой коньяк и пухленьких малолеток
 её романтизм всё ещё не просто черта лица
 у него ещё есть деньги на опохмел)
 разве что перед этим ты достанешь свою фотку —
 (три года назад — ты похож на черепахового кота)
 и признаешь своё право изменяться

Кабы не ветер

Канату Омару, из Баку, с любовью

...верно. Когда бы не ветер, срывающий платья с девиц крутозадых,
 кабы не пятна цветные на камнях прибрежных и запахи моря...
 но говоришь ты: развеяно очарованье, хоть кошки бесстрашны и нежны,
 стены старинны, *нативны напевы, а девы прекрасно печальны*, —
 и я понимаю...

...ты больше не скажешь где-то, как, например, дания или висконсин —
 ты видел кирпич, исцарапанный Таней с Гейдаром, а вечером думал,
 что это бы небо и эту вот морось туманную, запах кошачьей мочи и кебабов
черпать бы ложкой кисельной, вгрызаться бы в мякоть сырую.
 Но это Баку, детка...

...вечером светит неон там, где русский и турок, — немые, — победно ликуют,
 дворник метёт тротуар, вспоминая, как дед говорил, что достойно трудиться у
 стен цитадели.
 Пьяный лезгин пробирается к дому, пугая кошачьих у тёмных подъездов,
 в плаче заходится ветер в проулке, скользит между крыш полумесяц,
 похожий на булку...

...там, на другой стороне мы цитируем мёртвых и верим в смещение речи,
 здесь я цитирую мёртвых и знаю, что вечность изменит свой запах нескоро.
 Черпали бы и вгрызались, когда бы не в плоть облечённое слово...
 Кабы не холод и кабы не ветер, брат.
 Кабы не ветер...

Хава нагила

Дым индийских свечей.
 Сквозь неплотно прикрытую балконную дверь —
 звуки — сливаются с ещё невспомненным сном...

Тогда в скрипах притормаживающих автобусов
 слышна переключка раненых китов.

Я вижу, как кит замирает у остановки, разевает пасть,
и на свет божий выходит Иона.

После почти бесконечного пути во чреве стального чудища
в утреннем тумане идёт Иона.
В утреннем тумане он добр и светел, и немного
сонный — сквозь сонное утро.

Он чувствует — должен нести слово
соплеменникам, согражданам и пришельцам — всем осевшим на этой святой земле.
Иона уже готов лайкать, шаркать, чирикать о скором вхождении в Царство.
Иона уже готов к революции духа, площадям, митингам, крови и слезам, ибо знает —
жизнь его лишь ступень к Царству.

На другой стороне города Иоахим только что потерял ключи
от дома. В утреннем тумане топчется Иоахим,
в утреннем тумане он добр и светел, но немного
раздосадован, ибо ждёт уже Анна его со смены

ночной. Анна тяжела и постоянно ворчит,
Анна требует кефира, воблы и мела.
А тут эти проклятые ключи, упавшие в снег у подъезда.

В утреннем тумане топчется Иоахим сонный,
по-прежнему светел, но немного
раздосадован.

Листья в траве

ты сказала: блин — куда ни плюнь — везде поэзия и листья травы,
и улыбнулась той самой улыбкой
(я как раз говорил тебе про *запах свежей листвы и сухой листвы запах морского берега и запах сена в амбаре* и что хочется курить на подоконнике с чашкой кофе
и чтобы деревья и листья и низкий-низкий подоконник и ты и я и ты улыбаешься а я
нюхаю тебя и хорошо)
я думал — ты не любишь Уитмена
обрадовался — как ребёнок

Памятка

я в нём и ты в нём и все остальные:
он жил и снился звездой
цветком сиреневым
гладили дышали —
пережил
(перегорел?) —
а теперь будто и нет ничего и не было уродливых монументов зданий
пародии на лувр вру не лувр башню эйфеля конгресс-холл централ парк
нет ни дрожи в коленях не будет и дрожи земли
не дороже жизнь щебета птиц улетающих не видеть руины
а может он прав и корни подточены — не вернёшь —
признать
*и смотреть умиляться как дети
идут разорять могилы и птичьи гнёзда*

Городки

Смотри это просто
я называю город а ты следующий на последнюю букву
я например москва а ты ярославль а потом
в принципе нет разницы антананариву тимбукту ну и что что бухта
городов не существует ты же знаешь
это всего лишь наша скромность
и потупленные глаза и шаркающие ножки
что с того делать печальный вид будто всё происходит с нами не с нами
разве что с ним и только
представь себе город картинка вроде
вот на льду проступает соль колеблются провода
ноль плюс один плюс восемь
воздушные змеи пластмассовые городки
овощное рагу на обед на ужин видеосалон на углу
и пошло зима весна лето осень
другая картинка страна тёплое море октябрь плюсов гораздо больше
ночь куришь на берегу тишина (...)
осень лето весна снова зима минус тридцать
аспирин пот постель твен-верн-том-немо
всюду уголь прикрытый прозрачной коркой
другие постели пот соль асфальт
грунтовая горькая ну всё всё всё это уже не с нами и не с ними конечно
разве только что с ним
давай в имена не умеешь объясню это просто смотри

поезд Сеул—Бусан. за несколько часов до океана

всякая океаническая эпопея
однажды заканчивается
этой ночью я боролся с бессонницей и думал о тебе Сесар Вальехо
я думал о тебе и мечтал
умереть где-нибудь всё равно где только не на родине
именно так — всякая океаническая эпопея
однажды подходит к концу
и это очень очень важно для тебя
ведь ты можешь просто испугаться лезть в воду
или попасть туда ночью а потом на пятичасовой рейс
можешь найти ракушку осколок бутылки и ничего
а за сутки до этого я боролся с бессонницей и думал о тебе Аллен Гинзберг
я думал о бремени твоего мира и никак
не мог примерить его на себя
безусловно
всякая океаническая эпопея
однажды подходит к своему логическому завершению
я вообще много о ком думаю по ночам
иногда даже ночами
вот и моя эпопея — подошла
я немного боюсь

Алматы

* *Закят* — в исламском праве обязательная ежегодная выплата части средств (одна сороковая часть) в пользу нуждающихся. Словарное значение — «очищение».

Георгий Давыдов

Саломея

рассказ

1.

Чем это было? Комнатой прислуги в золотое время? Заурядным чуланом? Аркаша, во всяком случае, жил в этой обители не с рождения. Как-то вышло, что комнатка стала его — м.б., четырехметровое наследство тетки (у нее в паспорте стояла фамилия Пшик — или брехня?), м.б., друг пустил перекоротать ноченьку, а далее, допустим, друг двинул куда-нибудь далеко — допустим, зарабатывать деньги. Какая разница? Аркаше тут жилось почти славно. Любимый топчан. Крепкая дверь от соседей (снаружи всегда календарь 1974 года — год абордажа комнаты?) Стол с подагрической ножкой. Стул (он же распялка для влажных рубашек, если охота их выстирать, но неохота гладить).

Впрочем, нет. Рубашки Аркаше следовало гладить безукоризненно — вы так умеете? — сначала рубашка (вот дурочка) делает вид, что глажка ее не пройдет, она собирает чело в три морщины, она артачится, потом становится обиженной, потом обреченной — как женщина, наверное, выходящая по расчету — и где же тот миг, когда труд, усердие, ласка сделают ее лилией евангельской, бело-снежной? Чтобы она счастливо целовалась с запонками (у кого их выцыганил Аркаша?) из горного хрусталя — которые так благородно выделяют сверк-сверк, чтобы она мурлыкала в объятиях бархатного пиджака, чтобы она вышивала вперед франта-сына — галстук малиново-пьяный, чтобы она весело провела вечер.

Неудивительно. Ведь был Аркаша клакером. Вы не знаете, что это? Хлопал в ладоши за деньги в театрах. Лучший клакер в Москве.

2.

Между прочим, заработок приятный. Отхлопал семь вечеров в неделю — и корми хоть месяц семью. А удовольствие? — я имею в виду эстетическое — все-таки возможность бесплатно соприкоснуться с искусством. А театральный буфет? — теперь, пожалуй, в буфетах нет шарма, но прежде — умять враз пять бутербродов с черной икоркой (нет, шесть) — это, простите, не хуже «Жизели» (нет, восемь), добавив (бульк-бульк) почти натуральной шипучки. И — в бой, рассеиваясь по чреву темного зала, по плану, по диспозиции — мало просто громко стучать ладонями — только клакер знает, откуда шум летит звонче.

Об авторе | Георгий Давыдов — постоянный автор «Знамени». Рассказ «Как избавиться от сверчков» (№ 9 за 2009 г.) вошел в число финалистов премии имени Юрия Казакова. Последняя публикация — роман «Крысолов» (№№ 1—2 за 2012 г.).

Чам! чам! чам! чам! — с балконов он падает на головы, как счастливый дождь. Гау! гау! гау! гау! — из глубины амфитеатра — как требовательное воззвание правды. Плик! плик! плик! плик! — из партера — льется барственно, по неволе подхватишь. *Баво!* — только бы не вопили рядом — можно и дернуться с испуга. Впрочем, вряд ли вы посвящены, что крикунам, вернее, бравистам всегда платили больше (на рубль, а то и на рубль с полтиной). Сейчас, разумеется, расценки иные. Уточните.

А шикальщики? Т.е. когда требуется зашикать? Разных проезжих дурищ, вроде Екатерины Мняхиной из Питера по осени 1977-го. Тогда шикальщиков наняла супруга Перкусовича — он, видите ли, возжелал для Катюшки Мняхиной триумфа в Москве только потому, что ему было уже шестьдесят девять, а ей — с кобыльими икрами — восемнадцать. Вспомнился именно этот случай, потому что как раз тогда Аркаша — чудик с плачущими глазами — показал характер, а думали, что у него характера не имелось, — шикать не пожелал. Перкусович, к слову, оставил супруге кофейных цветов «мерседес», квартирищу из пяти комнат в высотке, дачу (утешьтесь, гнилую) — в Снегирях, и, как тонкую месть, — сиамского кота-гадильщика — гадил на вещи гостей, пока те трещали и пили, а сам — я говорю о Перкусовиче — смылся с чемоданчиком и секретной сногшибательной партитурой к Мняхиной. Их видели на Московском вокзале. Перкусович — ну, разумеется, в своей до пят шубе из драной лисы и синими глазами старого лиса — и Катюшенька в белых сапожках на белых ножках, ну и на теле что-то еще. Как не узнать Перкусовича? Всемирно-известная мокрая прядь на плечи (вместо дирижерской палочки), брюзгливый нос постановщика Большого театра — да и Катюшеньку питерцы легко признавали — она выставляла щечки, как внучка — правую, левую, — чтобы дедушка из Москвы расцеловал. Мы отвлеклись.

Аркаша в ту пору состоял в зеленых — он, кажется, только месячишко или два как стал хлопальщиком. Как, кстати, ему предложили странную работенку? Просто заметили. Он сидел в Большом неделями, месяцами — с постоянством фанатика (сказано — чудик), постоянством ушибленного если не музами, то какой-нибудь чушкой с колосников. В скобках прибавим, что на сцене бывают травмы не только у балерин (ах, порвали связки при гран-батмане, ах, в глазах потемнело при фуэте). Правда, среди рабочих сцены — бесплатных буфонов вседневных комедий (провалиться в люк, очнуться в оркестровой яме верхом на арфистке) — среди таких рабочих Аркашу не было видно.

Впрочем, чем занимался вне театра, сказать затруднились, да и кому надо? Какой-нибудь неудачник с полочкой припыленных книг, с тетрадкой мучительных афоризмов. Переучка-художник, фотограф, у которого каждый последующий снимок портретируемого лица хуже, все хуже; пожалуй, что врач без перспектив, скорее, фельдшер, скорее, исусик на «скорой помощи», а если сочинитель трактатов? Такие водились в Москве...

Комнатка на Кузнецком, под крышей, с дождевой прожелтью на потолке, с дистрофически-узким окошком — самое место для нездоровых мечтаний. А мокрый запах подгнивающих плодов с первого этажа, из овощного? А взвизги любви из подсобки, оттуда же? Не исключено, что даже нравилось, даже годилось для шуршащего вдохновения. В такой комнатенке монолог Гамлета не прозвучит фальшиво. Что же: Аркаша — актер? Нет, зритель. Чудик с восторженными глазами.

Комнатка, все-таки комнатка виновата — выбежал вниз, ширкнул по брусчатке Кузнецкого, пообедал пломбиром из железного ящика мороженщицы — какие искусы дальше? — только Большой.

3.

Думаете, кто ходит в Большой, понимает что-нибудь в музыке? в голосе? в танце? в синкопе Стравинского? в легких па Петипа (донесенных последователями в шифрах изустных преданий)?

Сколько там новичков-глупарей — высмотрят бикини розовых нимф на потолке, колупнут, приоглянувшись, позолоту, тронут (а почему бы не полюбявить — вдруг липа?) бархат, пожалеют, что нет при себе рулетки — измерить глубину оркестровой ямы, толкнут супружницу, гоготнув — вырез у музыкантш сверху ну неприличный, будут счастливыми, узнав в соседнем ряду актрису Светлану Бендюжную («кто с ней? Да ну! Да это Криворучко!»), а шеф-повар «Арагви», в своей ложе? Вот и тема перед сном разговора: «Как тебе он?» — «Ужас. У него явный гастрит. Ты глаза его видел?»

Вам теперь ясно, для чего необходимы клакеры? Ги-ги-ги-ги-ги — медленно застучали ладони слева в партере, справа в бенуаре, потом и в райке, за вашим затылком (обернулись — вдохновенный лик театрала с прической а-ля Паганини) и перед вами — вот и вы стучите в том же ритме (укоризны на спутницу — что не хлопаешь?), рядом — главный технолог колбасного цеха, втянув кислорода в малиновые щеки, начнет ухать ладонями, его центнеровая подруга (эмоции — как у холодильного трейлера), благоуханно-мытые дети, и дальше, дальше — женоподобный визг *«Баво!»* — как прыжок в постановке Бежара в самом конце.

Что за публика вообще-то ходит в Большой? Гм...

А пропо, вот вам справка: клакеры хлопали уже в Древнем Риме, какое! — уже в Греции, даже в Египте. Это почище фри-масонов, те только врут, что их нанимал Соломон, а клакеры тянули монету, например, с Нерона, когда он пел, и плясал, и блял стишки. Использовались ли клакеры при обсуждении «филиокве» на Вселенских Соборах? Кто знает... Мистер Эпштейн, скажем, нанял клакеров три тысячи, чтобы встречать в Америке «Битлз». Эпштейнова мудрость понятна: талант всегда нуждается в поддержке. Кричат: мафия-клака! Как будто преподаватели институтов — не мафия! А журналисты? А парикмахерши? Боже мой, зубные врачи!.. Спросите у Кота Рыжего (самый толстый клакер Большого), что он думает о зубных врачах: плюнет и разотрет на паркете или (что неприятней) заставит глядеть к нему в рот. Он настрадался от дантистов-рвачей... Скажут: ну те все-таки делают дело, пусть плохо, пусть с обманом. Но клака — компания хлопальщиков — что за профессия? Для отбросов, для бездарей. Ну (багровеет Кот Рыжий) тогда вспомните судьбу позднего Скрябина, а лучше Вильяма Блейка — кто разглядел в нем талант при жизни? А гениальность Гогена? А танцовщица Мод Аллан, в миллион раз одаренней жирнозадой Дункан?

И всего-то дело — нужны были два—три клака, ветерок одобрения, метко брошенное словечко в антракте: «Вы поняли, в чем соль ее аттитюда?» И задакают дилетанты, потому что людишки — от обезьян. Клака всюду необходима — не только в балете и опере, разве в поэзии без нее жизнь? Или в физике? Рыжий Кот заливался, размазывая сливки по подбородку, толкая тарелку наивному новичку: «Аркашка, ты слушай! В Японии у моря живут обезьянки — макаки-мамаки подвида японского, рожки себе ничего. И вот одна лет двадцать назад научилась ворованные у туристов орехи мыть в морской водиче — йа-га-га! — и теперь все прочие дуры за ней потянулись, подсмотрели и делают так же — свист стоит, крики, и чавкают от души! Мы теперь знаем, орут они, кто такие импрессионисты, Кафка, Джойс, Блейк, Скрябин, Гертруда Лейстикова — прыгучая евреечка из Польши, — Мод Аллан, Барышников, Шнитке — мы знаем, кто такой Шнитке! — йа-га-га! — и кто такая Плисецкая — мы знаем! И кто такая Ася Теодор! Потому что обезьяны интеллигентные — йа-га-га!..»

Два—три клака, два—три хлопка — и мучения непонятого гения в прошлом — что, скажете, дурная профессия? Скажете: деньги. Ну и вкальвайте, бессребренички, сами. Великие — подумаешь — деньги.

Вспомните еще ловких Саутона и Порчера, которые щекочут французское чистоплюйство. Ведь это они поставили клаку в Париже на твердую ногу единого цеха — британская жилка. Хочешь триумфа? — ну, пожалуй, не чинись, не стесняйся, не валяй дурачка, не строй целку — плати.

Только не каркайте, что профессия, фу ты ну ты, грязная. Пока не начали хлопать, — не ясно, что перед вами — гений. А зашлепали, загудели — вот, наконец-то, пора прозреть, болванчики, так что — присоединяйтесь.

4.

Ему предложили работать на Асю Теодор. Теперь это имя мало кто знает. А в 1970-е — помните? «Вам нравится Плисецкая? А посмотрите-ка лучше на Асю Теодор» (говорил в фойе, допустим, Рыжий Кот, но ведь не врал!).

Аркашу он обглядывал с полмесяца — в клаку берут строже, чем в государственную безопасность.

Он для начала рассмешил Аркашу историей про композитора Масканьи, на первое представление оперы которого пришли матери с младенцами и стали щипать их — ну те заверещали! а гениальный Масканьи потный бегал внизу. Но рассказал Кот Рыжий (благородно модулируя голос) и житие из клакерских анналов про Шаляпина — он, между прочим, единственный, кто за орации никогда не платил. Федор Иванович, разумеется, отказался платить итальянской клаке, вся клака разъярилась, вся набилась в театр — потолочные балки должны были рухнуть от криков, высвистов, взвизгов, хлопающих стульев и дверей, от воплей «ратата!» («Почему картошка?» — удивился Аркаша), но когда Шаляпин запел — все зарыдали! весь театр был у его ног! Потому что только клакеры знают, что такое великий артист.

Разумеется, теперь измельчали. Идиотки-сырихи — ты их видел? «Их штаб — в магазине «Сыры», мы с ними не в дружбе». Потом — «глянь через два столика — видишь, физиономия в фурункулах зависти? — это Соленый Огурец, или просто Соленький. Делает вид, что когда-то сам занимался балетом, но получил — йа-га-га — травму! Поэтому у него башка оливкового цвета и три волосины». Рыжий Кот чавкнул пирожным, помахав им прежде Соленькому. «А Тюлень?» Да, про Тюленя все слышали. Он всегда сидел во втором ряду, и его хлопки ценились особенно. Потому что не хлопун, каких много, а мэтр — мог еще и устроить статейку, рецензию, хотя бы благопожелательную строчку в газетке. Сам, разумеется, ничего не сочинял, но знал, за какие ниточки подергать. Но главное — перед ним лебезили певцы. Ведь лицо Тюленя работало вместо лимона. Кто не знает шутку с лимоном? Если сесть впереди и начать есть лимон, то любому певцу — хана. Это какой-то закон физиологии — что-то там крутится в животе, выделяется в горле — лучшую свою ноту так и не возьмешь. Подавишься, поперхнешься. Почти колдовство, но миллион раз проверяли. А у Тюленя — и только у Тюленя! — лицо-лимон. На него один раз взглянул — на весь вечер кисло.

Был, впрочем, способ от него уберечься. Недешевый. Нет, не подкупить — все равно перекупят! Он так делал, его били, он снова, снова били. К тому же он приезжал на такси, шел через служебный, еще как-нибудь — не подкараулишь. Да и драку никто не затеет в театре (а в уборные он не выходил — перемогался, сидел на безводной диете в день спектакля). Поэтому надо заранее выкупить первые четыре ряда, нет, лучше пять, тяжело, но лучше все шесть. Рассадить там

своих клакеров, просто «своих» — родственнички, друзья детства, тетя из Ярославля, дядя из Кинешмы, геологи с Урала, космонавты с Байконура, птенчикам из театрального училища раздать, почему бы не воспитателям детского дома? обществу дружбы с угнетенными народами Африки? Спасибо, что артистам балета Тюлень был не так опасен. Он понимал это и злился.

«А Седой Мальчик? — плотоядно потянул Рыжий Кот. — Я тебе его еще покажу. У него нога тридцать седьмого размера, жена на четыре головы выше и дочка — девственница сорока лет. Седой Мальчик — йа-га-га — пишет стишата».

Рыжий Кот назвал еще Синего Пузыря, просто Мишу, Белую Мышь с вставными зубами, Мадам Неглиже (другое имя Иванованыч), Кеннеди («Ты сравни, ты сравни!» — и, правда, похож), Рубенса (нет, не из-за сходства), Уролога («А ты спроси почему»), Казинаки, Грузина, Рябушку, Зою Фригидную (погмыкал в щеки), Ленина («Сам не называй его так!»), каких-то менее взрачных — Козлова? Хлопал только из-за денег, без куража. Фисянькова («Диагноз — йа-га — понятен»).

Да, раньше и сахар был слаще, и клакер громче. А партитуры клакеров? Когда все заранее размечалось — нотация для горсточки посвященных — такому сольфеджио не выучиться ни в какой консерватории мира! — тут хлопать, тут плакать, тут падать в обморок, тут отпускать умные замечания соседу, тут выкрикнуть «браво», тут выдохнуть «бис»... А вековечное деление клакеров на два сообщества: «добрых» и злых? «Такое, — хрипел и дышал Кот Рыжий, — тебе знакомо?»

Добрые («ты, пожалуй, сгодишься в добрых») — работают на успех. Это поэты, это романтики. «Если угодно, дон-кихоты искусства». «А злые?» (Аркаше станет уже интересно.) «Хы...» — Кот Рыжий не будет торопиться. Злые — своего рода высшая каста. Это хирурги искусства. Они вырезают раковую опухоль бездари. Но ведь это — йа-га — как не просто. Среди восторженных попугаев-зрителей решительно встать, бахнув креслом, произнести «провинция!» — и царственно, и царственно — к выходу. Сможешь, а?

Аркаша хотел бы смочь, но, кажется, в этом есть что-то, ну что-то... «А веник?! — Кот Рыжий хохотал, давился пирожным, потел. — А веник, думаешь, просто кинуть на сцену?» Аркаша верил, что нелегко. Во-первых, попасть. Если ткнешь по кумполу скрипачу, тебя по кумполу точно не погладят. А для этого надо знать место, знать траекторию. Во-вторых, рассчитать момент. Конечно, главный (например, сам Кот Рыжий) может тебе расписать партитуры и для веника — во втором акте, первая сцена, сразу, как закончит вертеться, — но на перехвате аплодисментов — а то ведь она выскочит на поклон, пролетит на пуантах, раскинет лебединые ручки — и веник стрельнет в холостую. Жалко, подумай сам, веник. Мы бережем патроны. И потом, в наше время не принято забрасывать вениками. Вот в Италии, в девятнадцатом веке... Мечта...

«Да почему веник? — удивлялся Аркаша. — Разве не помидоры?» — «Помидоры, — сказал Кот наставительно, — это хулиганство. Ты можешь испачкать декорации, костюмы. А кто будет платить? Ты? А веник — святое. Только, конечно, не надо кидать его в морду. Веник — символ. Это, если хочешь, язык для тех, кто понимает. Выметайся со сцены, пачкуля, — вот что такое веник! Иди подметать в примерных — вот что такое веник! Косолапая! Косолапая! Извольте выйти вон, сильвупле, мадам! Сиди у плиты, жарь мужу картошку, рожай детишек».

«Кстати, — отдышался Кот Рыжий, — «рожай детишек!» — тоже хорошо крикнуть. Уланова четыре дня ревела, когда ей такое крикнули». — «Да почему?» — «Дурак!-ак! — Кот Рыжий икнул шипучкой. — А кто ей починит грудь, и живот, и всякие связки, и кожу? А два года, где ей взять или хотя бы лишний год?» — «Муж?» — «Жеребец-балерун, если не... — йа-га-га — ты еще маленький». — «Про Теодор, — сказал незаметно Аркаша, — мне говорили (никто не

говорил) — замужем?» — «Ты что?! Она, мальчик мой, — не дура! Ты думаешь, ей Светка, Майка, Катька, Женька, Надька, Олька сейчас простят, что она так поднялась? Они ее гнобить будут! Гнобить! Вот почему я тебя прошу. Можно сказать — пиу-пиу (отпил шипучки) — она сама тебя просит. Ты ведь сюда и так каждый вечер шасть. Научишься плясать — йга-га-га — жете ан антуран».

5.

Кто воспитал Асю Теодор? Только не балетная школа Большого — зря в некрологе об этом щедро расписано. Украинка? Гречанка? Дедушка был, между прочим, священником. Отец — военный врач из Одессы. «Пари Матч» попросит рассказать об Асе Теодор ее первого партнера — забытого теперь Ярослава Рындакова — «русскую легенду» 1970-х (он остался в Париже после триумфальных гастролей 1981-го — конфуз замяли). Но в 84-м Рындаков уже был очень болен (нечастым среди балерунов недугом — он пил). Что сказал Рындаков? Да, гениальна. Да, потеря огромная. Насколько повинен режим — умно подводили газетчики — с его видимым покровительством балету, но с окоснением традиций и страхом новизны? Ну, конечно, повинен. Конечно, страх кривизны. Неужели режим не мог поднажать, поприжать? Вам неизвестно, тут парижанам, как травят в Большом? Как выла... — удержимся от фамилий — вы поняли, как гадила... — удержимся — поняли. Ну конечно, Перкусович (тогда еще главный в Большом? или не главный?) должен был. Ну конечно, Сухорыбий (тогда министр культуры или уже не министр?) должен был. Устроить счастье Асе Теодор — что, так трудно? Кстати, вы знаете, какую ей отгрохали дачу на Троицкой горе, среди старых (ну не будем) Большого? С колоннами! С зимним садом! Говорили, что она приглянулась Сухорыбьему. Все лажа. После Джугашвили наши главные неизлечимо недужат бессилием, так сказать, половым. Нет-нет, дорогой Ярослав, мы не желтая пресса, вы перепрыгнули. Лучше — в чем ее тайна? В чем — притягательность? Почему зрители — так ведь почти не бывает в балете или не бывает вообще — плакали? Разве мы забыли ее в сезон 1981 года? Вы, впрочем, тогда танцевали не с ней. Да, я танцевал — ну не надо фамилий — с рыжей тварью. Тварь намекала, что я могу стать ее другом. Мы вместе пойдем по трупам. Ярослав, вы опять махнули. А я вам скажу, в чем тайна. И? и? В выносе шеи — вы не приглядывались? вам Тарковский не объяснил? — что так изображал ангелов Андрей наш великий Рублев? Еще — в сломе запястья. Как будто вся печаль мира в ее руке, как будто все слезы, все слезы. Еще — в косточке щиколотки — на репетиции я в щиколотку — так вдруг вышло — ее поцеловал — нет, ей не понравилось, она говорила, что я пьяный, я глупый. Замечу, что полбокала шампанского перед спектаклем мне никогда не вредило. Еще — для танцовщицы это будто не важно, не нужно — тревожные глаза, да, тревожные — я теперь вижу их, вижу всегда. Жалко, что она волосы свои цвета ночи убирала, прятала — и только раз раскинула на плечах — когда танцевала Саломею — свой праздник, свою магию — такого в Большом не было сто лет и еще сто лет не будет.

А главная ее тайна в том, что она, мои дорогие (вы видели танец «Казачок», который я поставил в ресторане «Голицын?»), она — не ходила, не совершала прыжков — она летала.

Подчистили, опубликовали.

6.

Лучше всех об Асе Теодор тогда написал Жан-Поль Трэфраже: «Теодор была очень хрупка. Не как танцовщица — как женщина, как человек, как личность.

Разве она могла терпеть крики постановщиков? Или рекомендации цензоров из министерства? Вспомните, что ее знаменитая Саломея — чудо русского балета наших дней, чудо мирового балета — была станцована только один раз на «публику» — в зале Большого сидело двадцать человек — Перкусович, Сухорыбий, балерины-завистницы, французский посол (да! это пятно соучастия на нас!) и, как говорят, «инкогнито», в Царской ложе — Главный — вот только неизвестно, какой «человек-аппарат» из последних трех. Причтите челядь. Секретарш, наглотавшихся губной помады. Головорезов-телоблюдителей».

Но, собственно, не ради этого следует цитировать статью. «Анастасия Теодор. Вслушайтесь, как звучит это имя — греческое и русское одновременно. В полном смысле византийское — и потому такое манящее, такое таинственное для нас, людей Запада, давно всматривающихся в тайну и трагедию Востока. Кто воспитал ее? Море, улицы южных врат империи — Одессы, которая — лицо Петербурга, отраженное не в Балтийской, а в Черноморской воде. Город еврейского юмора, с точки зрения российских просторов. Город европейского очарования — с точки зрения парижских бульваров. Француз Ришелье там был не проездом. Испанец де Рибас считал этот город своим.

Каким был дом (скромная квартирушка) военного врача Василия Теодора? Светлым? Скромным? Просто счастливым? Или с неизъяснимой печалью? Которая войдет в тихую девочку (такой ее помнят одноклассники), считавшуюся даже некрасивой и неловкой. Она начнет заниматься танцами из протеста — как говорят одни. Или из настоящих матери — как утверждают другие. На нее обратят внимание сразу — как напоминают знатоки ее творчества. Или спустя два первых мучительных года — как уточняют не меньшие знатоки. Она станет пылкой девушкой, которая будет не раз, не два ради святого искусства лишать себя счастья. Или она выработает в себе рациональность холодной богини танца? Кто — в таком случае — ее Саломея, ее кульминация, нагая исповедь танца и души? Волшебница, которая способна заколдовать всех своим перпетуум-мобиле телесного вихря? Или дитя, само заколдованное стихией движения, как будто ввергнутое в смерть?

А ее смерть? Корреспонденты свидетельствуют, что даже в по-московски благопристойном гробу, в цветах и в смертной косметике, в окружении постных речей казенных говорунов (при жизни исполнявших должностишки послушных душителей) и оптимистически-траурных ленточек с надписями вроде «От юной смены балета» или «От профсоюза теноров», она не прятала своей страсти и роковой тайны — и божественно-жемчужные плечи, и эллински-совершенная шея — не скрывали ее. Выжженные пятна кислоты проступали сквозь грим — их видели все. Кроме тех, конечно, кто не хотел ничего видеть и прятался за бесстыдными словами о «безвременной» кончине. Без времени, вне времени — потому что ее Саломея — как и вся Ася Теодор — никогда не принадлежала времени мелких людей».

Перкусович (он удачно оказался в Париже) был вынужден подать хотя бы реплику по поводу статьи Трэфраже. Он хотел отказаться — мало ли бульварных борзописцев упражняется в домислах о... — ему сказали в посольстве: следует интервью дать. Интервью спокойное, взвешенное. Без холода. Без нажима. Во Франции — спросить — разве все гладко? Люди искусства — спросить — разве не испытывают чего-нибудь?

Перкусович (по-французски болтал превосходно — дворянская бабушка натаскала) исполнил государственное дело на пять. Скорбим не меньше вашего. Передаем опыт. Шуршал листочками с записями ее танцев — на известном отдалении от глаз интервьюера. Думаем о мемориальной доске. Установили памятник на Ваганькове. Неподалеку от Высоцкого (смелая фраза). Не нужно

(легонький срыв) творить из Анастасии Васильевны диссидентку отечественного балета — и звучит-то смешно. В конце концов (не для прессы) она же не поехала вслед за Рындаковым? А он тогда был (не для прессы) хорош: златовласый красавец, русский витязь. Кстати, не от тоски ли он пьет? Еще бы — поехала! (булькал про себя газетчик). Ведь не Рындаков приворожил ее. А тот, имени которого Перкусович ни за что бы не выговорил, следуя из Москвы установке: *Такого-то* упоминать только в положительном свете, только в положительном свете. *Такого-то* нельзя сделать предметом спекуляций, отдать в руки для грязных интерпретаций. *Такой-то* — гордость, знамя, символ, пример, эталон, вершина, визитная карточка нашей сцены, творец, мерило, наставник, артист с большой буквы, воплощение, хранитель, наше, одним словом, все. И не забывайте: есть запись на кинокамеру ее Саломеи. И даже в январе на ее могиле — живые цветы.

Именно. Белые гвоздики. Кто приносил их? Нет, не Аркаша. Он чокнулся — сообщал всем Кот Рыжий — после всего. «Вот этот, молчун на откиднушке в девятом ряду. С глазами — йа-га-га — разговаривающими. Он уверен — йа-га-га — Асенька на гастролях. Вот и боится пропустить ее приезд».

Про кинокамеру Перкусович врал. Или, вернее, так: врал, конечно, но не подозревая, что запись на пленку все-таки была сделана. Да, спрятавшимся сбочка Аркашей — как он разобрался с камерой? взял ее только на этот вечер — и лежала пленка в его комнатке на Кузнецком — даже апрельская вода текла иной раз сквозь крышу, сквозь сморщенный потолок — стучала по железной круглой коробке, скакала вниз — на ненужные книги, на дремлющего обитателя этой норы. Еще бы не дремать — перед театром полезно накопить силы, а потом — да! — выгладить — и великолепно — рубашку.

7.

Вот только много ли разберешь на пленке? Музыка вообще не записалась — и теперь спорят, чья же музыка в «Саломее»? Римского-Корсакова? Или кого-то из экспериментаторов 1970-х? Вдруг Шнитке? Вундеркинда Шмайло? Он как раз в начале 1980-х подавал надежды.

И почти не осталось тех, которые были на единственном закрытом показе. Даже со временем путаница. Кто говорит, что это было в 1982-м, кто — в 1983-м. Сначала припоминают тусклые очки Главного в Царской ложе, потом сомневаются: а вдруг не очки, но только висячие щеки? Правда, все сходятся: стояла осень. Иронизируют: в таком случае Главный из-за «Саломеи» протянул ноги? Переволокновался? Извините, но он все-таки не Иоанн Креститель (но и не Ирод), а вот осень была, была. Московская слякоть, черный асфальт у Большого. Перкусович у лужи, кричавший на собственного шофера, — какие-то, видите ли, грязные капли попали на парижского кроя плащ его милой (по-прежнему Мняхиной, только теперь не девчонки, а гранд-дамы — не потому ли ей стало лень выдерживать садистские диеты с селедкой?) Жена Перкусовича (прежняя, паспортная) испортила ему сладость показа — плюхнулась по левую руку. А он? Кха, проглотил.

Кстати, присутствовавших было не двадцать, как язвили французы. Хотя про собственного посла не сочинили. Общество избранное — конечно. Но человек сто набралось. Ведущие артисты труппы (из кордебалета не приглашались) — но, например, наша прима, звезда, гордый флагман... хотя обойдемся тут без фамилий, просто отметим, что некоторые из ведущих как раз таки не пришли. Разве Теодор — улыбались они с долей яда — не протееже самого Сухорыбия? *Придворная*, — шипели, шипели, — *актрисулька*. Как они потом ликовали, когда представление (по их словам) провалилось. Они даже самоубийство Теодор объясня-

ли депрессией после фиаско. Ну, конечно, фиаско: вся гоп-компания, включая министра культуры и, быть может, Главного в Царской ложе (он неприметно сидел в теньке — толком не разберешь — лишь какие-то утробные звуки), все артисты, французский посол с клубничными щеками (и его полурусская жена Даланье-Кузузофф), самый модный в Москве декоратор Мухортый (в пиджачке а-ля студент-первокурсник), модельер Кроликов, театральный художник Блюментростванштейн («Сухорыбий, — хихикали, — зеленеет от фамилии. Сказать почему? Слишком много — говорит — на фамилию тратится типографской краски, когда печатают афиши»), киноактриса Краснеченко (некоронованная королева красоты — прибежала проверить: а как Теодор?), портретист Слепцов (на всех смотрел забиякой), директор Елисеевского (его потом расстреляют или это следующий, скончавшийся от желудка?), писатель Гоги Давидзе, космонавт Риська, олимпийский чемпион по прыжкам в длину Константин Лобик, боссы с телевидения — например, Иванов (помните его?), еще — Сержантов (хорош он был, правда?), международник Сунько, кинорежиссер Обжирский (упирался, между прочим, в затылок Краснеченко), поэт Шувилкин (заработал на третью дачу, нажил защемление нерва), даже Сеня Грызнюк, тот самый (посадят за попытку открыть бордель в санатории партийного резерва) — вся гоп-компания, повторяем, встала и аплодировала двадцать минут!

Редкий случай, когда клакеры — Кот Рыжий, Синий Пузырь, Белая Мышь, Кеннеди, Рубенс, Уролог, Седой Мальчик, Казинаки, Ленин, Рябушка — припаденные в сумраке проходов — не хлопали. А зачем? Тратить ладони?

Ася им, между прочим, не заплатила вперед. Ленин, например, даже намекнул: а не свистнуть ли, шутя, для острастки? Кот Рыжий влепил ему подзатыльник — Ленин заткнулся.

Только Аркаше-чудику была работа: он снял танец, он снял плачущую — от счастья, конечно, от счастья — Теодор, он снял цветы и цветы, которые волокли ей на сцену, — он даже зал снял — десять, ну двадцать секунд — вот они все перед нами — и Краснеченко что-то говорит, говорит Обжирскому — губы ее так и скачут — «Царю Соломону отрезали голову, понимаешь? Как из-за чего? Из-за женщины, конечно!»

8.

Но подойдет ли нашему балету? — гнусил Сухорыбий. Слишком откровенные позы... Раскинутые в страсти руки... Прозрачная туника... Волосы-змеи по голым плечам... А в финале — упасть спиной на рампу, запрокинув голову, — уж, извините, совсем!..

Как будто Перкусович не знал этого без него. И все-таки Перкусович делал на «Саломею» ставку. Он не дурачок, если решился на такой показ. Заманил на «Саломею» московские сливки, чтобы снять с этого сливки. Запечатать рот, например, Сухорыбию. А то ведь он тормозил: как там музыка к балету «Метростроевцы»? — Думал ошарашить Ковент-Гарден па-де-труа с отбойным молотком. Танцы с касками. Вальс любви в подземном проходе. Кордебалет юных большевичек. Хоровод кумачовых платочков. Жаль, жаль: обещавшийся написать «Метростроевцев» Трифон Редькин то ли запил, то ли подал на развод. А не возобновить ли на сцене Большого «Юность Дзержинского»? — тьфу, это, кажется, опера. Ария Дзержинского, говорят, хороша: «Вот иголки я под ногти загоню-у-у! Вот я ножичком по шейке проведу-у-у! Толстопузов и попов я прогоню-у-у! И с народом заиграю во ду-ду-у-у!»

Шуточки, конечно. Из репертуара Кота Рыжего (и пример рафинированности клакера). Развлекал молодежь в буфете между жульеном и ситро. А если без шуточек?

Разве приятно слышать, что под отечественный балет ведется подкуп? Кто там пишет, — делал строгие глаза Перкусович, — что классический балет буксует на месте? Кто, — размахивал Перкусович мокрой челкой, — клеветает, бросает тень?

Бродвейские критики поглумились, что балет из Москвы — это манная каша, которая давно ну никак, ну никак, ну никак не влезает в рот. Или — как гипсовый вождь на каждом вокзале? как хохлома?

А англичане? Они действительно написали, что Большой везет к ним «Метростроевцев». Попробуй теперь объясни, что публикация датирована первым апреля.

С англичанами, положим, Перкусович разделался: злятся, что их обскакали в Австралии — разве не наших в прошлом году просили приехать в Мельбурн — дать открытые уроки балетного танца в школе Криста Камерон? «Кто поедет?» (букнул Сухорыбий). «Списочек вот» (услужливо Перкусович). «Такого-то не надо» (Сухорыбий умел отказывать). «Но?..» (Перкусович умел уламывать). «Должен, — Сухорыбия осенило, — в случае поездки жениться». Уточняюще-нескромных вопросов Сухорыбий задавать не стал: балет все-таки...

Разумеется, подвести к пониманию необходимости эксперимента непросто. Тут и сгодятся заграничные статейки — поклевывают нас, Сидор Петрович. Было известно, что Сухорыбий человек стойкий — честные переводы нью-йоркско-лондонско-парижской клеветы читает, не двигая даже бровью. Только — кто близок, тот знал, — аппетит портился. Потому сразу же козыри вслед: у нас *Такой-то* — раз, у нас Рындаков — два, у нас Теодор — три, у нас Мняхина — четыре... С мужчин начал из вежливости.

И вот Анастасия Васильевна (звучит так весомее) Теодор, наследие проработав... подумав над... впитав коллектива... и Айседору Дункан... (Сухорыбий морщнулся.) которую (не поддаваться!) так ценил Анатолий Васильевич, как известно, Луначарский... Даже танец семи покрывал... (Опять морщнулся.) А почему отдавать Западу наши смелые эксперименты?.. Маяковский однажды тоже вышел нагой... Не забудем Иду Рубинштейн в ее «Клеопатре», вернее, «Саломее»... («При чем тут Блюментростванштейн?» — Сухорыбий вовсе не спит.) И вот, Сидор Петрович, она приготовила нечто, нечто... Закрытый показ... Пусть не думают, что у нас нет свободы... Мы — хма-хма-хма — лишим их этих карт... Пусть подавятся... И не вопят: цензура!..

«Добро», — гуднул Сухорыбий. Что-что — а милостивым умел быть.

После показа «Саломей» Перкусович, счастливо аплодируя вместе со всеми, поглядывал на Сухорыбия — пча-пча-пча — тот хлопал великодушно. «Теодорку, — Перкусович наклонился к Мняхиной, — мы повезем в Оперу Гарнье, а потом в Оперу Бастиль, а потом...»

Мняхина стучала ладонями, кивала — зря про нее говорят — защищал всегда Кот Рыжий, — что улыбка пираньи... Просто, так сказать, женщина... Тоже, так сказать, Саломея...

9.

И ведь был прав. Мняхина спихнула Перкусовича на паспортную жену (та, между прочим, с тех пор всегда говорила, что Катерина — человек порядочный), Мняхина самого Перкусовича спихнула, вдохнув запашок, который взвился после закрытого показа...

«Он что? — подготавливал Кот Рыжий. — Думал, что будет сидеть не двадцать, а двести лет?»

А казалось, что выгорит с «Саломеей». Сюжет библейский... Звучит, черт возьми, смело. Дали же Образцову слепить Адама и Еву? Чем Саломея плоха? Не нож важен, которым кому-то отхватили голову (их нет на сцене — ни ножа, ни головы). Важен ключик к Парижу, а его не подберешь ни балетом «Восставший люд», ни «Метростроевцами». Перкусович облизывался: «Саломею» оформит Шагал. Почему нет? Раз! Раз! Линии багровые, линии нервные. Тем более с Шагалом они на короткой ноге (в балете это звучит остроумно). Или отдать декорации делать Жожо (самый модный, работал с Бежаром)?

Перкусович подпрыгивал примой, помолодел, не уставал напомнить, что балет — искусство международное, что Париж мы еще обскачем (звучит остроумно). В кабинете у Сухорыбия вальяжно спросил: «А как?..» (имелся в виду Главный.) «Мхе...» — ответил Сухорыбий (имелось в виду — что не уполномочен на подобные темы). Тем более история тянулась, а Главный (что в очках, что с щеками) приказал долго жить.

Люди вообще должны устраиваться, не оглядываясь на кого-то, — на репетициях учила молоденьких Мняхина, показывая пальчиками наверх.

Тут в молодежном листке напечатали полуанонимку про распушенность нравов. Поздно, видите ли, возвращаются школьницы после клубных танцулек... А незрелые люди смотрят на бессмертные творения художников, сами знаете, с целью какой... Им неведомо, что красота облагораживает... Они думают, можно подглядывать в бане... Что удивляться, если даже в уважающих театрах иной раз увидишь... Перечень длинный.

Рядом затявкала другая газетка: а вы, уважаемые, сможете дать гарантию, что под видом искусства молодому поколению предлагается соблазнительно упакованный дурман?

Перкусович слег.

Мняхина отвезла апельсины ему в больницу и печальную новость: Сухорыбий рекомендует ее в Мельбурн, в Австралию, ехать? Спрашиваешь! «Вернешься, украду тебя в Лондон...» — «Перестарок...» — этого Мняхина, разумеется, не сказала.

Как Мняхина купила *Такого-то*? Да разве сложно?

Сначала выяснила: не *дальтоник* ли он? (Острота понятна?) Пела и пела в уши (вместе они не танцевали, кажется, никогда). «Володька, какой ты, — она знала эпитеты, — шикарный!» И ведь правда. Лучший на европейских сценах галоп. «Еще бы! — вздыхал томный и пожилой Любавский. — С такими ляжками». Два раза отвезла на своем кофейном «мерседесе» (Перкусович все-таки не оставил его паспортной) в ресторанчик а-ля рюс. Ели медвежатину. «Ты так рубашешь», — *Такой-то* был из воронежской деревни — он самородок. «Какие-то пельмени — шикарные», — она загоготала. «Ты теста, Катюшка, не боишься?» — «Ничего я не боюсь».

Бедные, обойденные счастьем, т.е. мужчинами («они тут с приветиком все! Даже гример»), в увядающем возрасте балерины из кордебалета пустили сплетню, что Мняхина оседлала *Такого-то* прямо в машине. Как в Париже — шикарно...

Кстати, он был младше ее на четыре, нет, на пять лет. Отыгралась за Перкусовича. И они уехали в Мельбурн. Через четыре дня Аси Теодор не стало. А еще через два месяца, когда Мняхина, вернувшись из Мельбурна, танцевала в Большом («А она, — пошептывали, — похорошела»), на сцену бросили веник.

Нет, не Аркаша. И не от Перкусовича (он все еще перемещался по санаториям, куда Мняхина присылала ему доброжелательные открытки). Нашлись донкихоты. Мало ли кто. Клакеры, конечно, профессия грязненькая. Суфлеры —

гораздо лучше. Но они перемерли. А клакеры живут. Случаются даже благородные среди них. Сколько стоил веник в тогдашних ценах? Тоже — деньги.

10.

Кто-нибудь брезгливо заметит: что могло связывать Асю Теодор с клакерами, с тем же Котом Рыжим? Разве от них не тошнит? Разве сама Теодор не чета прочим примам? Сразу видно: вы не знаете, что такое сцена. Сжуют, мальчик мой, с потрохами — икал Кот Рыжий буфетные афоризмы, ссыпая в карманы конфеты-стекляшки — он когда-то отваживался покорить оперную сцену — сцена его отвергла, а привычка осталась: беречь голос.

Даже если бы Ася отказалась от услуг клакеров, они все равно оплели бы ее. Сколько в 1970-е устраивалось собраний, сколько вылетало статей! «Позор! — стучал по столу сам Сухорыбий. — К недостойным методам возвеличивания прибегают подчас достойнейшие из нас (над текстом доклада работали пять референтов, Перкусович выправлял балетные термины). Между тем, согласно последним статистическим данным (данные, пожалуйста, поближе), согласно последним статистическим данным неопровержимо вытекает, что культурный уровень отечественного оперного, балетного, эстрадного, театрально-драматического зрителя, включая искусство цирка и дрессуру, неизмеримо вырос, и, таким образом, он, отечественный зритель, не нуждается в манипулировании кем-то, кто стремится в одухотворенный творческий процесс внести чуждый нам, хотя, разумеется, принятый в ряде стран Запада, дух нездорового соперничества, дух капиталистической конкуренции, дух взаимоподозрительности и дух личностного антагонизма, — одним словом, не наш дух (стакан, пожалуйста, поближе). Как это разительно отличается от нашего духа товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки, подчас с риском для собственного ампула...» Далее следовала история про балерину Юлию Подгорскую, которая, не боясь нарушить цельность своего образа, успела завязать шнуровку своей партнерше (фамилия последней из деликатности не называлась), делая при этом сложнейшие аттитюды и батманы, на глазах не только у сотен зрителей Парижской оперы, но и шнырявших за кулисами репортеров сомнительной репутации.

«Неужели мы будем спокойно смотреть, — Сухорыбий умел задирать голос, — как выдающиеся артисты ходят на грани получения неизлечимого увечья?! (Стакан, благодарю)». Далее — хрестоматийная история про битое стекло на сцене — и изрезанные ноги танцовщицы Биготтини. «...У нас, вздохнем спокойно, такое не случается. Хотя, если отпустить на самотек...»

«Слово «бигуди», мальчик мой, происходит от фамилии Биготтини», — Кот Рыжий был энциклопедией театральных историй.

«Давать на чай таксисту, на выпивон — клакеру — дело святое», — потел Кот Рыжий. «Ты — человек маленький, — дышал он на Аркашу. — А какое — уважение». Он намекнул, что когда-нибудь (нет-нет, не скоро) Аркадию будет позволено увидеть гримерную *Самой*.

Аркаша, разумеется, не узнал, как Рыжий взял в оборот Асю Теодор. Только она — вчерашняя украиночка — стала подниматься, наконец-то обратила на себя августейшее внимание Перкусовича, мелькнула на фотографии среднего качества в средней газете, расправила, что называется, крылышки — как Рыжий подкараулил ее — «Можно с вами посеCRETничать?..»

И она — платила. Ведь когда — растерянная — прибежала к Перкусовичу, — он только круглил глаза, возмущался — а с другой стороны, разве накладно? Зрители — такие кулемы... Это придумали итальяшки — народишко тот еще.

Но в Италию, ха-ха-ха, поедем! Перкусович умел приободрять. Необходимое качество для режиссера.

Клакеры всем нужны — учил Кот Рыжий — даже моцартам, даже ангелам.

Аркаша, конечно, сглупил — он вправду думал, что это дело стоящее, когда его спросили — небрежно, — будешь работать на Теодор?

Разве можно услышать такое: в толчее гардероба, вытягивая родную доху из-под немолодых и нелегоньких поклонниц искусства, заплетаясь за что-нибудь дистрофическим шарфом, теряя перчатки? Выйдешь под колоннаду, вдохнешь декабрьский холод. Обычно — один, не спешишь к себе, слушаешь скрипки, которые тебе еще играют, играют — мили-ли, мили-ли — взииу-за, взииу-за, — и говоришь вслух, только теплым шепотом: «Теодор...» Как будто она — с улыбкой, с беличьей опушкой на горле и рукавах шубы — он видел ее два раза у служебного входа, и, кажется, она тоже посмотрела на него, — как будто она идет рядом. Нет, рядом — толстяк с золочеными вихрами из-под собачьей шапки — «Я занимаюсь историей Большого театра уже с тысяча девятьсот пятьдесят... А имя Анастасии Васильевны мне особенно дорого... Вообще все называют меня Кот Рыжий, и я не обижаюсь...»

Деньги? Стеснялся Аркаша. Брал, конечно.

11.

Еще Кот Рыжий считал себя душеведцем. И не без оснований. Умело подбрасывал поленца в огонь поклоннику. «Она тебя видела со сцены. Велела передать благодарность». Или — между слойками и киевским вареньем — «У танцовщицы Шовире муж был клакер (врал с ходу, конечно). Ну, потом он стал импресарио. Всех обставил, потому что знал у театра нутро».

Разве только деньги — говорил Кот Рыжий сам себе — двигают людьми? Это не значит, что он собирался обратить Аркашу в клакеры бесплатно — не одной же Аське он станет хлопать? Хотя этот чудик артачился. Но хлопал белиссимо — потому что без механической фальши, которая расцветала вдруг в ладонях приевшихся хлопунов. Им безразлично — кого освистать, кого бисировать, — а этот — любит, любит святое искусство. «Ты купил Бурновиля? Нет, своего я тебе дать не смогу. Ты, мальчик мой, с ума сошел! Там дарственная надпись Гюставу Флоберу (врал)! А вот у *Ивана Федорова* лежит Бурновиль — цо-цо-цо! — в земляничном сафьяне. Я Матюше сказал, он для тебя отложит. На — да бери, говорю, четвертак. Только во вторник, не забудь, выходит Бессмертнова. Ей готовят что-то сырихи. Просила подстраховать. Не обидишь старушку?»

Кот Рыжий сделал Аркаше подарок — провел на чердак Большого. А в гри-мерную? Нет, мальчик мой, сейчас стало строже. Да чердак — кайфа больше! По неосвященной лестнице, где — гоготнул Кот Рыжий из темноты — целовали многих, ох, многих. И не только мужчин — добавил из соображений морали. В одну дверь, в другую — с вспорхнувшим матерком (набитая шишка, ты жив?), в пряную духоту рая. Там были ряды и ряды снятых кресел — как искусственные зубы старика, уложенные на ночь в стакан с водой, — Кот Рыжий сказал, что расчищали пространство при кремлевском горце, — видней злоумышленники; горца же гипсовая головища — рядом; потом почему-то ведра и ведра; доски, венские стулья, запасной Чайковский и запасные же Глинка, Прокофьев, Балакирев, Дебюсси — в начале штабелей с портретами; пыль вековая, пыльная ткань, коробки с комочками иссохшего грима на сто ячеек, газеты с декольте певиц и ртами певцов, брошюры — «Простые меры против моли», «Эксплуатация софитов» — чтение для любознательных, серый лист с надписью вязью «Жизнь за царя»; лингафонный аппарат, переводивший оперу «Князь Игорь» де Голлю (переводчик си-

дел в железной коробке и шептал в раструб — сопнул Кот Рыжий), холст, свернутый в колбасу для Пантагрюэля, — «Вот, к чему я тебя привел!»

«Принцесса Греза» — тогда холст был еще не извлечен, не излечен, больше отлеживаться ему было негде — в Третьяковке и так коммуналка, йа-га-га. Художники — глупые, не умеют делать рекламу. С похрустыванием они развернули метра на два — не больше. Порвем — нам влетит. Так валяется — никому и не надо. А придут ценители вроде нас — сразу хай. Бедный рыцарь, несчастный рыцарь — он лежит здесь свернутый в сарделину, — он и так знает, что обречен, потому что Святой Земли не достигнет и его путешествие — гибель, что у него жар, у него лихорадка, у него хуже гриппа в Москве. (Интересно, Коту Рыжему уже было известно, что у Аркаши подозревают какую-то дрянь в легких?) Тут приходит она. Нет, она прилетает. Над ним склоняется — печальная, прекрасная, с волнами золотых волос. Разве миг счастья — помнишь у Верди? Ля-фа-лянь, ля-фа-лянь-ми-и-и! — не стоит жизни?

Кот Рыжий был, так сказать, романтик. Хотя признавал, что слух у него прихрамывает.

А ведь на Метрополе нашей Принцессы тоже не разглядишь ни черта!

12.

Вы не видели фильм — «Летопись русского танца»? Не исключено, что к нему приложил руку Кот Рыжий. Ведь каким-то образом пленку с записью «Саломеи» нужно было достать? Кто еще знал Аркашу — только Кот Рыжий. Нет, знали-то, конечно, многие. Но не приятельствовали. Аркаша с ними даже здоровался не всегда — чудик. А Кот Рыжий — дело другое: он подкинул денег на похороны, он же благородно распределил между соседями Аркашины вещи. Имущество небольшое, но все-таки. Ореховую, например, шкатулку — кому? Календарь 1974 года выбрасывать разве не жалко?

Конечно, в титрах «Летописи русского танца» не ищите имени Кота Рыжего (он всегда шурился, если пытались выскрести имя), про Аркашу — и говорить смешно. Кто теперь вспомнит, что танец Аси Теодор снимал он? «Любительская пленка» — вот что значит в титрах. Черно-белая, без звука, с подергиванием кадра и белесыми пятнами вдруг (свет софитов? просто брак?). Не забудем, что в зале во время показа «Саломеи» сидели люди с телевидения, да и любительская камера Сунько лучше той, что была у Аркаши. И не надо отговариваться, что Сунько специализировался на этнографических съемках. Саломея — тоже, знаете ли, сюжет этнографический. Если бы он захватил камеру с собой, все бы теперь удивлялись: смотрите, какая у Сунько широта интересов! Снять запрещенную «Саломею»! Оставить для истории воздушный образ трагической Аси Теодор! Это не то же самое, что снимать обряд моложения риса мундужарцев, похоронные пританцовывания уандэрзаксов, праздник кастрации слона у народа калибати, а в пору опалы (Сунько брякнул, что крестьяне в деревушках Фуэнты едят *только лишь* кровяную колбасу из ягнят, черных мидий на завтрак, запивая домашним винцом с горсточкой бирюзовых смокв) — грустные песни у вясев (полчаса езды от Петрозаводска — вясев можно наскрести полсотни пенсионеров)...

«Летопись русского танца» в меру занудный фильм. Его автор — общеизвестный Мирослав Пижма — искусствовед, музыковед, театровед, балетовед, большое трепло — в ту пору еще не раздался так, как теперь, когда он пугает зрителей физиономией, взрывающейся от жира. Нет, в фильме пятнадцатилетней давности Пижма полноват слегка, к тому же в кудрях цвета строгого рояля.

Сквозь музыковедческое гнусавье в «Летописи танца» проскакивали смелые фразы — «в 1970-е классический балет шел из Москвы на экспорт так же, как черная икра», «справедливо ли называть Айседору Дункан секс-бомбой?». Мирослав Пижма вглядывается в глаза зрителя с проникновенностью психотерапевта, его медовый голос приятно убаюкивает, поэтому быстрые синкопы других воспоминателей необходимы, чтобы взбодриться. Мы успеваем увидеть мокрую челку Перкусовича, улыбку пираньи Мняхиной, мы наблюдаем, как остепенившийся (но не устаревший) *Такой-то* тянет ноги воспитанниц вверх, вверх (разве нас не пронзит пот уважения?), мы слушаем словонедержанье Кроликова (фурор русского балета в сезон 1979-го — только благодаря его шапкам на головах прыгающих бояр), многозначительное мычанье Мухортого (декораторы, увы, не златоусты), намеки Слепцова на фамилию родной тетки Перкусовича — отсюда объяснимые шатания в сторону абстракционизма.

Тьфу на них. Сказал бы Кот Рыжий. И был бы на этот раз прав.

После того как преувеличенно долго камера облизывает балкон московского особняка Айседоры, а Мирослав Пижма (алый шарфик сберегает горло) объясняет, что перед нами именно тот балкон, а вы, вероятно, подумали, что другой? — на который смело залезал по водосточной трубе романтик, буйная головушка — Сережа (тогда для всех он был Сережа) Есенин. После того как Пижма склоняется к нам с балкона, эффектно появившись из дверей Айседориной гостиной, камера переносится в кулисы Большого, голос Пижмы патетически подпрыгивает: «Много ли тайн в русском балете недавнего прошлого?» — и мы наконец видим Асю Теодор — кадры той самой, совсем плохой, пленки.

13.

Она появляется на сцене вдруг. Вот именно, что не выбегает, не выходит из кулисы. Многие объясняют это прозаически: Ася растолковала осветителю все тонкости постановки. Он прячет ее сначала в тень, а после тень опадает, как платье — и плоть начинает мерцать, тронутая огнем. Это все свет, это все цветные фильтры (как в цирке! — шипели). И это, конечно же, глаза Теодор. Сколько ее упрекали, сколько ее мучили педагоги, твердя: ты путаешь театр драматический и театр пластический... Зачем строить рожи? строить глаза? Они, впрочем, не знали, что она придумала себе механику репетиций — танцевать с завязанными — да, это правда — глазами. Ася сама мучилась из-за каких-то не таких, как надо бы, глаз. В самом деле, византийские, что ли? Грустная шутка. Только спившийся Рындаков говорил потом всем в Париже: она предчувствовала все, что с ней будет. Вот откуда такие глаза. И пусть с двадцатого ряда глаз-то не видно — но разве глаза не диктуют пластику лица, шеи, плеч? Многие смотрели из приоткрытых дверей в репетиционную на то, как Теодор танцует с завязанными глазами. Рындаков — он подстраховывал Асю в ту пору — гонял любопытных. Только *Такого-то* (он еще был без флера, как позже, но уже на особом счету) прогнать не мог. Почему, интересно? Рындаков только поворачивался спиной, чтобы не видеть восторженных глаз *Такого-то* — шумно сопел, шепча Асе: «Там снова Володенька...».

Итак, Саломея появляется вдруг. С опущенной головой, но вместе с оживающими руками, которые ползут, ползут вверх, она поднимает голову — немного, так, что долго не различишь лица, но после больше, больше, чтобы в конце голова была запрокинута — когда она кружится и хохочет (разумеется, хохот — только зрительское впечатление вместе со взвизгами музыки, но на репетициях, уверял Рындаков, Ася действительно хохотала), кружится — и ее голая шея обжигает, как обжигало бы голое тело — с пьяными, танцующими вслед за хозяйкой змеями — змеями-волосами.

Нет, подождите. Пусть менее получаса ленты с Асей Теодор проследуют перед вами в правильном порядке. Сначала — женщина-изваяние. Затем — истомленная дива Востока. Обитательница гарема. Наложница. Сокровище каравана. Таких женщин заворачивают в ткань, как подарок, — и только полоса черных глаз будет говорить с вами, с вами. Она покачивается, как баядерка. Ее движения будут медленны, как вкушенье рахат-лукума. Ее волосы — райские травы — спят по плечам. Разве вы не слышите колокольца браслетов на щиколотках? Не слышите, как монеты, украшающие ее перси, шепчут о тех, в чьих пальцах они когда-то скользили, в чьих кошелях томились? Саломея пока не танцует — плывет. Что нужно сделать, чтобы мужчины тебя возжелали? Она постигнет эту науку, пока плывут ее бедра — робко, едва заметно — не бесстыдно, а лишь свободно — ведь она — существо, живущее до появления в мире стыда. Кажется, тот же Рындаков говорил, что Ася, уступая настояньюм молоденьких, сказала — готовилась к танцу, думая, много думая, как танцуют, как же танцуют во сне?

Сколько длилось? Месяцы репетиций, четверть часа (чуть больше) танца. Можно думать о Саломее, когда выбираешь черешню на Палашевском рынке, когда идешь по Тверскому бульвару, когда высматриваешь на фотографии Лили Брик шляпку и губы, когда голой стоишь под душем после бассейна — Перкусевич (мастер умных рекомендаций) наставлял — ты должна в Саломее стать такой, чтобы мужчины выли, желая тебя, но ни один — притронуться бы не смел. Ангельская похоть? Да, с Перкусевича станется. Недаром на важных собраниях он сидел с лицом аскета. И после собраний — скакал за Мняхиной. Но начитан — он знал, что ангелы сходили с неба к земным женщинам — потому что земные женщины — даже для ангелов, даже для них — магнит.

Какая ты, Саломея, в спешащей Москве?.. Ты не таишься, Саломея, под плохой косметикой работающей женщины в тоскливой конторе? А вдруг ты произносишь речи в комитете передовых женщин? Или ты бухгалтер? Успешная доктор наук в стильных очочках? В фартуке, моешь посуду? И не звонишь по телефону ему — вот она, женская отвая — и не кладешь трубку без слов? Ты покупаешь билет в глупый кинотеатрик — чтобы сидеть одной в ряду — таковы дневные сеансы. Ты не разговариваешь с незнакомцами. Но разве тебе нельзя разглядывать, разглядывать, даже усы разглядывать их?

У женщин — выводил Перкусевич — есть боковое зрение, а еще щекой, затылком, разве женщины не умеют видеть так?

Думала о Саломее, когда разминала ногу на балетном станке, шла подслеповатым коридором театра, ехала, ехала в трамвае, и в холодной пустой репетиционной чувствовала спиной, что Володька — дурашливый и все-таки милый — следит, следит — за тобой. «Ася, ты долго еще сегодня?». Разве ты будешь спешить, чтобы обернуться к нему?

Как танцуют во сне? Если бы мы жили так, как мы живем во сне... Слова? Приличия? Желание нравиться? Математика взаимных выгод? Как это скучно для сна. Оставим подобную нуду для жизни. А во сне ты повернулась бы к Володьке — тебе не было бы необходимости говорить с ним, плести флирт, строить из себя умницу, не было бы необходимости склонять его к мысли об удаче творческого союза, как, например — ну ты знаешь, кого я имею в виду — нет, во сне очень просто — марево и свобода, — ты оплела бы его голову, шею руками, исцеловала губы — я так соскучилась по твоим губам — какой у них вкус? — это единственное, что ты сказала бы — новых дождей? чистого снега? — ты предложила бы ему изгибы своего тела для его ладоней — пламя твоих сосков...

Да, это Саломея, это пламя. Скептики опять-таки скажут, что причина в багровой подсветке (правда, на черно-белой пленке она выглядит лишь ярким пятном). Что ж: почему бы и не отметить работу постановщика? На это место

сначала метил Рындаков, но после триумфального показа его оттеснил Перкусович.

Саломея танцует внутри пламени — пламя — вся метущаяся фигура: вихрь горящих волос и вихрь рук — даже скромные драпировки декорации качались из-за вращения — вихрь дыхания (только глаз Перкусовича мог увидеть, что она на пределе), вихрь ног (вы не помните — кто-то в зале шептал — что у нее была травма лодыжки?), вихрь покрывал — раз, два, три, четыре... — их можно насчитать семь; пристегнутые к тунике, они летают одно за одним, с каждым кругом.

Если бы только не гнусавил голос ведущего фильма! Мирослав Пижма влез в кульминационный момент танца с риторическими вопрошаниями: «Что должны были испытывать находившиеся в зале? Восхищение? Восторг? Профессиональную зависть? Любопытство — чем кончится этот неистовый смерч пляски?»

Ася вдруг раскидывает руки в сладостном приволье — так, наверное, должна раскидывать руки каждая женщина, если, конечно, испробовала, что же такое счастье. А потом она опустилась на колени, что для зрителей символизировало угасание огня, — они не сразу поняли, что она лежит в полубомороке. Началась суматоха.

Нет, Ася Теодор поднялась самостоятельно. Мы видим ее лицо в испарине — она испробовала счастье. Разве ей когда-нибудь еще аплодировали так?

14.

Если бы вы встретили Аркашу — чудика с поющими глазами, — он рассказал бы, что аплодисменты делятся не на бурные или жидкие, или бурные, переходящие в овации (все встают), а, например, на такие, как море бывает у ялтинской набережной в четыре штормовых балла, когда кричащая чайка с серого неба — все равно что клакер с бельэтажа, а кабинки для переодевания, хлопающие парусиной, как уставшие билетерши, хлопающие хотя и старательно, но, извините меня, монотонно. Это была странная затея — поехать вслед за Асей Теодор в Ялту (август 1979? годом позже?). Высматривать ее на общедоступных пляжах или, посеребрив лапу кому надо, спускаться к пляжу театральных деятелей. Нет, в белой рубаше и колониальных бриджах он выглядел презентабельно, а выпирающий кадык многие женщины считают признаком мужественности. (Они правы?) Туда же грудь с темными волосами. Впрочем, на лежаке Аркаша предпочитал находиться спиной кверху.

Аплодисменты бывают похожи на перестук гальки (особенно если бесштанное дитя наберет ведро и размахивает) или шуршанье ее же — от воды и, надо думать, от соли. Пши-ши-ши... Пши-ши-ши... Ради этого стоит полежать на пляже даже с волосатой грудью, даже с голодным кадыком.

Он видел Асю за те двадцать дней четыре раза. За стеклом переговорной кабинки — сам стоял в очереди, должен был позвонить тетке (если не позвонишь — она потом в Москве испортит тебе весь отпуск), и вдруг — Асин профиль, и так расстроена! — что, разумеется, огорчило и его. Ася говорила с Перкусовичем? Да. Кажется, он опять вздумал сдружить Мняхину, которой благоволил (в понятном смысле), — с Теодор, которой благоволил тоже — но в смысле воздушном, т.е. возвышенном. Никто не узнает теперь, считал ли Перкусович талантливой Анастасию Теодор — но то, что выдвигал, делал ставку, заплетал гриву ленточками (выраженьице Кота Рыжего) — факт. Мняхина тоже, признаемся, не бездарь. Давно, само собой, не танцует. Но если вы видели ее хотя бы на фотографиях или в зале Большого на золотых премьерах (она демократично садится в партер), то лишний раз убедитесь — женщина аффектная (цитируем снова Кота Рыжего). Взбитая прическа (своя блондинка или окрашен-

ная?), знаменитая рисовая пудра (Перкусович по-щенячьи волок из Китая, сейчас дарит лично посол), ладная плоть. Женщина в интересном возрасте, — часто говорит она в интервью — может выглядеть вполне шикарно. Кстати, женская аудитория неизменно набрасывается на ее интервью, а потом пересказывает неделю. Разумеется, журналисты униженно просят поделиться секретами молодости, красоты, здоровья, долголетия. Это называется просто, — всегда улыбается Мняхина, — знаете, как? Талант... Или, вернее, шарм таланта...

Мняхина, впрочем, не гладко расставалась с Перкусовичем. Пока он переезжал по больницам, пансионатам, правительственным дачам с лесным воздухом, пока его пользовали светила кремлевской медицины, а потом чудотворные бабки — было тихо. Без Перкусовича, без больного (а они, кстати, официально мужем и женой никогда не считались) Мняхина услаждалась семейным покоем. Они с *Таким-то* действительно составили яркую пару.

Но Перкусович всегда был мстителен. Он зеленел, когда ему подобное передавали. Жаждал сквитаться. Ха! Не то, видите ли, время. Катя Мняхина — не какая-нибудь артисточка крепостного театра. Вы отстали от века, многоуважаемый Юрий Николаевич. В подоспевшую эпоху свободы Катя Мняхина может, Юрий Николаевич, многое рассказать о жертвах тех, кто губил таланты, тормозил развитие искусства, прикармливал клакеров, пристраивал на лучшие роли жен, а то и любовниц. В разоблачительном интервью 1991 года губители были перечислены поименно — Перкусович, Сухорыбий, Гадлиман (прятался всегда за Перкусовичем) и иже с ними...

«Впрочем, человек... — так закончила интервью Екатерина Мняхина, кивая на супруга, — ...знающий, что такое верность, способен пройти через куда более страшные бури». В редакцию телепрограммы два месяца несли восторженные письма мешками... Еще бы: *Такой-то* всегда оставался самым эффективным мужчиной Большого. А его молчаливость во время интервью объяснялась не косноязычием (да кто без изъянов?), а качествами джентльмена.

Кстати, оба они — Мняхина и *Такой-то* — дают интервью Мирославу Пижме в «Летописи русского танца».

«Анастасию Васильевну сознательно травили в театре?» — как доктор спрашивает Пижма. «Еще бы! — гневается Мняхина. — Травили нас всех — молодых реформаторов классической школы русского танца. А ее «Саломея»! Для нас она была путеводной звездой. Мы всегда кладем на могилу Асеньки белые — обратите внимание, не красные — гвоздики». — «Что вы прежде всего вспоминаете о «Саломее»? — обращается Пижма к *Такому-то*. «Да, — задумывается, — это было. Нечто». Мы опять отвлеклись.

Итак, Аркаша встретил Асю тогда в Ялте четыре раза. Сначала на почте — постоял у кабинки, стало стыдно, что подслушивает — не станешь же объяснять про тетку, которой надо звонить, — ушел. В конце концов, лучше сэкономить деньги, чем внимать теткинским расспросам: «Ты прихватил, как я учила тебя, теплые вещи? На юге всегда бывает холодно в самый неожиданный момент. Александр Львович (ее второй муж) страшно простудился в июле пятьдесят третьего». — «Ты что-нибудь, я надеюсь, читаешь? Чтение на отдыхе позволяет избежать однообразия». — «Ты записался — я хочу в это верить — на экскурсию?». — «Ты предупредил, что у тебя неважно с желудком? Желтенькие таблетки пьешь?». — «Я уверена, ты ведешь себя там благоразумно или я ошибаюсь?». — Разумеется, предпочтительнее сэкономить. И потом: можно хотя бы сорокалетие (точнее, сорок один) провести в тишине? День рождения удачно (или неудачно?) падал на ялтинскую поездку.

Второй раз он почти натолкнулся на Асю у набережной — там, где всегда одни идут в одну сторону, а другие — в другую. От солнца болели глаза — воздух

пылал от солнца. Тем более он обрадовался — можно ведь сказать хотя бы два слова? Вдруг к Асе метнулся толстяк в потной рубашке (и плешина — болотного цвета!): «Анастасия *Наненевна*! Разрешите получить ваш автограф — я вас узнал! Я вас сразу узнал!» — К толстяку поспешала, выдувая свекольные щеки, толстуха. «Ми-ша! Ми-ша! Это она? Я правильно говорила! А ты что? Почему-то долдонил: Гурченко! Гурченко!» — и к Асе — «Извините его, он всех всегда путает». Ася засмеялась (как только она умела), Аркаша услышал, как она говорит, что сама всех путает. «Спасибочки, спасибочки, — у толстухи дыхание еще прыгало. — Спасибочки, очаровательная вы наша, Анастасиечка *Наненандровна*! Приезжайте к нам в Винницу — погостить, яблочков поесть, отдохнуть, здесь разве отдых? Я ему говорю...».

Третий раз Аркаша увидел ее в церкви. Так странно. Так неожиданно. Он зашел туда из-за жары — ну и, разумеется, любопытства — еще не был ни разу. Службы днем не было. И никого не было. Свечку, что ли, поставить? Он повернул голову и разглядел на темной скамье в левом углу молчаливую Теодор, перед поминальным столиком. Ну, конечно, он вышел. Поджидать у паперти, пожалуйста, неприлично.

Глупость Аркаша сделал потом, в Москве, — когда проболтался Коту Рыжему про поездку. Вернее, тот вытащил из него — куда пропал? почему? деньги откуда? не буду тебе, мальчик мой, платить денежку, раз ты транжиришь. В Ялту? Йа-га-га! Ты, наверное, жил вместе в одном номере с Анастасией Васильевной, колись?

Как, в самом деле, он мог разноухать? Аркаша — блаженный — врать не любил, только молчать получалось. Но попробуй молчать с Котом Рыжим — выпотрошит! Как измывались потом все они — Синий Пузырь, Рубенс, Кеннеди, Ленин, Рябушка (Аркаша, между прочим, думал, что она не злая), Седой Мальчик (физиономия делалась особенно глупая), Уролог, Белая Мышь (Аркаша уже готов был закричать ей, что у нее муженек — извлечен из морга! — почему она морит его голодухой?), даже Тюлень — он, конечно, не опускался до реплик — смотрел на Аркашу с усмешечками.

Ладно. Перетерпелось.

Когда Ася доверила ему съемку «Саломеи», у него мелькнуло — ну, что теперь вы скажете? Когда Гадкий утенок (они его тоже так называли) здесь, а вы там, как статисты? — нет, лучше их накормить в буфете — какие пирожки, он стал вспоминать, любит Тюлень, с абрикосом? А Седой Мальчик? Колбасу с жиринками? Или он вегетарианец?

Да, чуть не забыли. Аркаша столкнулся с Асей в Ялте еще раз. На пальмовой аллее в Массандре — он вывернул туда и сразу ее увидел, впрочем, со спины, но, конечно, узнал ее в белом платье и белой же шляпке — она гладила ствол старой пальмы, но, услышав шаги, обернулась. Что ей сказать? Просто «здравствуйте»? Какое-то официальное слово. «Добрый день»? Но он не санаторный врач. «Простите?» Примет за сторожа.

Он стоял и молчал. Она чуть помедлила — припоминая, что ли? — и прошла мимо.

Или все-таки кивнула? — надеялся Аркаша потом.

В день своего триумфа — когда он снимал «Саломею» («вы думали, у меня не найдется галстука-бабочки?»), или, вернее, не в тот день, а на следующей — он хотел ее спросить — помнит ли она странную — да, это был я! — встречу? Но ведь это неприлично — спрашивать такое. Да и, честно сказать, думал — не помнит.

Или все-таки? Потому что смотрела на него — как смотрела? — доброжелательно, ну, конечно, доброжелательно, чуть наклоняя голову к плечу, как будто что-то узнавая, щура глаза.

В тот год в Ялте было много необычного. Говорили, например, что сорвались вниз вагонетки канатной дороги. А потом говорили, что эти слухи распространяет иностранное радио. Почему-то винули армян. Говорили, что в Ливадии найден за фанерной перегородкой тайник с царским портретом — кровоточащим! В очереди за квасом это слышал Аркаша. Тоже, наверное, радио. Часто вспоминали ресторан у набережной, где поваром толстый грек (ради грека сбегались). Грек уверял, что цыплята табака и оливье — исконно греческие блюда. Он повторял по слогам «у-ли-вье»! И ждал, смотря на вас тараканьими глазами, подтверждения. Некоторые не соглашались. Они не рассчитывали на оливье. Только на цыплят деревянных. Из какой деревяшки? — не шептали, а громко спрашивали друг друга. Доставалось снова армянам, почему-то не грекам.

Но что точно было — так это шторм в последнюю ночь. Аркаша снимал комнату прямо над пляжем, с окошком на море — и полночи не спал. Нет, не из боязни — это же не цунами, в самом деле, — из восторга, из вдохновения. Волны наползали, качались, прыгали, плясали и рассыпались каплями со звуком — ф-ф-фаа! — и снова — Аркаша даже считал, через сколько — ф-ф-фаа! Тащили с пляжа лежаки, мотали буи — он изумлялся, что хозяйева его норы — спят и спят — он сам потом заснул так же.

Но пока еще стоял у окна, слушая, считая, подоконник уже был мокрый — как при дожде, и мокрые руки, потому что водная пыль сеется в комнату — и на лице, и на губах капли. Он даже крикнул туда, в море, крикнул несколько раз — кого разбудишь в два ночи, когда так грохочет?

Это — лучшие аплодисменты.

Александр Снегирёв

Крещенский лед

рассказ

На следующий день после праздника Крещения брат пригласил к себе в город. Полгода прошло, надо помянуть. Я приедется: джинсы от итальянского гомика, свитерок бабского цвета, сейчас косить под гея — самый писк. В деревне поживешь, на отшибе, начнешь и для выхода в продуктовый под гея косить. Поверх всего пуховик, без пуховика нельзя, морозы как раз заняли нашу территорию.

Только выхожу за ворота, а староста нашей деревеньки Петрович тут как тут. Весь православный люд ночью окунулся, я же святым ритуалом манкировал. В жизни не окунался. Холодно. Староста описал ночное купание весьма живописно.

— Да ты окунись, окунись! Я вижу, у тебя крестик на шее, — говорил по-свойски староста, хотя на шее у меня в тот день, кроме трехдневного засоса, да и тот глубоко под шарфом, ничего не было.

Я спорить не стал, эти верующие сейчас такие ранимые, только их чувства оскорбишь, они тебе петлю на шею вместо крестика. Петрович в очередной раз что-то мутил:

— Надо нам объединяться... — произнес он и многозначительно умолк.

— А что случилось? — спросил я, беспокояно поглядывая в сторону остановки — как бы автобус не пропустить.

— Дай им волю, они наше озеро засыпят и синагогу поставят или памятник холокосту своему, — он кивнул на дом, стоявший между его и моим. — Вон, в Птичном, уже детки черненькие по улицам бегают!

Жители деревеньки нашей считают владельцев дома, что между мной и Петровичем, евреями. Слух пустил Петрович. Не без участия моей матушки. Они вместе обсуждали какие-то вопросы — канаву, что ли, водоотводную копать общими силами собирались. Короче, эти, скажем так, евреи, отказались деньги на канаву сдавать. Канаву так и не выкопали, а слушок пошел.

Матушку мою не нагреешь, она еврея за версту чует. «С папашей вашим обожглась, зато поумнела», — говорит она нам с брательником, когда вместе собираемся. Думаю, мать права, домик и людишки тамошние очень странные. Одних телевизионных антенн пять штук висит. Как на радиолокационной базе, ей богу. Ну ладно две — одна для обычного телевизора, другая, скажем, для еврейского, но пять-то куда?

Да и с нами у них нехорошо получилось, спор из-за земли вышел. Петрович сделал неправильные замеры, евреи, или кто они там, поставили забор, но вскоре обнаружилось, что забор сдвинут на полметра на нашу землю. Петрович сразу позабыл, кто замерял, и накинулся на евреев с обвинениями. Мол, нечего было

спешить, забор городить, надо было сначала геодезистов вызвать, чтобы они все по спутнику выверили. Так переполошился, будто у него землю оттяпали, а не у нас. Но на то евреи и евреи, чтобы первым делом ото всех отгородиться. Боятся они всех, что ли, или скрывают чего? Короче, хоть староста и ошибся в замерах, но землю у нас оттяпали незаконно, по-еврейски как-то. Приезжали комиссии, перемеривали, пришлось евреям забор передвигать. Передвинуть передвинули, но осадочек остался.

С тех пор Петрович, у чьего деда еврейские комиссары в свое время отобрали мельницу, взялся за дело всерьез и стал выводить на чистую воду все еврейские секретки. То они в лес мешки с химическими отходами сбрасывают, то в гараже своем поддельную стеклоомывательную жидкость разводят.

Обеспокоенная нарастающей в деревне антиеврейской кампанией тамошняя женщина с горбинкой, в смысле что на носу у нее горбинка, еврейская женщина, короче, позвала нас с матерью на чай — продемонстрировать свой миролюбивый настрой, а заодно и то, что никакого подпольного цеха они не держат и радиоактивных отходов не хранят. Плюс загладить инцидент с землей. Дом оказался довольно путаным, с какими-то ходами и переходами, которыми женщина очень гордилась, но главным моим впечатлением стал не зефир «Шармэль», а знакомство с отопительной системой.

Система располагалась в цокольном этаже и представляла собой длиннющий и достаточно широкий в обхвате винт, наподобие тех, что крутятся в мясорубке. Винт этот следовало кормить поленьями, которые он сам перемальвал и отправлял в топку, чье пылающее чрево нагревало жидкость, бежавшую по трубам еврейского дома. Хозяйка не без гордости включила механизм, тот сразу пришел в движение, начав с хрустом крошить поленья из русских березок, отправляя их в огонь. Хозяйка раскрыла перед нами топку. Пахнуло так, что ресницы оплавилась, и мы отскочили. Показалось мне в то мгновение, что гостеприимная еврейка — на самом деле коварная колдунья, которая заманила нас и теперь изжарит, подаст своему сыну и всему своему кагалу на ужин, и обглодают они мои бедные, тоже, надо признаться, не совсем русские косточки, и закопают тайно в лесу, и только староста наш будет об этом знать, да никто ему не поверит.

— Перемальвает и сжигает! — торжествовала хозяйка. — А золу на огород!

Тут гигантское сверло заскрежетало, взвизгнуло металлом и остановилось. Стали изучать, ничего не поняли.

— Надо вызвать мастера, — заключила мать и заторопилась.

Мы поспешно откланялись. Позже узнали, что хитрый механизм заклинило — подавилась еврейская машинка русскими березками. Исправление агрегата оказалось столь дорогостоящим, что решено было заменить систему отопления на обыкновенную электрическую, которая, хоть и немного дороже, и на огород ничего не сыплешь, зато работает. Умерший же дьявольский винт так и остался в доме, демонтаж его требовал разрушения стен. Топку тоже решили не трогать, приспособили для сжигания мусора. Наверняка и токсичными отходами не брезгуют, нет-нет, да сунут в огонь что-нибудь токсичное.

— Еврея хлебом не корми — дай памятник холокосту воздвигнуть, — ворчала потом мать.

У нее с евреями особые отношения. Из-за моего непостоянного папаши. Никаких памятников холокосту он в жизни не строил, его проект участвовал однажды в конкурсе на очередной такой памятник, но не выиграл. Отец предлагал где-то в Польше или на Украине огромный крест поставить, но евреи не согласились. А сам он не то чтобы еврей, просто от деда фамилия досталась своеобразная. Но отец никогда себя евреем не считал. Даже на лечение в Израиль ехать отказался. А я милым ребенком был, это потом вдруг шнобель отрос и вся рожа какой-то нездешней стала. Вообще у меня между отражением в зеркале и

внутренним миром большие противоречия. Если б я выглядел, как мой внутренний мир, мог бы запросто викинга в кино исполнять. Тем более, мать не еврейка. Из-за чего, кстати, пейсатые меня за своего не признают. Зато все остальные к ним причисляют. А какой я еврей, только нос и фамилия — Израиль.

Братец же мой старший, Серега, кстати, не Израиль, а Подковкин. Хотя с виду он как раз больший Израиль, чем я, копия отца: шнобель, очки, лысина. Родители ему материнскую фамилию дали, чтобы с институтом проблем не было, а я уже в пору демократических перемен рос. Мальчишкой я однажды мать спросил, почему я Израиль, а не Подковкин, а она ответила ласково: «Не твое собачье дело». Позже узнал: мать в Израиль планировала, там пенсия выше, меня в качестве неопровержимого аргумента растила, приговаривая: «Хоть какая-то польза от папаши будет». Но сборы затянулись. До сих пор собирается.

А Серега Израилем просто не выжил бы. Он и так псих. Я в принципе тоже. Но он больше. Наверное, потому, что на десять лет старше. У нас в стране каждое старшее поколение больше не в своем уме, чем последующее. И все в целом психи, потому что родители- психи детям диагноз передают.

— Кого отец любил? Маму? Нас? Эту свою, последнюю? Или вообще никого не любил. Не понимаю... — рассуждает Серега.

Я таки до города, до брательника своего, добрался. Сидим перед низким столиком, на котором, помимо купленных мною закусок, три большие банки соленых огурцов стоят.

— Холынские, — Серега взял одну банку, колыхнул.

Огурцы стукнулись тяжелыми лбами о стекло, выплыв сонными рыбами из рассольной мути.

— Редкий деликатес. На работе ценители угостили. Знаешь, как их солят?

Я покачал головой, секрет засола холынских огурцов мне неизвестен. А Серега ботан, все знает.

— Есть такая знаменитая деревня — Холынья, там уже полтыщи лет огурцы солят в бочках, которые зимой держат в реке, отчего огурчики просаливаются по-особенному, становятся крепкими, хрустящими, — сообщил Серега, будто читая статью из Википедии.

Тут бы просунуть руку в стеклянный ободок баночного жерла, достать по огурчику, откусить с хрустом. Серега даже открыл банку, но вовсе не для того, чтобы выудить закуску. Все пространство поверх рассола и под самую крышку было заполнено пышной, пенящейся, словно ванна какой-нибудь телезвезды, плесенью. Только сняли крышку, пена встала шапкой, и комнату наполнила густая вонь, от которой, без преувеличения, сразу стало некуда деваться. Серега крышку тотчас обратно на банку нахлобучил, но вонь уже заняла комнату. Пришлось проветривать. И выпить, чтоб не околеть.

— Папа меня к огурцам приучил. Помню, я малышом был, мы с ним рассаду сажали, потом в парник на майские, а потом рыщешь рукой среди листьев, нащупываешь. Крепкие, колючие немножко, как женская ножка.

Я скопился на Серегу, но он своих аллюзий эротических не разъяснил.

— Давай эту понюхаем, — Серега другую банку придвинул. — Еще он закатывал.

Соление огурцов было папашинной страстью. Хотел быть русее русского, огурцы солил, косолюбил помахать, разве что в плуг не впрягался.

Серега откупорил банку, на дне которой плавало два-три заготовленных овоща. Гладь рассола покрывал красный бархат. Плесень была не такой пышной, как у холынских, зато радовала редким, богатым цветом. В нос ударил пряный аромат. Поплыли мысли об аэропортах восточных стран и тамошних борделях.

— Меня отец не хотел. Да и мама, кажется, тоже, — вздохнул я без всякой грусти, скорее даже с весельем человека, который давно пережил яркое событие и теперь рад: есть чем прихвастнуть. — Пошла делать аборт, а врач просто дал ей таблетку. Ранняя стадия, таблетки достаточно. Через неделю пришла проверить, — таблетка не помогла. Тогда назначили процедуру. И тут у них что-то там сломалось, кажется, кресло. Назначили на другой день, но она больше не ходила. И вот он я! Наверное, из-за этого мне никакие таблетки не помогают.

Сергея покивал не глядя. Я благодарен, что не перебивал. Знает он эту историю. Мать каждый мой день рождения ее рассказывает. Сергеины воспоминания про огурцы мне тоже наизусть известны. Тем не менее выпили за Крещение и за обстоятельства, позволившие мне родиться на свет. Сработай тогда таблетка, не сломайся кресло в медицинском кабинете, не нюхать мне плесени знаменитой холынской, папашиного рассола закисшего не нюхать, не отщипывать виноградины от пышной кисти, не разгрызать косточки, не глотать сладкий сок.

В третьей банке плесень была и не плесень вовсе. Так, пузыри.

— Будешь нюхать? — Сергей протягивал мне банку. — Тоже папашины. Еле от матери сберег, вылить в унитаз хотела!

Матушка наша иногда навевается к своему старшенькому, прибирается, продукты привозит, ходит с ним в магазин новую одежду прикупить.

Нюхать я отказался. Чего там нюхать. И без нюхания ясно — пахнет кислятиной и нищим прошлым.

Сергея снял крышку. По комнате разнесся тонкий аромат ранней весны, в котором смешивались запахи заперевших под снегом листьев, распускающихся цветов и тел усердных дворников, подметающих улицы. Показалось даже, что аромат остановил лезущий в приоткрытое окно мороз, напугал мороз. Сергей торжествовал.

Насладившись обонятельной дегустацией, мы прошли по протоптанной по полу дорожке на кухню и поставили банки на подоконник. На место их постоянной приписки. Сергей в своей съемной однушке только спит, остальное время на работе, выходные — с сыном. Передвигается одними маршрутами, оттого и дорожки протоптанные. Как на садовом участке. Легко можно вычислить передвижения хозяина: кровать — туалет — кухонный стол — раковина. На этот раз тропки довольно явственно различаются, давно мать не приезжала.

— Не могу выбросить. Посмотрим, что через месяц будет, — Сергей погладил банки. — Мне иногда кажется, что из этой плесени кто-то родится.

По своим следам вернулись к еде и напиткам. Так, ступая след в след, ходят по снегу и грязи разведчики. Сергей из-за своего немного маньяческого взгляда, и вправду, походил на еврейского диверсанта, отправившегося по русскому снегу в арабский тыл.

— Думаю, они из-за тесноты расстались. Однушка, двое детей, ссоры. Мать просто взяла и уехала в деревню. А эта, его последняя, была против того, чтобы мы общались. Боялась, мы на квартиру претендовать будем. Только недавно стали видеться. Он не сразу мне позвонил, когда диагноз узнал. Неудобно, говорил, было, вроде как я ему понадобился, только когда приперло... Знаешь, что он мне сказал перед тем, как... это?

Брат запрокинул голову, приоткрыв рот и закрыв глаза. Типа умер.

— Он сказал: «Будь здоров».

Мы выпили. И погрузились в думы. Особенно Сергей, у него к раздумьям склонность. От умственной натуги глаза его взбухли, морда зажглась бурым.

— А что там, кстати, с квартирой?

— Все этой своей оставил. Я у нее попросил что-нибудь на память, угадай, что она мне отдала?

Сергея подошел к шкафу, порывшись, вытащил куклу Буратино с тряпичным туловищем, тонкими ручками-ножками-шарнирами из гладкого дерева и круглой головой. Без носа.

— Узнаешь?

Для меня встреча с безносым Буратино стала вроде очной ставки палача с жертвой. Это была любимая игрушка Сереги. Когда я начал ползать, отец решил, что длинный острый нос Буратино опасен для меня, и отрезал его. Положил голову Буратино на колено и спилил ему нос.

Сергея протягивал мне Буратино. Деревянные ручки, ножки и изуродованная голова свисали.

— Зачем он это сделал? — спросил Сергей.

Так на агитплакатах обезумевшие матери спрашивают фашиста, зачем он заколол штыком их дитя.

— Сергей...

— Ты не виноват.

Брат всучил мне куклу, обхватил свою голову руками и начал тосковать.

— Он говорил, я не его сын. Не похож на него.

— Он шутил, — успокаиваю брата. — Ты вылитый отец. Нос, очки, лысина. Просто он не мог признать, что сам выглядит так же.

— Надо уезжать. Не могу я больше здесь, — сказал Сергей, вскочил неожиданно — и к вешалке.

Есть у него пунктик — в даль рвется. В пустошь какую-то. Или пустынь. В леса. По святым местам. Подальше. Смысла жизни искать. У него это всегда было, но как жена ушла — обострилось. Однажды он аж до вокзала добрался, где я его и подобрал. Проку никакого, только мать волнуется.

Над вешалкой, как специально, картинка висит, забыл, какого художника. Французы, в обрывках мундиров, замотанные в какие-то тряпки, еле передвигая ноги, идут сквозь русскую метель.

Я дверь своим телом перекрыл.

— Серег, а давай фотографии посмотрим!

Сергея забился в уголок, подвывает. В пустошь свою тянется. А я потом за ним бегай. И куда ему, времена не те, не принято босиком, с посохом по Святой Руси странствовать. К странникам нынче без всякого респекта относятся — или гопники поколотят, или менты бутылкой из-под игристого оттрахают. Да и простудится он в такой-то мороз.

— Какие фотографии! Жизнь проходит, а ты со своими фотографиями!

— Наши детские фотографии. Я отсканировал и в фейсбуке выложил. Пойдем покажу.

Деревянного калеку я сунул под диван. Усадил Серегу. Включили экран. Вот и фотографии. Замотанный по-зимнему Сергей с родителями на прогулке, я делаю первые шаги. Больше нет фотографий. Сергей вообще фотографироваться безразличен, а я раньше имел к собственным изображениям большой интерес, но в последнее время как-то поубавилось.

— А ты что-то давно ничего не размещаешь, — решил разговором его развлечь.

— Чего размещать-то? — буркнул Сергей.

— Давай к тебе на страничку зайдем, разместим что-нибудь!

Зашли к нему на страничку.

— Сколько у тебя сообщений непрочитанных!

Он открыл первое сообщение. Одноклассник. Второе — реклама. И целых три от миленькой блондинки. «Вы мне понравились... Вы выделяетесь среди других... Вы такой необычный, интересный человек...»

— Если девчонка пишет, что ты интересный человек, надо звать ее в гости. Кто такая?

— На свадьбе у коллеги познакомились.

Не думал, что он по свадьбам шастает.

Посмотрели ее альбом. Пляж, дача, кругленькая попка, высокий лоб, загорелые острые локти, десятилетний сын. Время, когда начинаешь крутить с матерями-одиночками, наступает незаметно.

— Пиши ей ответ!

— Сейчас нет настроения.

Жена с год как отчалила, а у него настроения нет! Целыми днями на работе, а остальное время тоскует. Думаю, он влюблен. В девушку, которой в природе нет. Ощутимые девушки, которые вот они, его угнетают.

Сергея настукал начало: «Вы мне тоже понравились...».

— Сдурел?! Пиши: «Ты...». «Ты», а не «вы»! Ломай барьеры одним ударом! «Ты мне тоже очень понравилась, думаю о тебе, встретиться очень хочу, но свалился с простудой, пью кипяток, нет сил выйти в магазин, купить мед».

Написал. Слово «очень», правда, убрал, вышло, что она ему просто понравилась, а не очень. И насчет меда спорил. У него аллергия на мед. Но на меде я настоял. Мед сам по себе настроит блондинку на правильный лад. Проконтролировав отправку письма, я потирал ладони от удовольствия: не успеет он завтра проснуться, как блондинка напишет, что везет свою круглую попку прямо к нему. А завтра как раз выходной. Притворится больным. В случае чего скажет, полегчало, типа, от одной мысли, что вот она к нему приедет. Я радовался его грядущему успеху, как своему. Нежеланные дети знают, как надо извернуться, чтобы стать желанными.

— Это что?! — Воскликание мое касалось его семейного статуса, указанного на страничке. — Женат?! Вы же год вместе не живете! Удивляюсь, что тебе вообще кто-то пишет. Это надо Марией Магдалиной быть, чтобы с женатым связываться! Меняй сейчас же!

— Неудобно. Таня узнает.

— У нее же другой! Меняй!

Для романтики я предложил «вдовца», но Сергей отказался. Долго выбирали между «без пары», «в поиске» и «свободные отношения». «Без пары» отдаст безнадегой, «в поиске» звучит болезненно. Удачливый джентльмен не может быть в поиске. Он же не какая-нибудь Холли Голайтли, прилепившая на свой почтовый ящик «путешествует». Остановились на последнем варианте.

— Ну ты и еврей, — хлопнул меня по спине новоявленный и сразу осмелевший любитель свободных отношений, отдавая должное моей ловкости в амурных делах. — А чего это у тебя снежинка шестиконечная?

Я свернул голову так, чтобы видеть рукав свитера. На рукаве снежинка вышита. И вправду, шесть концов. Снежная звезда Давида. А я и не замечал. Ай да Сергей, кровинушка материнская, не проведешь.

Братан повеселел. Даже спросил, не окунался ли я уже. Он, видите ли, вчера окунался в ближайшем водоеме...

Возвращался я домой на последней маршрутке. От остановки шел мимо озера. Почему бы, в самом деле, не окунуться? Так и помру неокунувшимся.

Мать уже спала. Разделся, только угги и пуховик оставил. И топор взял — наверняка прорубь прихватило.

Подбежал к проруби, скинул пуховик, угги и прыгаю, пытаюсь окунуться. Мороз такой, что даже небо опустело — звезд не видно, попрятались все. Подтаившая днем тропка застыла отпечатками сапог. Трафаретные ледяные следы

больно бьют по ступням. От ног отходит широкий черный крест отороченной снегом проруби. Фонарь светит в затылок, и, обладая я незаурядной фантазией, предположил бы, что крест — это тень, которую я отбрасываю.

Ну я и давай рубить. Лед оказался крепкий. Звон, осколки, густо-белые трещины по свинцовой глади пошли.

— Тебе жалко, что ли? — заискивающе улыбался я то ли льду, то ли воде подо льдом, то ли Богу. — Петрович окунулся, все окунулись, даже Серега окунулся, а мне что, нельзя? Я ничего не испорчу, я из любопытства!

Ноги околели, со спины будто кожу содрали. Если увидит кто, не догадается, какого полу перед ним православный, так все съезжилось. Как человек, оказавшийся в нелепом положении, я огляделся, желая показать возможным наблюдателям, что мне и самому смешно. Окна домов, выходящие на озеро, были темны, но ведь мой стук мог разбудить кого-нибудь, и сейчас один из моих соседей вполне может смотреть в окно и потешаться: «Видать, грехи не пускают. Все добрые люди вчера окунулись, а Израиль, вон, только сейчас опомнился! Все, поздно, вчера будьте любезны, а сегодня шиш с маслом!».

Тут окошко еврейского особнячка, бац, и зажглось. Торшерчик у них там такой, уютненький. А вот и силуэт. Мужской. Значит, один из этих евреев смотрит, как я голый, с топором скачу вокруг прорубленного во льду замерзшего креста. Наверняка злорадствует. Сами-то, наверняка, не купались в святую ночь. А вот если бы прорубь в форме звезды Давида была, тогда бы искупались? Полезли бы эти чернявые носатые очкарики?.. Да, носатые, носатые, носатые!!! Я не виноват, что Буратино нос отрезали! Я не просил! И что брат у меня носатый очкарик, я тоже не виноват! И я носатый! И фамилия моя Израиль, а не Подковкин! Не знаю, кого больше люблю, маму или папу! Я не виноват, что евреи распяли Христа и устроили революцию в России! Не виноват, что евреи отняли у дедушки Петровича мельницу, убили тысячи русских! А может, даже миллиарды! Не виноват, что после перестройки евреи все украли! Не виноват, что еврейские танки что-то постоянно обстреливают, еврейские мудрецы жрут детей, еврейские соседи отравляют лес ядерными отходами! Что я теперь про нос не смогу думать, не испытывая вины!..

А если в форме свастики была бы прорубь? Полезли бы евреи в воду плюс два — плюс четыре градуса по Цельсию? Я бы полез! Плевать я на все хотел! Только еврей из меня хреновый. Нормальный еврей, если и полез бы, то запасся бы бензопилой, не мерз бы как цуцик, продолбил бы себе дыру, не оказался бы в таком дурацком положении.

Почувствовав вдруг, что околел нестерпимо, еще немного, и пошевелиться не смогу, — я решил бежать с места неудавшегося омовения. Впрыгнул в угги, накинул пуховик, топор в руку и кинулся по заметенному снегом, будто плесенью покрытому, льду к берегу. Но не по дорожке, которой пришел, а коротким путем, наперерез, прямо к нашей калитке.

«Недаром я, Израиль-Подковкин, атеист. Смешны мне ваши религии! Надо же до такого додуматься — купаться в ледяной воде! Варварство!..» — подбадривал себя я как человек отвергнутый и убеждающий сам себя в том, что не больно-то и нужно.

Тут лед подо мной и проломился.

В угги хлынуло, словно в трюмы «Титаника», вода обварила тело, почки, печень, и легкие скакнули под самое горло и поджали лапки, чтобы не залило. Полы пуховика распластались по провалу, точно подол платья, стали напитываться и тяжелеть. Цепляясь свободной рукой за обламывающиеся края льда, я стал хватать ртом воздух, быстро и возвышенно думая, что могу прямо сейчас, вот так, вдруг, взять да и отправиться туда, куда двадцать два года назад меня

чуть не отправила таблетка врача, куда полгода как отчалил мой отец. Вся жизнь пронеслась перед глазами.

Я не сразу понял, что погрузился по грудь, захлебнуться не получится.

Вспомнил самый страшный грех наших евреев, о котором поведал староста Петрович. Они тайно проложили к озеру трубу, по которой сливают нечистоты. От еврейских ли помоев вода с этого края никогда не замерзает или оттого, что ключи здесь сильные бьют, не знаю. Но как я мог про это забыть?!

Кромка воды обхватила обручем, я мигом превратился в один большой холмский огурец, застрявший в горлышке трехлитровой банки. Принятая Богом нижняя половина стыла в святой воде, а верхняя, оставшаяся неомытой, начала похрустывать и покрылась пупырышками.

Ступая в чавкающем иле, я пошел к берегу. Аккуратно, чтобы не наступить на рыбу. Рыбы-то зимой спят, не хотел бы, чтоб на меня наступили, когда я сплю. А с другими надо поступать так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Держа, вопреки вопиющему мелководью, топор и телефон над головой, я выбирался из загрязненной евреями, но все же святой воды.

А может, все-таки целиком окунуться? А то выйдет, я подмокший, а не окунувшийся. Да и то как-то все низом пошло. Правда, сточные воды эти, еврейские... Можно снежком обтереться. Снег тоже вода, только не жидкая...

Как был в пуховике, я начал приседать, стараясь омыться целиком, перекладывая телефон из одной руки в другую.

«Я не хотел... прости, Серега... прости, Буратино... я не хотел, чтобы тебя так... Простите, русские, что, куда ни сунешься, везде евреи и всюду своих проталкивают. Меня никто не проталкивает, но все равно стыдно. Прости, Петрович, простите, арабы, евреи, простите...»

Выполз на берег. Ледяная тишина гудела. Сосны отморозили носы-сучки.

— Сосед, ты в порядке?

Вопрос этот меня чуть обратно не спихнул. Уж очень неожиданно. И кто же это?! Еврейский муж! Увидел меня в окошко и приперся спасать. С мотком автомобильного троса. Хотел меня крючком из нечистот своих выловить. Еще бы спасательный круг притащил.

Запахиваясь, я мотнул топором. Закутанный собеседник отскочил.

— В-все х-хорошо! Вот реш-шил ок-кунуться.

— Как вода? — спросил сосед.

Я не ответил, а сосед ткнул пальцем в мою правую ногу.

Оказалось, я выбрался на сушу на одну ногу босым. Правый утг засосало.

Стащив сохранившийся сапожок, я, неистово шевеля каменеющим телом, под уговоры соседа «не надо», полез обратно в ледяной пролом и стал шарить в колышущемся небе. Звезды от любопытства повылезли и, глядя на меня, мелко тряслись.

Ничего не нашел. Жижа одна. Надо будет весной таджика сюда загнать, пусть поныряет.

— Ну, п-пойду, — махнул я соседу и пошкандыбал к дому, сжимая топор.

Прямо безлошадный драгун, отбившийся от наполеоновского стада, пробирающийся в одиночку прочь из варварской России, бреду, околелый, по земле, где я чужой, и только снежок под ногами хрум-хрум.

Треньк. Эсэмэска. Раз в такое время пишут, значит, важно. Едва попал пальцем по кнопке. «Она сейчас приедет с медом. Что делать?! У меня же на мед аллергия».

«Почему мой старший брат Серега с женщинами такой неумеха?» — думал я, пока моя проснувшаяся матушка поила меня чаем и чистила пудовый, заляпанный святым илом пуховик.

Роальд Добровенский

Терпи меня

Рандеву

Честно? Тесно стало в клетке
Заколоченной грудной.
Заждались, наверно, предки.
Рандеву у них со мной.

Только пёс соседский вякнет.
Тепловоз гуднёт вдали.
Только лязгнут, только звякнут,
Упадая, кандалы.

Щедрость

В один прекрасный и далёкий день
В стране на букву «а», где с той же буквы
Зачем-то начинались все слова:
Аресторан, ателеграф, агурчик, —
В горах приземистых, лесистых, параллельных
Морскому берегу, я собирал грибы,
Причем боровики. И местный мальчик
Лет десяти мне встретился, с ружьём.
Мы поздоровались. Он мне в глаза смотрел
С тем ровным дружелюбием, доверьем,
Которого теперь уж не бывает.
Подумав, мальчик взялся за ружьё.
— Наверно, хочешь. На, стрельни разок!
И большей щедрости я что-то не припомню.

Об авторе | Роальд Григорьевич Добровенский родился 2 сентября 1936 года в городе Ельце Липецкой области. Окончил Московское государственное хоровое училище (1954) и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького (1975). Учился в Московской консерватории (1954—1955). Работал журналистом в Хабаровске и на Сахалине. С 1975 года живёт в Латвии. Был редактором (1977—1979, 1989—1991) и главным редактором (1991—1995) журнала «Даугава», редактором издательства «Liesma» (1983—1988). Среди книг: «Град мой Китеж» (1972), «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском» (1986), «Райнис и его братья» (2000), «Арцымагнус» (2004). Живет в городке Икшкиле, который на полтора десятилетия старше соседней Риги.

Терпи меня

Река с лещами, лес с клещами...
Из нас не вырвать и клещами
С природою родство!
Я как сатир, а может, фавн
Жить не могу без флор и фаун,
Без этого всего:
Без птиц, рептилий, без берёз,
Без роз и без — на розах — рос,
Без рыб, которые в воде,
Без мух, которые везде,
Без облаков летучих,
Без паутин липучих.
Природа милая! Любя,
Терпи меня, как я тебя.
Терпи меня, душа моя,
И будем вечно мы друзья!

Online

И, не считая новостей,
За вечер 50 смертей,
500 членовредительств,
Разбоев и грабительств.

За вечер 50 смертей.
«Нет, выбираться из сетей!» —
Сказал себе профессор
И выключил процессор.

Профессор Кант Иммануил.
Вязь готики в тетради.
Надел колпак. Свет погасил.
И спит в Калининграде.

Полушалок

И что бы там со мной ни случилось,
Итог подбит. Итог таков:
От слова «страсть» до слова «старость»,
Как на дуэли, семь шагов.
Стреляйтесь, что ли, мне не жалко.
(— Начнём, пожалуй? — Да, начнём.)
А жалко, может, полушалка
Со снегом, тающим на нём,
Да губ, подпитанных огнём.

Воскресенье

Тяжело безрыбье,
Тяжелей безлюдье.
Никого не любишь?
Нас убьёт безлюбье.

И когда и если
Нас никто не любит,
Мы ещё не рыбы,
Мы уже не люди.

Но когда и если
Нас не полюбили,
Для чего погибли,
Для чего воскресли?

Стансы

Стонет, мечется, как голый
В крапиве.
— Где твоя одежда, голубь?
— Пропили!

И в упор, бывало, спрошен,
И в профиль:
— Где надежды, мой хороший?
— Пропил...

Цыганка

Цыганка, цыганка, сигарка во рту.
Скажи-ка ты, выложи начистоту,
Что видишь? Что скажешь? Что будет со мной?
Что будет со мной и с моей стороной?
Она усмехнулась. И смуглой рукой
Ладонь развернула. И смутной тоской
Подёрнулся непроницаемый взгляд.
Молчала цыганка. Знать, холод и глад,
Дорога, казённый неласковый дом
Меня ожидают за первым углом?
И голос Кассандры, бросающий в дрожь:
— Ты может быть жил и наверно умрёшь.
Ответ простоват, а она непроста!
...И шорох тех юбок, и их пестрота.

Там, вдали

Вздохни поглубже. Это осень.
Предзимне зеленеет озимь,
Сквозит берёзовый лесок,
И дождь идёт наискосок.
Легко, спонтанно, без подсказки
Все сущее меняет краски,
Прощальной радуя красой.

Прорвался спицей лёгкий зонтик,
А там вдали, на горизонте,
Маячит женщина с косой

Ау!

Ветер может серебряным быть, золотым и железным,
А бывает в ночи — тяжелее свинца.
Как мы долго поля и леса не жалели!
Нас теперь не жалеют поля и леса.

Или кажется мне, будто забастовали
И молчат не согласные петть соловьи?
Что деревья вокруг притворились дровами,
Что цветы отшатнулись, что как не свои

Смотрят звери лесные на нас исподлобья,
Словно думая: были же божьи подобья,
Жили-были, любили, трудясь и надеясь,
Помним, были же люди! Куда они делись?

След

Как если б целою толпой
Людей, деревьев, восклицаний,
Я снова осажден тобой,
Тобой тогдашней, первой, ранней.

И если что-то на земле
Забывших стоило стараний,
То это утренний твой след
И свет — тогдашний, первый, ранний

Наказанье

Кто не влюблялся в восемьдесят лет
В свой предпоследний, может быть, рассвет,
В пролетную, нечаянную птицу
И в чашку кофе,
Вспыхнувшую спицу
Велосипеда в утреннем луче,
В смех без причины, в ляжку на плече
И от дождя оставшуюся лужу,
Кто разучился изнутри наружу
Выглядывать, болеть чужой бедой
Прекрасной, потому что молодой, —
Тот недостоин возраста и званья
Старейшины. А значит, в наказанье
Лишить его заслуженных седин,
Всего, что старика в нем обличало,
Вернуть каналью в юность! И один,
Как перст, пусть начинает всё сначала.

Соловьи

Соловьяха говорит соловью:
Ай-лав-ю, мой дурачок, ай-лав-ю!
Услыхала твой художественный свист —

Поняла, с кем гнездо надо свить.
Соловьихе говорит соловей:
Ай-лав-ю тебя ещё ай-лав-ей!
Фьють! — и оба улетели стремглав —
Развивать соловьиную love.
...Что же смолкли вы, мои соловьи?
Отвечают соловьи: се ля ви...

Здравствуй

Да здравствует песенка мамы моей
И все, что навеки неправильно в ней.
Пока она не утихает,
Сам Моцарт Вольфганг отдыхает.

Да здравствуют лица и глотки друзей!
И ярость и свет завиральных идей.
Грузинские наши застоля,
На фоне застоя.

Да здравствуют женщины, все до одной!
Хотя мне в итоге хватило одной,
Как смуглая львица, гривастой.
Ну, здравствуй.

Будущему вслед

Итак, довериться всему
И всем, кто вёл нас: гидам, гидшам,
Безумьям верить и уму.
И притворяться непогибшим.

Поверить сызнова мечтам,
Мечтателям, мечту избывшим,
Поверить общим их местам
И притворяться непогибшим
Под оглушительный там-там.

Поверить бронзе давних лет
И заменившим мрамор гипсам
И, глядя будущему вслед,
Всё притворяться непогибшим?

Вечерний звон

Я жив. Но сколько неживых
В вечерней памяти моей!
В ушах их гомон не затих
И рокот высохших морей.

Что, обезбоженным дотла,
Вернули нам вечерний звон?
Нет, брат, — не те колокола,
Не тот алтарь, не тот амвон.

Виктор Шендерович

«Анекдот сильнее, чем Геродот...»*

Истории разных времен

ПЕРСЮК И МАРЬ ИВАННА

Отчим художника Бориса Жутовского вел дневник.

Много лет подряд, каждый день — хотя бы несколько строк: погода, быт, родня, соседи... Поучительное чтение! Особенно когда в жизнь частного человека беспшумно впадает история.

Запись от 6 марта 1953 года стоит в этом смысле целой книги.

«Погода дрянь. Сломал левый клык. Васька окунул лапки в кипяток. Сдох персюк проклятый. Марь Иванна ночевала...»

Ровным голосом...

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

Студентка консерватории, комсомолка и активистка, пробегая по лестнице мимо профессора Гольденвейзера, бойко прощбетала:

— Александр Борисович, почему вас не видно на нашем кружке марксизма-ленинизма?

— Милочка, — мягко ответил Гольденвейзер, — зачем же мне туда ходить? Я скоро с ними лично увижусь.

ПОВОРОТ ТЕМЫ

В самой гнойной середине семидесятых в Москонцерте проходило собрание, посвященное осуждению еврейской эмиграции. Как раз из Москонцерта в ту пору начали валить косяками, и начальство, озверев, назначило оставшимся сеанс публичного очищения.

* Строка принадлежит поэту Вадиму Жуку.

От автора | Легкомысленный жанр исторического анекдота блестяще представлен в русской литературе в диапазоне от Пушкина до Довлатова. Несколько лет назад я тоже устремился в эту сторону, — так сказать, петушком за дрожками.

Конца и края этому жанру нет и быть не может: что ни день, ветер приносит в уши новую изумительную байку, — только успевай записывать! Что я и делаю.

«Изюм из булки» вышел отдельным изданием в 2005 году. В этом году в издательстве «Согрус» выйдет третье издание этой книги, а с полсотни новых историй, в нее вошедших, можно прочесть уже сейчас, в «Знамени»...

Очищались громко и страстно.

— Это вообще не люди! Это крысы, которые бегут с нашего корабля! — трубил какой-то несчастный, нетвердо понимая, что несет...

Когда все оттрубили, слово попросил тихий чтец Эммануил Каминка.

— Ну да, — мягко вступил он, — евреи, которые уехали, это вообще не люди... даже не будем о них больше говорить! Но скажите, — осторожно уточнил Каминка, — а тех евреев, которые останутся, — их как-нибудь поощрят?

УТОЧНЕНИЕ

В те же годы и по тому же поводу партийное начальство мучило великого Мравинского: от вас бегут музыканты!

— Это не от меня бегут, — холодно ответил Мравинский, — это от вас!

СИЛЬНЫЙ ДОВОД

Жена Зиновия Гердта, Татьяна Александровна, сидела на даче в Пахре и составляла печальный список друзей, уехавших в эмиграцию...

За этим занятием ее застал живший по соседству драматург Эрдман.

— Таня! — нравоучительно произнес он. — Никогда не составляйте списков!

И пояснил свой тезис:

— Однажды я решил составить список людей, которые придут на мои похороны...

Николай Робертович взял паузу.

— Потом подумал и рядышком составил другой: тех, кто придет на мои похороны в дождливую погоду...

Эрдман взял еще одну большую, правильную паузу и закончил:

— И потом ничего не смог доказать следователю!

ПРАВИЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Сильной стороной матушки Советской власти было плановое хозяйство: в победители Московского кинофестиваля 1963 года был заранее назначен фильм «Знакомьтесь, Балуюв» — мощное советское кино о строителях газопроводной трассы по сценарию Вадима Кожевникова.

В общем, все складывалось очень хорошо, пока в конкурсной программе, ни с того ни с сего, не появился Федерико Феллини со своим фильмом «Восемь с половиной»!

Это было довольно бестактно по отношению к целой группе отечественных товарищей-кинематографистов, внезапно уничтоженных соседством с гением... Товарищи, однако, оказались не робкого десятка и продолжали ломить напролом, настаивая на том, чтобы все шло своим, советско-партийным чередом: раз решено, что «Балуюв», значит, «Балуюв», и никаких мастрояней!

Чтобы добиться Гран-при для Феллини, глава жюри Григорий Чухрай день за днем ложился костью в ЦК КПСС, грозя тамошним кретином международным скандалом. И скандал таки состоялся: говорят, Жан Марэ и Стэнли Крамер, познакомившись поближе с «Балуювым», едва не сбежали с фестиваля...

Когда дым рассеялся, Феллини был наконец увенчан главным призом, а газопроводная бригада пролетела мимо всех наград. Какой-то остроумец подвел итог этой конкурсной драмы: мол, «Восемь с половиной» победили в номинации «Лучший фильм», а фильм «Знакомьтесь, Балуюв» — в номинации «Лучший фильм о Балуюве»...

КРУГ

В Воронежском драмтеатре шла Всесоюзная комсомольская конференция или что-то в этом роде. Ну, жанр известный... На сцене — президиум, на авансцене — трибуна, на трибуне стоит гладкий чувак и рассказывает о нравственных исканиях молодежи семидесятых.

А в президиуме о ту пору сидел некий областной начальник. Театральный свет бил начальнику в глаза, и он попросил помощника убавить напряжение. «Световика» на месте не было, инициативный помощник решил справиться самостоятельно, и повернул не тот рычаг, и включил поворотный круг...

И, на глазах у молодежи семидесятых, президиум дрогнул и поехал прочь, а на его место, под свет софитов, торжественно въехал стол, приватно накрытый за занавесом для членов президиума — с сервировкой, прямо сказать, не характерной для Воронежа тех времен: водочка, балычок, сервелат...

У стола, со стопкой в руке, балыком на вилке и открытым в изумлении ртом, стоял и медленно ехал вместе с натюрмортом какой-то партийный босс.

Для полноты картины следует понимать, что чувак на трибуне никуда не уехал и, стоя на авансцене, все это время продолжал рассказывать про нравственные искания молодежи семидесятых...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А вот история с другого комсомольского форума тех же времен.

На трибуне стоял посланец дальневосточного комсомола и, глядя в бумажку, набирал обороты. Набирал, набирал — и, уже весь в пене от собственного темперамента, вышел на кульминацию:

— И мы, комсомольцы семидесятых, говорим президенту Никсону: давайте деньги!

В зале удивились. Оратор и сам удивился услышанному — и внимательно рассмотрел бумажку. И повторил по ней, уже несколько озадаченно:

— И мы, комсомольцы семидесятых, говорим президенту Никсону: давайте деньги.

В зале зашумели. В президиуме забеспокоились. Оратор как баран на ворота глядел в завизированный текст. Потом всмотрелся в синтаксис. Потом перевернул страницу и почитал, что там.

И наконец закончил фразу:

— ...давайте деньги, которые мы тратим на гонку вооружений, потратим на строительство моста через Берингов пролив!

ВЕЖЛИВЫЙ ИЛЬИЧ

В Ташкенте, при большом скоплении узбекской партийной элиты и личном присутствии товарища Рашидова, шло культур-мультиурное действо в честь открытия республиканского съезда партии.

На поворотном круге, мимо зала, заполненного узбекской партийной элитой, проплывал народный артист республики, загримированный под Ленина, — в привычной позе, с вечно протянутой рукой...

Проплывая мимо Рашидова, «Ленин» не выдержал и поклонился в пояс:

— Здравствуйте, Шараф Рашидович!

«АНТИНОСТАЛЬГИН»

Заклеенную коробку с таким названием писатель Войнович получил перед самым отъездом от кого-то из друзей. С инструкцией по пользованию: открыть, когда тоска по Родине станет нестерпимой.

И однажды тоска по Родине стала нестерпимой, и Войнович открыл коробку.

Там лежали пластинки с речами Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Ностальгию эти виниловые таблетки, конечно, не вылечили, но острую боль сняли...

СЛАВНОЕ ОТРОДЬЕ

Письма трудящихся — жанр известный.

Такие письма стали приходить Павлу Литвинову и Ларисе Богораз в 1968 году, после их знаменитого «Обращения к мировой общественности» — первого открытого обращения советских диссидентов к Западу.

Написаны все эти письма были на одной и той же дорогой бумаге, одним и тем же почерком.

Неизвестный трудящийся трудился изо всех сил, но в меру ума. В письме Литвинову, внуку легендарного советского министра иностранных дел, сказано было: «Зачем, жидовское отродье, позоришь память своего славного деда?».

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Из рассказов жены:

— Самые смелые политические разговоры в нашей семье вел дедушка. Иногда за ужином он вздыхал и говорил: «Да-а...».

УЖАСЫ ЦАРИЗМА

Политзэк Габриэль Суперфин любил повышать образовательный уровень тех, кто охранял его на пермской зоне от советского народа.

— В Шлиссербурге в камерах было темно, — рассказывал он начальнику зоны. — Политические в знак протеста стали жечь бумагу. Вот вы бы что после этого сделали?

«Хозяин» думал недолго.

— Всех в ШИЗО на неделю!

— Вот, — согласился Суперфин. — А в Шлиссельбурге провели в камеры электрическое освещение...

КАТЯ И СОВОК

На дворе стоял 1976 год.

Девушка в ленинградском метро читала книгу.

Обложки не было видно: книгу предусмотрительно завернули в газетную обертку... Бумага была характерно белой. Издательство «Ардис», поди, подумал Вадим Жук и осторожно заглянул через девушкино плечо.

Он даже не удивился тому, что книга была — про лагерь. Первые строки, которые бросились в глаза Вадиму Семеновичу, были о переводе какой-то заключенной к политическим...

Отважная книгоочейка читала *это* в заполненном советском метро. Сердце Вадима Жука захолонуло от чужой отваги.

И он со всей осторожностью снова заглянул в текст.

Это было «Воскресение» Льва Толстого.

ПОЙДИ И УТОПИСЬ

Однажды (дело было в середине шестидесятых) ведущих советских драматургов позвали к министру культуры Фурцевой, и та прямо спросила: чем мы можем вам помочь, наши дорогие лучшие советские драматурги?

Дело было накануне съезда, и у партии ненадолго открылись квоты на заботу об интеллигенции.

Лучшие советские драматурги не стали скрывать от партии свои нужды. Один как раз работал над пьесой о рабочем классе, — но так трудно думать о рабочем классе в этих жилищных условиях! Другой многие годы осваивал ленинскую тему, и муза настоятельно влекла его в ленинские места: Лондон, Цюрих... Третий, четвертый и пятый тоже поделились с партией и правительством своими творческими нуждами: отсутствие дачи, маленькие авторские проценты, недостаточные тиражи...

Фурцева кивала головой, записывала...

А шестым сидел Александр Моисеевич Володин. Перед походом к начальству, для снятия стресса, он принял, но анестезия не помогла: жалобы товарищей по цеху сорвали резьбу, и, когда пришел его черед, Володин чуть не испортил идилии:

— Ничего нам от вас не нужно! — вскричал он жалобным голосом. — Не трогайте нас, не мешайте нам писать, оставьте нас в покое...

Ни один мускул не дрогнул на лице советского министра культуры. Дождавшись конца володинской истерики, Фурцева ласково поинтересовалась:

— Александр Моисеевич, скажите, вы спортом занимаетесь?

— Нет, — ответил опешивший Володин.

— Ну, вот видите, — укоризненно покачала головой Фурцева, — до чего вы себя довели! Устали, нервы расшатаны... Так нельзя. Вы наша гордость, надо следить за здоровьем... Мы вас запишем в бассейн!

И Володина записали в бассейн.

ТВЕРДАЯ ПЯТЕРКА

Юный сын Михаила Талья не был силен в школьной программе по литературе, но не губить же отпрыска советского чемпиона мира!

Не сильно уповая на конкретику — названия романов, герои, коллизии... — учительница литературы поставила вопрос максимально размыто:

— Что оставил после себя Достоевский?

И юный Таль ответил:

— Хорошее впечатление.

«НОВЫЕ РУССКИЕ»

Говорят, этот термин придумали еще в конце восьмидесятых совсем молодые в ту пору Василий Пичул и Валерий Тодоровский.

По замыслу юных кинематографистов, это было объявлением новой точки отсчета: взгляните на нас, вот они мы! — не совки-валенки, молью траченные, а

продвинутые, образованные, вписанные в европейский контекст, молодые талантливые люди!

Новые русские...

Но время и язык сами решили, каким смыслом наполнить это удачное *mot...*

ПЕРВЫЙ УРОК ДЕМОКРАТИИ

По воскресеньям наша дочка ходила в бассейн во Дворце пионеров. Однажды с утра мы огорчили ее известием: бассейн закрыт, сегодня там будет избирательный участок. Выборы!

— А что это?

Мама пропиталась ответственностью момента и приступила к политинформации. Мол, люди договорились о том, что один раз в несколько лет они выбирают тех, кто потом будет управлять страной...

Дочка слушала внимательно.

Картина идеальной демократии была нарисована за минуту.

— Все поняла?

— Да, — ответила юная Валентина.

И осторожно уточнила:

— А почему этих людей надо выбирать в бассейне?

НАВСТРЕЧУ РЕАЛЬНОСТИ

До двенадцати лет дочка считала, что Никитинская улица, на которой мы жили, названа в честь Сергея Никитина, а метро «Сухаревская» — в честь поэта Дмитрия Сухарева...

Счастливым же детством было у моей дочери!

Сейчас она выросла и живет на Маленковской.

Тут особо не пофантазируешь.

НА ВЫБОР

Киев, новые времена... Еду из отеля на выступление, звоню организаторам уточнить адрес.

— Улица Петлюры, — говорят.

— А в какую это хоть сторону? — спрашиваю.

— Скажете таксисту: улица Коминтерна!

ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Сын моего приятеля, закончив университет, все не мог трудоустроиться, — да и занимался этим, по наблюдениям родителя, довольно вяло... Сидел в Интернете, манкировал собеседованиями и вообще не проявлял особого интереса к жизни за пределами Сети...

А на прямой вопрос отца ответил:

— Понимаешь, там я — Ваня с химфака. А здесь — эльф 76-го уровня!

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В доме, где жил N., обитал вор, сухонький немолодой человек, один из лучших «форточников» страны. Отсидев в очередной раз свое, он присматривался к новой жизни... А потом вдруг снова исчез, лет на пять.

Вернувшись, рассказал: пытался угнать машину и попался.

Историю эту Н. рассказывал ради морали, которой заключил историю своей жизни старый «форточник»:

— И поделом мне... Есть профессия — работай по ней!

КОНЕЦ ДИСКУССИИ

Ближе к девятому мая в московской школе шел урок, посвященный победе в Великой Отечественной войне. К доске был вызван третьеклассник Гриша. Рассказав про подвиг наших дедов, Гриша сказал:

— А еще победить фашистов нам помогли Америка и Англия.

Учительница не стала вдаваться в полемику с несмысленным, а просто сказала ему:

— Выйди из класса!

НЕЗАЧЕМ

В одной московской школе некоторое время (правда, не очень долго) работал учитель французского языка, который запрещал детям грассировать, а на вопрос «почему» отвечал:

— Это никому не нужно!

ИМПЕРИЯ В ОПАСНОСТИ

Депутат Государственной думы Н. прилетел в Якутск.

Ну, Якутск как Якутск: из вертикали — только федеральная, больше под прямым углом ничего не стоит: перекошенные фонарные столбы, кривые заборы... канализация с советских времен сбрасывается прямоком в Лену, в домах, по случаю оттепели, вода по щиколотку...

И вот посреди этого пейзажа депутат встречается с местным партактивом. И спрашивает у них: о чем думу думаете? В чем главная проблема? О чем попросить в Москве?

И встает в ответ местный человек, и говорит ему: да, есть очень серьезная проблема. В области — двадцать шесть аэропортов, но ни на один из них не может сесть истребитель пятого поколения.

За какой нуждой в Якутск может долететь истребитель пятого поколения? Кого истреблять? Все это так и осталось тайной.

Особое обаяние этой патриотической истории придает тот факт, что вышеозначенного истребителя в России вообще не существует.

ГОРКИ

В закрытом городе Арзамас-16 (ныне г. Саров), где на паях с американским Лос-Аламосом готовился конец света, живут, тем не менее, люди. Люди рожают детей; дети играют в песочницах, а зимой катаются с горок на детских площадках...

Одну тамошнюю горку я видел своими глазами.

Стоит, значит, горка, а на горке домик — в форме головки баллистической ракеты.

Чтобы сызмальства сориентировать деток.

ВСЕ СВОИ

Поезд Калининград—Москва. В вагон заходит старшая проводница:

— Иностранцы есть?

— Нет!

— Отрубай кондиционер.

НА НЕДЕЛЬКУ В КРЫМ

Жена и дочь давно грезили Коктебелем.

Максимилиан Волошин, видите ли...

Ну, Волошин Волошиным, а через пару дней они из этого Коктебеля рванули куда глаза глядят: запах, преследовавший повсюду, заставлял забыть не только о культурной программе, но и о еде.

Нехороший был запах.

Собравшись с силами, скажем прямо: пахло говном.

В общем, жена с дочкой собрали пожитки, договорились с каким-то леваком и поехали в сторону Алупки, в надежде найти все-таки запах моря...

Когда выезжали из Коктебеля, моя любознательная половинка, не утерпев, спросила у водителя:

— А что, в Коктебеле проблемы с канализацией?

— У нас нет проблем с канализацией, — твердо ответил водитель. И, подумав, уточнил: — У нас нет канализации.

Теперь, когда при мне говорят о проблемах российской демократии, я знаю, что отвечать.

КОЗЛИНАЯ ВИБРАЦИЯ

Другая подсказка мне — тоже семейного происхождения...

Дедушка Володя, а на самом деле давно уже прадедушка, девяностолетний Владимир Вениаминович, в прошлом — скрипач, и скрипач хороший, стоял вплотную к телевизору, наклонившись к экрану и качая головой. Он был уже глуховат, и звук был включен на полную катушку. Играл какой-то скрипач...

Впрочем, Владимир Вениаминович так не считал.

— Нет, — говорил он, — это не скрипка.

И, сощурившись, снова наклонялся к экрану. И спустя полминуты ставил диагноз:

— Это какой-то ужас!

Еще через пару пассажей он объявлял домочадцам:

— Вибрация — козлияная!

— Так выключи! — взмолилась наконец его дочь, моя теща.

— Нет, — твердо отвечал старенький музыкант, — это настолько чудовищно, что я должен рассмотреть это досконально!

Так вот, когда меня сегодня спрашивают о причинах моего многолетнего внимания к российской политике, я вспоминаю формулировку дедушки Володи...

ТЕРПЕНИЕ

Приметы национальной самоидентификации бывают совершенно поразительными... «Россия — щедрая душа!» Ну, хорошо: допустим, что щедрость — чисто российская примета, а вокруг все жадины-говядины...

Но недавно...

Лечу в самолете Москва — Нью-Йорк. В хвосте — небольшая очередь в туалет. Я встал за громким мужчиной средних лет. Он рассказывал анекдот — думаю, было слышно пилотам...

А в туалете у другого прохода очередь вдруг рассосалась. Ну, я и пошел туда. Через пару минут вышел, гляжу: наш говорливый все стоит у запертой двери. Я ему говорю: прошу сюда, здесь свободно!

— Нет, — ответил он мне не без стоицизма в голосе, — я уж тут встал, тут и дождусь. Я русский!

И вот я теперь думаю: это, что ли, и есть наш особый путь — обоссаться, но не пойти навстречу здравому смыслу?

ДОПРОСЫ С ПРИСТРАСТИЕМ

Доктор Максим Осипов из Тарусской больницы — человек капризный. Ну, вот хочется ему в рабочее время видеть вокруг себя интеллигентных людей! Поэтому претенденткам на должность его секретаря-референта на собеседовании задавались два вопроса не по специальности:

— что случилось в 1812 году?

и

— при каких обстоятельствах умер Пушкин?

Первое так и осталось тайной, а на второй вопрос однажды ответили:

— Застрелился на дуэли.

Пушкин точно застрелился бы, зайдя однажды на экзамен по литературе на продюсерском факультете РАТИ. Легенды ходят про тот экзамен.

— Кто написал повести Белкина? — спрашивал экзаменатор. И четверо подряд отвечали ему: Белкин.

А пятый, почуяв подвох, ответил с хитрецей:

— Ну, если вы спрашиваете, то точно не Белкин!

НОВАЯ МЫСЛЬ

В Святогорском монастыре, в ста метрах от могилы Пушкина, в книжной лавке продавалась книга «Доказательства существования ада».

Издательство, выпустившее сей фолиант, называлось — «Новая мысль».

ГОРЬКО!

Перед майскими выходными 2011 года N. поехал навестить своего приятеля, отбывавшего срок в лагерной зоне. На входе в зону, в далеком русском поселке, его поздравили с праздником.

N. задумался и переспросил — с каким?

Оказалось: со свадьбой принца Уэльского!

Вона что у нас празднуют во внутренних войсках...

ТАБУ

Премия журнала «Знамя» за опубликованные в 2009 году «Диалоги» получили Улицкая и Ходорковский.

Редактор на канале «Культура», что твой Роден, удалил лишнее — и ведущий новостей лаконично сообщил: премию получила — Улицкая.

Бедная Людмила Евгеньевна, ведет диалоги сама с собой...

НОВОСТИ ДНЯ

В Австралии, как известно, наша эмиграция обитает давно — еще шанхайско-харбинская, довоенная. Перед выступлением, в некоторой тревоге, спрашиваю у организатора: публика вообще в курсе нашего политического контекста?

Тот, глазом не моргнув, отвечает:

— Все будет хорошо. Вы, главное, не говорите им, что Брежнев умер...

МОЙ ДОБРЫЙ ИЗЯ

— Жалко, что вы не привезли книги, — сказал Саша. После выступления в Мельбурне он вез меня в аэропорт. — Я бы на вашем концерте сорок книг продал Изе...

Я уже открыл рот, чтобы попросить у Саши телефон этого замечательного австралийского Изи, готового скупать мои книги оптом... И только тут до меня дошло, что на последнем слове Саша перешел на английский.

— ...сорок книг продал *easy*!

Легко!

НАСТИГЛА СЛАВА

На Триумфальной площади меня узнал сержант из милицейского оцепления. Они как раз выдавливали нас, идя цепью, и сержант прямо в процессе выдавливания радостно объявил:

— Ой, я вас знаю!

И, не переставая выдавливать, попросил:

— Дайте автограф для моего отца. Он такой ваш поклонник!

Я чуть не процитировал ему известное: «Скажи отцу, чтоб впредь предохранялся...».

МИГАЛКА

Нижний Новгород. Вечером — концерт, а днем меня зазвали к какому-то местному начальству в тамошний Кремль (Путина еще не было, и начальство не шарахалось от меня, как от прокаженного, а норовило дружить.)

И вот, стало быть, чаек да конфеты — глядь: а я уже опаздываю немного! И хотя все вроде рядом — вот тебе Кремль, вот гостиница «Волжский откос», вот улица Покровка, — а надо спешить.

Да ладно, говорит начальство, допейте чай спокойно, мы вас отвезем.

Ну, я и расслабился. А когда вышел во двор, похолодел: у крыльца стоял «мерседес» с затененными стеклами, а перед ним — милицейский «форд» с мигалкой.

Но деваться было уже некуда, и мы поехали.

И вот, скажу я вам, люди добрые, — сначала, конечно, страшно неловко. Первые десять секунд. Потом расслабляешься, потому что стекла-то затененные, и тебя никто не видит...

Потом испытываешь первый приступ самоуважения.

Недаром, должно быть, тебя везут в тепле, на мягком, а эти там, за темным стеклом, шебуршатся под дождичком. Наверное, ты заслужил! А этим, там, под дождем, самое место. Вон они какие противные все, мокрые и злые. И смотрят еще недовольно, смерды!

То ли дело ты, такой хороший, с удавшейся жизнью, весь такой сухой, на мягком.

А потом, когда диким криканьем с крыши «форда» мент разгоняет с твоего пути в лужи одуревших пешеходов, а твой «мерседес» разворачивается через двойную сплошную, ты уже испытываешь законное раздражение: чего они тут путаются под ногами, они что, не видят: я же еду! Я!

Я-я-я!

Тут самое время ущипнуть себя побольнее и дать себе пару раз по физиономии. Если этого вовремя не сделать, станешь свиньей.

В принципе, можно успеть стать свиньей минуты за полторы. Я проверял.

НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА

Юного белорусского оппозиционера Андрея Кима арестовали на демонстрации в Минске и осудили за избиение милиционера. В качестве доказательства фигурировала пленка, на которой милиционеры били Кима.

Он получил за это полтора года колонии.

Его история стала довольно известной в правозащитных кругах, и вскоре Андрею пришла открытка из России, от Сусанны Пичуро, получившей свой срок еще при Сталине...

«От старой политзэчки», — было написано в той открытке.

Андрея вызвали к начальнику колонии:

— Вы знаете, что переписка между заключенными запрещена?

КАК В ПАРИЖЕ!

Некоторое время Европа пыталась Лукашенко перевоспитать... В 1996 году «колхозного диктатора» свозили во Францию. Рассказали о французской выборной системе, о местном самоуправлении, независимых СМИ...

Батяка смотрел, дивился, слушал с огромным интересом.

Старания оказались ненапрасны: Лука отобрал кое-что для несчастной Родины из французского опыта! И, вернувшись в Белоруссию, первым делом накинуд себе пару лет президентских полномочий.

Чтобы не пять лет, а семь.

Как во Франции!

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

Дочь-активистка устроила одиночный пикет у белорусского посольства в защиту тамошних политзаключенных. Устроила не без креатива: сама встала у посольства, а друзья-товарищи слепили по бокам двух снеговиков — и всунули им в руки транспарантик: «Батяка — отморозок».

В таком виде эту троицу (дочь Валентину и двух снеговиков с транспарантиком) и застал подошедший милиционер. И, рассмотрев композицию, спросил:

— Кто тут из вас главный?

БЕЗ ЗАПЯТОЙ

В начале семидесятых компания московских студентов путешествовала по Грузии. Голодные, зашли в духан. Хозяева, завидев гостей, раскрылись во всю широту кавказского гостеприимства:

— Шашлык дарагой! Вино дарагой!
Откуда у студентов деньги? Пошли дальше.
Но и в другом духане услышали аналогичное предложение:
— Шашлык дарагой! Вино дарагой!
Так и не поели.

НЕ НАШ ПУТЬ

Юрий Рост путешествовал по Исландии.
Возили его по этой чудесной стране представители российского посольства.
И вот на развилке в каменной тундре, посреди несусветной красоты пейзажа джип остановился. Заблудились, озадаченно сообщили Юрию посольские.
Видишь дом? У тебя же с английским хорошо — пойди спроси, как отсюда выбраться?

Недоумевая, почему, собственно, послали его, Рост пошел к домику. Позвонил.
Открыла женщина средних лет в домашней одежде.
Рост извинился, спросил.
Женщина показала направление, подробно пояснила маршрут...
Юра поблагодарил и пошел к машине. Посольские улыбались, довольные.
— Да знаем мы, куда ехать! Просто хотели, чтобы ты увидел премьер-министра Исландии...

ТОЧНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

Русская телефонная компания в Мельбурне, в порядке рекламной акции, давала своим подписчикам бесплатное время для разговоров. Когда кредит подходил к концу, абоненту об этом сообщали.

Однажды в компанию позвонил очень немолодой и сильно раздраженный эмигрант.

— Я знаю, что вы нас подслушиваете, — заявил он, — но чтобы вмешиваться в разговоры — это уже ни на какую голову не налезают!

Обескураженный сотрудник компании попросил объяснить, что случилось.

— Как что? Мы вчера разговариваем с братом, два пожилых человека... Я говорю ему: вот, возраст, болезни, не знаешь, сколько осталось... Так она прямо в трубку говорит: «Вам осталось десять минут!».

ВКЛЮЧАЙ МАЗГАН

Дело было в Израиле.

В номере было душно, и жена позвала горничную. Горничная, на русском языке с ясной украинской мелодикой речи, посоветовала жене просто:

— Включи мозган.

Жена поняла, что ей, в довольно незатейливой форме, предложено подумать.

Она подумала, но ничего не придумала и снова обратилась к горничной с вопросом: как бы сделать так, чтобы не было так душно?

— Включи мозган! — ответила та уже с некоторым раздражением.

Моя смиренная жена подумала еще, но духота явно сказывалась на ее умственных способностях.

— Включи мозган! — закричала горничная. Потом махнула рукой, вошла в номер и включила мазган.

«Мазган» на иврите — кондиционер.

ДВА В ОДНОМ

Дело было на Пелопоннесском полуострове. Остановились в отдаленном отеле возле моря. Приехали в соседний городок с древней крепостью на перешейке. Поужинали. Официант, немолодой импозантный мужчина, с благодарным поклоном принял от меня пять евро чаевых.

Я был богатый иностранец, он — прислуга...

Жена поехала в отель, а я перешел в соседний бар, чтобы посмотреть на большом экране долгожданный полуфинал Лиги чемпионов.

Спустя два с половиной часа, в прекрасном настроении, я вышел на пустой пятачок центральной площади. Такси не было. Я вернулся в бар и попросил вызвать машину. Бармен куда-то позвонил. Потом позвонил еще и даже с кем-то поговорил. А потом покачал головой: никто не приедет.

Как не приедет?

А так. Маленький город, одна фирма, несколько машин. Все уже спят.

До отеля было шесть километров. Я тыркнулся еще в пару баров — с тем же результатом. Я вышел на дорогу и минут пять постоял с протянутой рукой; никто, разумеется, и не подумал притормозить.

Вернулся к закрывавшемуся бару; вышел на набережную, повертел бедовой головой. Такси не было, и взяться ему было неоткуда.

Шесть километров, подумал я, в конце концов, час с небольшим пешего хода. Дивная теплая ночь... Приключение так приключение! И я пошел. И вернулся, потому что через пять минут уже не шел, а переставлял ноги, растопырив руки, — за городом цивилизацию как отрезало ножом, царила крошечная тьма. На ощупь этого серпантина было не одолеть.

Я вернулся в городок и пошел сдаваться в полицию. Полицейский изобразил на лице сочувствие, но на отдыхающих таксистов его власть не распространялась.

Я снова вышел на пятачок перед баром. Представил, как жена просыпается среди ночи и обнаруживает, что меня нет; как звонит мне и слушает сообщение на греческом языке о временной недоступности абонента. (Батарейка на моем мобильном сдохла, когда «Челси» добивал «Ливерпуль».)

Я стоял в ступоре на краю Пелопоннесского полуострова. По лысине сквозил теплый ночной ветерок. В рок-баре на углу веселился молодежь.

Из пустого ресторана по соседству вышел импозантный господин. Я не сразу узнал в нем официанта, который обслуживал нас несколько часов назад, — а узнав, опрометью бросился вслед: это был мой последний шанс!

Официант уже садился в свой «мерседес». Несколько секунд он слушал мои нервные англоподобные вскрики, а потом молча указал на место рядом с водителем. Через несколько секунд мы ехали в сторону моего отеля.

Но, когда у отеля я вынул двадцать евро и протянул их своему спасителю, он посмотрел на меня надменным взглядом. И этот взгляд вернул в мои покоренные мозги правильное представление о статусе.

Да! Несколько часов назад этот человек с поклоном и благодарностью принимал из моих рук пять евро чаевых: он был официант, а я — богатый иностранец. Теперь на бедолагу-туриста свысока смотрел владелец «мерседеса», из милости подобранный его на дороге.

И этот турист явно не понимал правил приличия...

— Спасибо, — с поклоном сказал я на прощанье греку в «мерседесе», отчасти имея в виду и этот социальный урок.

РЕБРЕНДИНГ

Уезжая, эмигранты прихватывали с Родины самое ценное. Но, желательно, легкое, чтобы можно было довести до Рима и толкнуть на пересадке.

Знающие люди утверждали, что кроме икры, водки и оптики в тех краях хорошо котируется краснотелая атрибутика — армейские шапки, вымпелы и прочая советская ерунда...

N. подошел к вопросу кардинально и вывез из житомирских краев на продажу пару килограммов октябратских значков. И — не попал в спрос: к середине 80-х Ленин маленький с кудрявой головой гроша ломаного в Италии не стоил...

По всему выходило, что два килограмма мелкого лома ждет помойка в Римини. Но нет таких крепостей, которые бы не брали большевики! N. пошел навстречу спросу и начал выдавать юного Ильича за футболиста Заварова в детстве.

Заваров только что приехал играть за «Ювентус» и был очень популярен. Итальянцы расхватывали октябратские значки как миленькие!

КАКИЕ СТАРЫЕ СЛОВА...

Мой приятель путешествовал по Испании.

Однажды, не до конца проснувшись, он спустился на завтрак в отеле — и в расслабленном мозговом состоянии начал совать булку в тостер.

Булка не лезла, но мозг не просыпался, и мой приятель все пихал ее, несчастную, неразрезанную, в тостер, пока стоявший неподалеку испанский мальчик не сказал ему грустно, но твердо:

— Но пасаран!

Тут приятель и проснулся.

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Артист Машков ехал со съемок домой — по самой что ни на есть России. И практически посреди Родины сломался у Машкова его «мерседес». Причем кардинально так сломался — чуть ли не выхлопную отломало на очередной колдобине.

А ближайший сервис (не «мерседеса», но хоть какой-то) — в городе. А ближайший город — хрен знает где... И Вова Машков пошел в народ.

Народ в ближайшей деревне почесал в голове и указал направление, по которому обитал механизатор Серега. До Сереги машковский «мерседес» везли на тропе трактором.

По счастью, умелец был на месте и трезв. Он оглядел фронт работ и велел Машкову прийти наутро.

Наутро «мерседес» был на ходу — и, полагаю, менеджмент немецкого автопрома дорого бы дал, чтобы увидеть этот технологический процесс... Обрадованный Машков задал ключевой вопрос:

— Сколько?

— Сколько-сколько... — крикнув, повторил довольный монополист Серега и внимательно рассмотрел звезду, оценивая кредитоспособность.

И звезда понял, что сейчас отдаст монополисту половину гонорара за съемки в «Капитанской дочке».

Серега выдержал паузу и, шалея от собственной наглости, произнес:

— Сто рублей!

ВЕРНЫЙ СПОСОБ

— Витёк!

Это я привел съемочную группу телеканала «Дождь» во двор родной «Табакерки», а там — сбор труппы! И Олег Павлович — на крыльце, собственной персоной.

— Витёк! *Они* должны наградить тебя орденом Почета!

О да. Удушение в объятиях — способ известный.

На этот счет Табаков и рассказал мне поучительную историю из личного опыта...

Вскоре после августа 1968 года он получил посылку из Праги. В посылке без лишних объяснений лежали подарки — его, Олега Табакова, подарки Вацлаву Гавелу, Милану Кундере и другим друзьям-чехам... Чехи, задавленные танками Варшавского договора, молча возвращали свидетельства былой дружбы.

Уязвленный Табаков намек понял — и, собравшись с духом, выступил по чешскому вопросу на каком-то мероприятии в ЦК ВЛКСМ. Мол, что за гадость ваши танки!

Устроили они этот либеральный демарш вместе с Олегом Ефремовым.

Устроили — и сели в уголку ждать, чего будет.

Советская власть взяла паузу. Кровавая бабушка Софья Власьевна могла сказать надвое довольно категорическим образом, и Табаков был готов к переменам в судьбе — он хотел этого и боялся, боялся и хотел...

Профессия и репутация лежали на разных чашах весов.

Но советская власть умела быть тонкой — и члена ЦК ВЛКСМ Табакова наградили орденом Почета.

На тебе — и оправдывайся перед Гавелом снова!

Хорошая технология, иезуитская, проверенная...

— Они должны дать тебе орден Почета, Витёк!

О да. И, по новым временам, долю в «Газпроме».

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Молодой Котэ Махарадзе, работая в Театре имени Руставели, уже всюю промышлял конферансом.

Любимым его спектаклем был самый короткий. А именно: ровно в половине восьмого Котэ Махарадзе получал в свою фашистскую спину партизанскую пулю, с криком падал за кулисы, переодевался из фашистского в человеческое — и сваливал из театра на хлебную халтуру.

Надо ли говорить о чувствах, которые он вызывал в грузинских «партизанах», продолжавших, за советские копейки, играть в войну еще два часа?!

Короче, однажды эти партизаны сговорились — и Махарадзе получил свою пулю не в спину у кулисы, а в грудь, посреди декорации! Ну, делать нечего — упал.

А сцена длинная. А концерт через двадцать минут.

И вот партизаны видят — фашист не убит, а только ранен. Стонет, гад, и ползет к кулисе! Похолодев, партизаны произвели несколько контрольных выстрелов в голову.

Не помогло.

Живучего фашиста изрешетили из автоматов, но он продолжал ползти к кулисе — воля к жизни в эсэсовце обнаружилась совершенно незаурядная!

И тогда старый партизан (легенда утверждает, что это был великий Серго Закариадзе) настиг ползущего почти у самой кулисы и преградил ему путь. Молодой фашист Махарадзе ткнулся головой в сапоги корифея и замер, предчувствуя недоброе.

Закариадзе присел у тела, взял фашиста за волосы, приподнял голову, взглянул в лицо со значением сказал:

— Умер.

И Махарадзе пролежал как миленький до конца сцены.

ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

— Вот, — скорбно молвил бородатый детина рядом со мной. (Дело было в ЦДЛ, у книжного развала.) — Рубцов! Гноили его, не печатали... А умер — оказалось, гений!

Он помолчал и добавил:

— Вот и я так же.

ОТДЕЛ ПРОЗЫ

Игорю Иртеньеву позвонила старинная знакомая, преподаватель столичного вуза: не выступишь ли в институте? Студенты так хотят, так хотят... О гонораре в данном случае было смешно и спрашивать, и благородный Иртеньев, русский поэт о седьмом десятке, поперся пешим ходом сквозь осеннее московское месиво читать стихи бедным, но благодарным студентам...

Был, разумеется, успех, после которого русский поэт о седьмом десятке вышел обратно в осеннее месиво и побрел домой. И увидел двух своих слушательниц, садящихся в отменную иномарку!

— Вас подвезти? — спросила та, что садилась за руль.

— Если можно, — обрадовался застенчивый Иртеньев. — Тут недалеко, до «Белорусской»...

— Стольничек, да? — уточнила любительница поэзии.

КОМПЛИМЕНТЫ

Лучший комплимент в своей жизни Зиновий Гердт, по его собственному признанию, услышал от билетерши кукольного театра:

— Когда играете вы, зрители сидят как живые...

А лучший комплимент в исполнении самого Гердта звучал так:

— Мне понравилось! А те, у кого еще хуже со вкусом, — вообще в восторге!

АКУСТИКА ЭПОХИ

Как-то после вечера Давида Самойлова в Москве маленькой, но грандиозной по составу компанией поехали к Окуджаве, в тот самый, упомянутый в печальном «арбатском» стихе, Безбожный переулок.

Самойлов был расстроен. Ему казалось, что вечер прошел неудачно: и актер Н. читал его стихи плохо, и аудитория неуловимо изменилась с прошлых времен...

— Раньше, когда я читал стихи, — вспоминал поэт, — стоял гул!

Гердт, уже сидевший над стопочкой, печально развел руками:

— Гул затих...

НА ЧАЙ

Виктор Шкловский, позируя художнику Жутовскому, рассказывал тому подробности из жизни Лили Брик, и мемуары эти были самого непарадного свойства. И интриганка, и стерва, да и блядь в придачу.

Через пару часов Жутовский закончил работу:

- Поеду, Виктор Борисович.
- А вы сейчас куда? — поинтересовался Шкловский.
- К себе, на Кутузовский.
- О! Подвезете меня?
- Конечно, Виктор Борисович. А куда подвезти?
- К Лильке поеду, чай пить.

ПРОФИ

Однажды Жутовский решил обзавестись, для солидности, костюмом и по рекомендации друзей пошел к портному Соломону Ефимовичу, обшивавшему Литфонд.

— Что будем шить? — поинтересовался пожилой Соломон.

— Тройку, — твердо ответил Боба.

Соломон одобрил солидность выбора:

— По возрасту, по возрасту... Матерьяльчик?

— Свой. — Боба предъявил ткань.

Соломон оценил:

— Финский. Хорошо-о... Приклад?

— Ваш.

— Пра-авильно...

Соломон внимательно оглядел клиента и не спросил, а констатировал:

— И мы не спешим.

— Нет!

Портной снял размеры, они договорились о примерке...

— Простите, один вопрос, — сказал на прощанье Соломон. — Вот на вас пиджачок... Это чья работка?

Жутовский назвал имя.

— Я не спрашиваю, как его зовут, — печально уронил портной. — Я спрашиваю: кто он по профессии?

Николай Шатров

Неизданные стихи

О поэте Николае Шатрове

Только три стихотворения из трёх тысяч написанных было опубликовано при жизни Николая Шатрова, так как его творчество в советские времена считалось безыдейным и лишённым социального оптимизма. Между тем он продолжал в своей работе традиции Серебряного века поэзии. Николай Владимирович Шатров родился в 1929 году в Москве. В 1941-м вместе с матерью, актрисой О.Д. Шатровой, был эвакуирован в Казахстан, в Семипалатинск. Здесь в местной газете в 1946 году было напечатано его первое стихотворение. В 50-х годах жил на Урале. В Москву вернулся в 1956-ом и сблизился с Б. Пастернаком, которому посвятил несколько своих стихов. Он свел Бориса Леонидовича с французской слависткой Жаклин де Пруаяр, которая тайно переправила в Париж рукопись «Доктора Живаго». Этот факт послужил поводом для создания режиссером Н. Назаровой документального фильма «Если бы не Коля Шатров». Шатров жил летом на даче — в Пушкине, а в Москве его адрес был — ул. Авиационная, д. 74. Умер Николай Шатров в 1977 году от инсульта, сорока восьми лет от роду. Отпевал его отец Александр (Мень), поклонник его поэзии. Одна из первых больших посмертных публикаций стихов поэта в России появилась в 1999 году в журнале «Знамя» № 6 и называлась соответственно жизненному девизу Шатрова: «Аплодисменты — меньше тишины». В 1995 году в Нью-Йорке вышла книга «Стихи», в 2003 году в Москве — «Неведомая лира».

Волк

Серый, последний из стаи,
Загнанный спрыгнул в овраг...
Ветер крапиву листает,
Всхлипы доносит собак.

Раны напрасно ты лижешь —
Снова в простор не уйдёшь!
Слышишь, погоня всё ближе...
Пулю клыком не возьмёшь.

Серый, последний из стаи,
Лучше попасть под ружьё!
Стыдно, чтоб сучка простая
В горло вцепилась твоё...

Если холуйка собака
Зверя подаст на свинец,
Кто по тебе будет плакать,
Серый степной удалец?

Громче охотничьи крики,
Слышно, как кони храпят...
Встань, запалённый и дикий,
Грудью под первый заряд!

Пусть ни один не набрешет:
Волк умирает, как трус...
Пусть твоя смерть не потешит
Злобный охотничий вкус!

Серый, из стаи последний,
Выйди навстречу судьбе!
Лес золотую обедню
Уж отслужил по тебе...

1945

* * *

Солнце и ветер. Весенний свет.
Запах дождя, тепла.
Тёмной водою налитый след —
Видно, что лошадь шла.
Выцвело небо, и свет сильней
Сверху, как из стекла.
И с каждым днём всё сильней и сильней
Запах дождя, тепла.

1945

Гротеск

Мне не уйти от сложной простоты,
От Пастернака никуда не деться!
По кругозору и по росту ты
Напоминаешь девочку из детства.

Ту самую, что с бантиком в косе
Меня тогда дразнилками бесила,
Как позже мной её дразнили все,
До детских слёз не доведя насилу.

Теперь немного грустно и смешно,
Лишь вспомню, как томительно упорно
За палец я держал её в кино
И караулил... около уборной.

28.XII.51

Вечер жизни

Ветер дует, надрывая душу...
Жизнь опять смертельно хороша.
Прислонись к земле и слушай, слушай!
О, оттуда этот шум в ушах.

Из зелёных трав и крови красной
Нам сварили брагу бытия.
Кто сказал, что пили мы напрасно?
Я не знаю лучшего питья!

Радость духа, опьянение тела
И любви жестокая игра...
Ничему на свете нет предела
И всему, всему своя пора.

Лишь когда иссякнут жизни силы,
Ты утихнуть сердцу повели
И потребуй отдыха у милой
Утомляющей тебя земли.

26.V.52

* * *

Опять знакомая тревога
Разбудит в сердце старину
И от немилостивого порога
Душа уйдёт в свою страну.
От дисгармонии и фальши,
Неточных слов, неверных нот —
В глубины неба — дальше, дальше!
Туда, где Музыка живёт.
Её услышу — всё забуду,
И отзвуком иных стихий,
Как Эхо, как второе чудо,
На землю явятся стихи.

1953

Аист

Заведомо не пытаюсь
Стоять на одной ноге,
Во всём остальном я аист,
Небес секретный агент.

На крыше моё жилище
И в Африке зимний дом.
А здесь я — крылатый нищий,
Живущий чужим трудом.

Меня обожают дети,
Влюблённые свято чтут,
Которым на белом свете
Неплохо и там и тут...

Уходит Солнце на запад,
Месяц плывёт на восток,
Как стоящий тыщи за пуд
Розовый лепесток.

Светят бесплатно звёзды
И лягушки кричат...
Должное я им воздал
Возле озера Чад.

Впрочем, где это было?
Спутать немудрено:
Память моя — могила,
Илистое, словно дно.

1956

Снегопад 26.III.58 в Нижнем Тагиле

Сплошное нашествие снега.
Как будто вернулась зима,
Как будто весенняя нега
Себе изменила сама.

О, даже дышать стало нечем —
Он лезет и в ноздри, и в рот!
«Ах, шельма, недаром ты мечен!»
— На март во всё горло орёт.

Шлифует снежинками душу,
Царапает сердце тебе,
За шиворот лезет и в уши —
Товарищ земли по судьбе...

Как будто в каком балагане
Обсыпаны люди мукой...
Буянит всю, хулиганит.
Но дорог он только такой.

Пока не упал, засыпая,
Надравшийся в лоск без пути...
Пока он — стихия слепая,
Попробуй его запрети!

* * *

Одна осталась радость — книгу
Давно желанную купить,
Как Фауст, причастившись мигу,
Ход времени остановить.
К груди прижав блаженства свёрток,
Взмыть на седьмой этаж небес.
Как ангелы возносят мёртвых
На лифте плавно крыльев без.
Да, вот душа сама! И пахнет,
И шелестит! Ей нет конца...
Цены нет! Пятен на листах нет...
Бог превращается в чтеца.

1959

Муки библиофила

Страстной мой путь по книжным магазинам...
Пройдусь по ним, как пьяница по винам.
Отвёрстые очам на выбор сотни книг.
Вернусь домой, больной от вожденной муки.
Ведь чувствую — она в мои стремится руки!
А ночью в храме сна встают, как образа,
Угрюмых продавщиц надменные глаза.

1966

Памяти Фета

Для праздных взоров невидимки вроде,
Как тело, сбросив душный груз души,
Уж больше не нуждаясь в кислороде,
Пересечём земные рубежи...
И снова, снова в лунной колыбели
Дух воплощённый будет тихо спать,
И эти звёзды, — Бога ожерелье —
Из горсти в горсть вот так пересыпать.

29.11.1969

Введенье

Вокруг всё просится в стихи.
В воде двоится рифмой небо
И увлекает наверхи,
Воображенью на потребу.

В трубу вытягивает дым —
Рукав овчинного тулупа.
Мы пристально за ним следим,
Хоть это кажется и глупо.

Смотри, как хрупок талый снег,
Как склеивается крахмалом.
Я не раскрыл бы век вовек
И слыл бы в людях добрым малым.

Но автономен мой зрачок,
Да и душа — такое дело, —
Чтоб я заспать её не мог,
Выносит за пределы тела.

4.XII.69

*Вступительная заметка, подготовка текста
и публикация Рафаэля Александровича Соколовского*

Георгий Балл

Никодимиада

Хроника одной жизни

Георгий Александрович Балл (1927—2011) родился в Москве. До начала 90-х годов был более известен как детский писатель. Как «взрослый» автор Г. А. Балл не сразу был понят и замечен, его литературной средой вплоть до середины 80-х был московский андеграунд, авторы «Лианозова» и художники нонконформисты.

По окончании МГИМО (1948) Г. А. Балл сменил несколько работ, а в 1958 году уволился с официальной службы и начал писать. Сначала это были детские книги — сказки, рассказы и пьесы (в том числе в соавторстве с женой, писательницей Галиной Николаевной Демькиной). Его первым опубликованным произведением, по всей видимости, является маленькая картонная книжка «Два брата»¹. Вскоре Г. А. становится постоянным автором издательств «Малыш» и «Детская литература», где с 1958 по 1984 год его сказки выходят с периодичностью одна—две книжки в год. Но не у всех детских книг Балла такая легкая судьба. Его повесть «Торопун-Карапун и тайны моего детства», вышедшую отдельной книгой в 1974 году, сначала не хотели печатать. По словам Г. А., его обвиняли в том, что он — «детский Кафка». С середины 80-х годов Г. А. писал в основном взрослую прозу, хотя иногда и возвращался к детской, особенно в 2000-е годы. Так, вдохновленный изданием «Приключений Старого Башмака» в 2003 году², Г. А. написал две новые книги о приключениях любимого героя. Они до сих пор не опубликованы. Кроме них в его архиве еще не изданные сказки, несколько сказочных повестей, а также автобиографическая повесть «Ах топы, топы, топы...» — о жизни в детской колонии, куда эвакуировали в начале войны детей военных. Есть сказочная повесть «Пушинка», о которой сложно сказать, для кого она, — для детей или для взрослых.

Свой первый «взрослый» рассказ — «Два письма Марии Кузьминой» — Г. А. написал в 1959 году, но опубликован он был только в 1998-м³. Вот что пишет Г. А., предваряя публикацию: «Это самый первый взрослый рассказ, написанный мной. Я отдавал его в один из журналов, его мне вернули. Поскольку отдел прозы был за публикацию, мне в качестве компенсации предложили командировку в любую часть СССР. Я выбрал Литву. Это дало мне возможность написать в 1962 году повесть-плач «Васта Трубкина и Марк Кляус». Через тридцать пять лет она была опубликована в журнале «Знамя» (№ 11, 1997)».

Творчество Г. А. во многом связано с его долгими поездками по стране. Вот что он сам пишет об этом в неопубликованной автобиографии: «Вологодская область вообще сыграла в моей жизни особую роль. Деревня Озерки Тарногского района Вологодской области стала как бы моей второй родиной. До сих пор каждое лето меня зовет к тому родному краю. В Озерках в 1960 году я написал по-

1 М.: «Детский мир», 1958.

2 Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение».

3 Альманах «Апрель». Вып. 10, 1998.

весть “Лодка”, которая мне очень дорога. Через много лет она была опубликована в “Новом мире”»⁴.

В 60—70-х годах Г. А. пишет рассказы, которые условно можно назвать «деревенскими» или «северными». Часть из них вскоре была опубликована, но экспериментальные, фантазмагорические тексты Г. А., в которых автор раздвигает границы реальности, увидели свет много позже⁵. Именно о них сам Г. А. пишет:

«Печатать мои рассказы и повести в то время не представлялось возможным, так что между написанием и публикацией первых взрослых рассказов прошло около тридцати лет. Рассказы и повести читал в некоторых домах, и часто мои чтения совпадали с квартирными выставками таких художников, как Анатолий Зверев и Владимир Яковлев. В те годы близко сошелся с лианозовцами, подружился с художником Оскаром Рабиным, поэтами Генрихом Сапгиром и Игорем Холиным».

Первая взрослая книга Г. А. — «Трубящий в тишине» — вышла в издательстве «Советский писатель» в 1977-м. Из аннотации: «Северная деревня, в которой живет герой большинства рассказов Г. Балла художник Валерий Леонтьевич, становится для него второй творческой родиной, обновляющей и душу его и палитру». Позже появляются и журнальные публикации — рассказ «Командировка» в «Октябре» (№ 8, 1982) и повесть — «Тетья Шура, старый актер и остальные» в «Новом мире» (№ 10, 1984).

В 1983 году выходит самое крупное произведение Г. А. — роман “Болевые точки”⁶. Г. А. так характеризует его: «Это книга о предельной любви, которая приносит больше горя, чем счастья. Роман о двойнике, написанный не в реалистической манере»⁷.

В 1988 году в издательстве «Советский писатель» издана книга повестей и рассказов «Смеюсь и плачу вместе с тобой».

Таким образом, «взрослый» Балл к началу 90-х годов — автор трех книг, две из которых состоят в основном из «северных» рассказов. Но тексты, которые автор считал самыми важными для себя, к тому времени еще не напечатаны.

В 1989-м уходит из жизни сын писателя художник Андрей Демькин, в 1990-м — его жена писательница Галина Демькина.

В 1993 году в издательстве «Интерпракс» выходит в свет книга «Дом из дождя», книга отца — писателя Георгия Балла и сына — художника Андрея Демькина. В нее вошли новые рассказы Г. А., новые и формально и по существу. В них «стерты границы между реальностью и фантазмагорией. (...) Судьбы отдельных персонажей воспринимаются вехами жизни души, вместившей в себя многое и разнообразно проявленной. Но главное — это ее способность аккумулировать боль, сгустившуюся в данном пространстве и времени. Это пространство — Россия, время — середина 60-х — конец 80-х годов (...) Временной и пространственной диапозон духовных «скитаний» центрального действующего лица (...) сюжетная и композиционная завершенность книги позволили условно обозначить ее жанр как роман о художнике»⁸.

4 «Новый мир», №4, 1999.

5 Рассказы из «северного» цикла «На машине» и «Девятая пятница», написанные в 1963 году, были опубликованы в 1990 году в альманахе «Апрель» (вып. 2).

6 М.: «Советский писатель», 1983.

7 «Автобиография», журнал «Диалог», вып. 7—8. Т. 1, 2005..

8 Из послесловия С. Моргенштерн.

В 90—2000-е годы Г. А. интенсивно работает. Публикуется в самых разных журналах: классические толстые журналы, «Стрелец», «Вестник Европы», «НЛО», «Черновик» и др.

В 1999 году выходит очень важная для Г. А. книга «Вверх за тишиной» («Новое литературное обозрение»), в которой собраны его старые (в том числе ранее не печатавшиеся), а также и новые произведения. В предисловии сказано: «Читатель держит в руках особую книгу. В ней часто звучит слово «смерть». Писатель выстрадал право произносить его. (...) Это жизненный опыт автора, его трагедия и ее преодоление. Воплощенный в книгу, он становится ее душой. Трагедия перерастает в мистерию надежды. Таков сюжет целого и таков ее жанр»⁹.

В последующие годы Г. А. на Север уже не ездил, но очень интересовался тамошней жизнью, переписывался со своими друзьями из Озерков. В 2006 году в «Дружбе народов» (№ 9) был опубликован рассказ «Тишина», завершающий цикл рассказов об Озерках, а в «Знамени» (№ 2) — поэма «Полярная звезда на кончике хвоста».

В эти годы Г. А. работает в самых разных жанрах. Это и рассказы, и малая проза, и ритмопроза («Под землей», «Трамвай-оркестр»), и повести («Дыра» — жизнь одной свадьбы, «Князь из нашего двора»). Он пишет цикл рассказов, посвященных памяти ушедших друзей: Сапгира, Холина («Баня», «Когда умер Игорь Холин»), Шарова («Шляпа»)...

Часть его новых рассказов вошла в книгу «Круги и треугольники» («Русский Гулливер», 2010). Эту книгу он успел увидеть за полгода до смерти в 2011-м. В ней собраны его любимые вещи, начиная со старой «Свадьбы Мейдл» и кончая рассказом «И все регионы России».

В последние свои годы Г. А. интересовался всем, что происходит в современной жизни, от политики до технических новаций, и это знание органично входило в новые рассказы.

«Никодимиада» — последнее крупное сочинение Г. А. Оно примыкает к циклу «И все регионы России».

Г. А. очень долго работал над ним: начиная с 2006 года и почти до самой смерти. Сохранилось несколько его вариантов. Мы публикуем текст в позднейшей авторской редакции.

Татьяна Урбанович

* * *

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО СЫНА АНДРЕЯ ДЕМЫКИНА, ХУДОЖНИКА

Никодим Феликсович Крюков не помнит того дикого бурьяна, что рос сразу за порогом дома. Он родился недалеко от Вышнего Волочка, когда цвела рожь. Было жарко. Над дорогой с тонкой вечерней песней кружилась мошкара.

Мы прибыли на место. К сожалению, было уже слишком поздно. Все свершилось слишком быстро. Вдалеке, в небесной тишине, клубился исчезающий клочок серой тучки. В этой тучке мне удалось увидеть красный сопливый нос, можно сказать, НЛО. Он несколько мгновений висел в небе. Потом растворился в сонном храпе.

— Вам не кажется, что в этом аномальном явлении был некий знак нам, жителям земли? Господа, прошу отметить этот факт. И еще: уже несколько дней со стороны Финского залива движется дождевой фронт. С этим вы не поспорите...

9 Е. Воробьева. «Мистерия надежды».

1. Он вспоминает

— Эй, Буцуй! — позвал Никодим.

Никто не ответил. Листья на дереве, под которым лежал Никодим, не шелохнулись. Никодим проснулся. Ночь. Кошмары сна. Они не сплетались с туманом раннего утра. Сквозь туман проступали темные ели. Они перемещались. Поднимались и опускались, раскачивались на отдохнувших за ночь качелях. Из тумана тихонько посвистывал ручей.

Никодим вытянул руки и попытался разорвать оставшиеся путы сна. Давний кошмар его детства — Буцуй — бил его головой в живот. Никодим отскочил и побежал. Он всегда мечтал вырваться из цепких лап судьбы. Ни бойцом, ни бодливым он никогда не был.

В кустах глухой малины защелкал, запел тонкой флейтой голос славки, позвал Никодима. И он стал пробираться сквозь колючие кусты. Голос флейты хохотнул и исчез. Никодим поднял голову, посмотрел в пустыню неба.

— Эй ты, Буцуй, — крикнул Никодим, — исчезни!

Небо уронило деревянную игрушку-коня.

Никодим сел на деревянного коня и, ломая кусты малины, поскакал. А конь сам выбирал дорогу. Солнечный луч прорвал лохматый туман. Конь скакал по лучу. И Никодима легко подхватила детская радость свободы.

Неожиданно поднялся ветер. Сверкнул молнией кривой нож. Ударил Никодима и сбросил его с коня. Все сразу преобразилось в слякоть. Никодим полетел вниз. И заметался, утирая слезы. Сквозь слезы надвинулось знакомое, недетское лицо с каменным подбородком.

— Брысь! — как на кошку, крикнул Никодим.

Он сидит один. Смотрит на экран своего компьютера. И ему кажется, что он не здесь, а там, за пределами своей жизни.

— Не рассуждать! — командует сам себе.

Молодец, Никодим, повзрослел, охрабрел. Только не ты один такой удалец. Все чего-то высматривают. Храбро кричат туда, по ту сторону жизни:

— Эй, кто там?! Чего там?!

Хмурится в ответ голос:

— Зачем кричать? Мы все, в меру сил, храбрые, и смотрим, даже сочиняем свою версию земной жизни. И экран глядит на нас при любой погоде. Нормальная жизнь — рядом с нашей помойкой. Только потом надо сразу под душ. Чтобы все смыть...

2. Никодим ищет брата

— Мне холодно, — сказал Никодим, вглядываясь в даль.

А там — туман. Ему было холодно и грустно. Гадал, где ему быть: там, в глубине тумана? Если там, то почему не здесь? А если здесь? То, извините, где же синий, душевный лес? Никодим огляделся: кругом чужбина немеренная. Из глубины, из безразмерной глубины чужбины вдруг раздался крик:

— Брат!

А потом тишина. И опять:

— Брат!

Никодим вгляделся: где тот, кто звал? Никодим кинулся, буквально полетел. Там, с высоты, зорче видно. Только никого не разглядел. Внизу толпа лилась разноцветной рекой. Спустился. И сразу — хватить кого-то за локоть:

— Здесь я, брат. Вот он — я.
 — Отпусти, гад!
 — Поехал буфет, и хорошо, что буфет на ножках, вернее, на роликовых коньках. Поехал буфет — и хлоп! Кого-то опять задел, ударил, поддел и бесцеремонно — под зад. А тот взревел:
 — Ты чего, козел?!

А между тем уже лето. И опять дождь. И опять — осень, дождь, вернее, ливень. И опять — туман. Глухой туман.

— Брат, где ты?!

Ему никто ничего. Только тусклый свет фар сквозь туман. Шинкуют шины туманную жвачку.

— Ага, я понимаю, — соглашается Никодим, — родина в тумане. В большом тумане. Ага, это я понимаю, а меня-то зачем позвали?

Никодим с полным доверием опять:

— Не врубились вы, ребята. Где-то есть душевный лес. Может, к ночи небо сок пустит. Туман рассосется.

А ему, наконец:

— Ты чего, брат? Восемьдесят градусов плотности, как на Люсиновской. Да ты сам откуда? Да ты как не у себя... Эх, Никодим, как был Никодим, так и остался... Похоже, у нас свое небо, а у тебя свое. Вот и шагай в свое небо.

Никодим вздохнул. И не отступил. И шарил глазами звезды, даже пытался их посчитать.

— Ты, парень, какой-то юродивый, это — не звезды, это — компьютерный спам.

— Смотрите, кто-то поджег машины. Ну все, Люсиновская встала и горит.

— Люсиновская тронулась! И хоть шажками, а поползла. Хоть горит, а ползет.

И кто-то волевой, очищающий пространство, громыхнул:

— Иди, звездочет, теперь считай свои звезды. А то ты, брат, как не свой.

3. Никодим и море

Еще в детской своей слабости Никодим тянулся к морю. Взглядом. Прибоем. Волною. Чаек криком. Чаек лаем. И снова волною. Чаек качается лоскутное одеяло. Волною качается. Морским прибоем. Гальки накатом.

Накат волн. Взгляд дальше, туда. Взгляд в небо. Взгляд потянулся к горизонту. Из-за горизонта, из моря рождается желтая луна. Яичный круг луны. Никодим шагнул навстречу морю. Туда, к горизонту. Лунная дорога. Ступил на лунную дорогу. Под ногой зашуршали прибрежный песок и камушки.

Яичный круг луны, как теплая наспанная шелковая подушка, все ближе. Она зовет без единого звука:

— Иди сюда. За этим морем есть другое море.

Никодим отлично понимает голос луны. Он давно мечтал пуститься в странствие. Искал себя во Вселенной. Искал и не находил. Он стал по-своему молиться. День — ночь. Утро — вечер. Старик — юноша. Жизнь — бессмертие. Травинка — былинка. Зерно — дерево. Красавец — урод.

И опять упорно: травинка — пушинка. Травинка. Травинка. Листик зеленый, листик весенний — явись!

Он свернул в переулочек. И открылось ему фиолетовое поле люпина. Наклонившись, он вошел в фиолетовое море. И он перестал цепляться за твердое кольцо привычных слов: годы, земля, небо. И у него выросли крылья.

И он услышал знакомый глухой голос луны:

— Никодим, явись!

Он глубоко вздохнул, готовясь к прыжку.

Его крылья, напивавшись соками земли, напряглись. Он рванулся вверх, раздирая шелковую подкладку неба. А вслед за ним в разорванную бесконечность устремилось и люпиновое поле. И небо и земля соединились.

Никодим был сразу и здесь, на земле, и там, в фиолетовом небе.

Подул ветер. Его крылья подхватили ветер. Он парил и раскачивался на волнах фиолетового моря.

— Я здесь и там, — думал Никодим, — и вот, оказывается, какая бесконечность ждет меня: так это же море моего детства.

4. Ожидание утра

На небе замерли звезды.

Вулканы перестали вулканиТЬ.

Солнце перестало солнцеворотить.

Ждало (терпеливо).

По мобильному телефону кузнечики перестали кузнечить.

Все на земле замерло. И только сердце Никодима отмеряло время.

С т у к с е р д ц а

Гам птичьих голосов (синиц, овсянок, воробьев)

Поползли ящерицы

Земля рождала солнечные пузыри

Воздух в прозрачном лесу быстро нарисовал смешных зеленых человечков.

Они запрыгали, замахали зелеными флажками.

А в это время Океан накормил волнами берег. Закашлялся:

— Уж скатерти измяты

где же утро

где ж то утро.

И сквозь нарастающее ожидание:

— Да вот я! — разорвал ожидание ежик. И колюче поглядел вокруг. А в это время Земля сорвала ночную маску и задумчиво полилась сонной рекой.

Когда вдруг... (о, как часто случается — это вдруг!) зеленушка, пролетая над спящим Никодимом, задержалась и уронила нечто на лицо спящего. Он дернулся щекой, носом и открыл глаза, однако продолжал спать.

Как крепко спится в лесу, где решение таких важных тем (жизнь — смерть) не мешает, и чаша твоей жизни стоит полнехонька рядом с тобой. И Никодим, не понимая еще, где же он, поднялся.

А к нему навстречу, шатаясь, двигается мужик:

— Дай закурить.

— Не курю, брат, — отвечает Никодим.

А мужик ему — хрясь в рожу.

— За что?!

— А так, — и мужик пошел своей дорогой.

Никодим еще долго смотрел ему вслед. А в голове:

— За что?

И долго не мог выбраться из цепких лап обиды.

Выкатилась белая луна. И, как огромная белая печать тишины, замерла на краю неба.

Лес перестал дышать, широко задышал, а в небо полетели искры звезд.

Плутая среди деревьев, вдалеке слышался голос мужика:
 — Я тебе покажу, твою мать, кукушкин лес! Я тебе покажу, твою мать!
 Никодим шел, а в голове: ну зачем же к такой лесной благодати приплетать... Эх, вы... эх, я...

5. Упущенный миг

Выйдя из дома в девять часов утра, правда, с какими-то минутами, но это все не так важно, он улыбнулся и почувствовал, как улыбка на его лице застыла. Пробовал ее согнать: где там — она только чуть-чуть дернулась и опять — к губам.

Никодим не хотел ни улыбаться, ни смеяться. И плакать не хотел. Вытер слезы, продолжая улыбаться. Пожалуй, так с ним еще никогда не было.

Он посмотрел в сторону дальнего леса. Оттуда напозвала весьма значительная туча.

— Будет дождь, — сказал себе с улыбкой Никодим.

За тучей двигался голубой туман. Далеко, в тумане, кто-то пиликал на скрипке. И все же было видно, как там расхаживала девушка в длинном голубом платье.

Туча приблизилась. На землю с грохотом обрушились потоки дождя.

«Дождь-то смоев мою девицу», — с тревогой подумал Никодим.

Неожиданно ворвался стук колес поезда.

«Это последний, как бы успеть».

Никодим пытался бежать, да не получалось. Ноги вязли в грязи. Дорогу разбили трактора и машины, вывозившие лес. Едва слышен перестук колес уходящего поезда. Но вот уж только шум дождя. И он сам весь промок.

«Как я тут очутился? — он потерянно оглядывался, с трудом вытаскивал из глины ноги, стараясь ступать по колею, — как меня сюда занесло? Была моя жизнь, и главное — был тот единственный миг, а я его упустил. Ну ничего, я еще, я еще не старей... я еще похлопаю крыльями, и, может, догоню тот упущенный миг...»

6. Погляди мне в глаза

А дорога все поворачивала влево, и еще влево, дорога влекла. И негде было сесть, отдохнуть. Надо шагать. И он шагал. Упал. Поднялся. И снова пошагал.

Паслись коровы на лугу. На столбе объявление: «Граждане! Не оставляйте пустые бутылки!» Через километра три еще объявление: «Нам не надо кумиров. Мы сами кумиры».

Никодим поглядел хозяйским глазом. Ему не понравилось последнее объявление. И вдруг ворвался ветер. Решительный, в кепке, с прилипшей сигареткой в правом углу рта. И сразу забуянил:

— Эй! Гуляй поле! Шалай-валяй! Никто никому не указ! Кому в зубы! Кому в глаз!

И вслед за ветром пошли чередой мысли.

«Все сдвинулось: ни весны путной, ни лета. Да и зимой так наследят, снега не видно. Одно слово: шалай-валяй. Тьфу!»

Лазурь неба становилась все более прозрачной, по-солдатски пропахшей потом.

А Никодим увидел заполненный людьми зал, и оратор со сцены обращался к собравшимся с речью. И та речь переполнялась затаенными слезами искренности:

— Друзья, я хотел предупредить вас... (эй, из третьего ряда, не торопитесь записывать за мной), да, поверхность нашего океана — жизни...

— Тише! Дайте ему сказать.

— Поверхность уже всколыхнулась, я хотел...

В конце зала вспыхнули аплодисменты. И все в панике бросились к выходу.

В голове Никодима снова изменилась картина.

Он идет с кем-то, невидимым ему самому, с кем-то, кто ниже его ростом. Поэтому он наклонился, стараясь втолковать, донести до своего собеседника самое важное. Он намеренно громко кричит:

— Я чувствую земной шар подошвами ботинок. Не спеши меня перебивать!

А тот, маленький, еще больше согнулся и вроде бы не собирався спорить.

— Погляди мне в глаза, — горячился Никодим, — ну, видишь, там, ту сторону реки, где с зимы чернеет стог сена. Его осенью не вывезли, так он там, за речкой, стоит. Под ним мыши вырыли свои ходы. От лисиц и холода мыши под стогом хоронились, а теперь потеплело, и они шныряют, радуются, перезимовали, обзавелись семейством. Теперь им и их детям дожди нипочем. А для меня дожди хуже холода, а как тебе? А ты гляди, гляди мне в глаза. Херово мы с тобой, друг, живем.

Сквозь серость туч робко проглянул солнечный луч.

Никодим чихнул.

— Ну что? Будем по новой с мышами зимовать? Нет, друг, у меня хвоста, а то бы не стал ждать, уплыл бы куда подальше, к теплу поближе.

Маленький кивнул.

— Стоп! Ты что, поверил? Погляди мне в глаза, поверил, что я могу так просто все кинуть, крутануть хвостом и уплыть? Неужели поверил?

7. Метель такая, что жуть

Кругом безразличие черней метели, да еще у Никодима позвоночник заболел. Некстати все это, ох, нехстати. Он загудел по-лосиному, в надежде, что кто-нибудь его услышит. Отзовется живым голосом.

Вообще-то в последние годы Никодим завидовал деревьям: эти ребята живут в полном согласии с небом. Да не только деревья, даже у стелющегося кустарника своя, особая песня. Вот и Никодим вознамерился услышать и вплыть в лесную мелодию, причем так аккуратно, чтоб никого из людей не задевать локтями. И еще — такая фантазия: жить без никого, но с островами, то есть на каждый остров поселять свои воспоминания.

К вечеру повалил снег. Тяжелые хлопья снега висели на ветках. «Вот, снег, а я все один, то есть совершенно, — думал Никодим, — а кругом снег».

Он позвонил своей старой подруге по школе:

— Лерка, ты чего сегодня вечером делаешь? Может, забежишь ко мне? — и, не давая ей опомниться: — Жду.

Его охватило волнение:

— Помнишь то жаркое лето, там, на берегу реки?

Он не понимал: говорит ли он ей или себе.

— Такая кутерьма, почему мы до сих пор не вместе? Такая кутерьма, понимаешь, — это он уже ей шептал около двери. А может, чуть позже, даже когда они в комнате, даже когда ни он, ни она не успели ничего понять, — а помнишь, в газетном кульке, слипшиеся ягоды земляники...

Ее губы сделались лиловыми от страсти. А его глаза наплывали, и она почувствовала, что ей никуда не спрятаться. Да она и не хотела. И он был сразу здесь и там, на острове. И вода обтекала их.

- Помнишь, Остров Щавеля — так ты его назвал.
- Зачем это люди жмутся друг к дружке? Для тепла?
- Для тепла.
- А что? Отключили воду в доме?
- Ой, Ник! Мне надо бежать.
- Куда?
- Надо, Ник.

Его давно так никто не называл. И его сильно качнуло тоской.

- Я выбежала из дома, и все там оставила.

Он попытался опять ее обнять, но она выскользнула. Он выбежал из дома вслед за ней — и задохнулся от снежной метели. Он долго стоял, весь открытый ветру и снегу.

Вообще-то говоря, как я его помню (или создал), он всегда был без никого. Отрешенно жил. Выпивал, конечно, хотя особо пьяным я его не видел. Больше фантазировал, чем пил.

Как я его помню, в детстве, то есть совсем в детстве, он пускал бумажные кораблики по реке. И ждал, истово ждал, когда они вернуться. Такой фантазер: как же они вернуться, если течение?

Река. Лес. И хлюп болота. По лежневке если идти. Но это уж когда он пытал себя взрослой жизнью: то пальто, то телогрейка. А побочный, не главный ветер обтекал его жизнь, уносил прочь слова и мысли, впереди не видно было никакого Острова Щавеля. И только безбрежность. А он не уставал верить.

8. Тайна цветка

Ночь сгустилась перед рассветом. И, отрицая пространство, надвинулась тишина. Тихо-тихо высветилась нервная линия горизонта. Голубой туман медленно полз от реки, открывая дорогу дню.

День как день, и что-то подсказало ему: небо затаилось, готовое прыснуть смехом, скопившимся в недрах ночи. Быстро оделся. Пошел в знакомый лес.

Весна набирала силу. Никодим услышал в прозрачном воздухе быстрый прочерк птичьих голосов: жить... жить... фьють... фьють... Они густели, вздувались пеной к небу. Кружили и вокруг Никодима, свистели, смеялись, и во множество его ушей кричали: ты наш... наш... мы тебя поднимем, заколдуем...

И тогда к нему приблизилось видение возможного и невозможного. Видение будущей жизни, с таким же быстрым разворотом, полетом, промельком. И это все сразу — на дороге к лесу, как он только вышел на опушку, как только перебрался через овраг, по дну которого тек ручей.

И очень скоро, за оврагом, он увидел и подобрал птенца-вороненка, упавшего из гнезда. Смотрел на вороненка, затаив дыхание. Долго смотрел, не решаясь выдохнуть.

Птенец-вороненок слетел с его ладони. Сердито крикнул, широко раскрыв клюв, и запрыгал, запрыгал с раскрытым клювом.

И в этот момент Никодим увидел эту девушку, то есть он как будто ждал, что она проступит в лесном воздухе.

- А я вороненка нашел. Да вон же, прыгает. Я его опять...

И тут он заметил, что она не девушка, а девчонка, лет четырнадцати. Одета в телогрейку и серый платок.

Он наклонился, чтобы опять поймать.

- Не трогай! Не смей!

И девчонка уже просительно:

- Его мама тогда не возьмет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Я тут все знаю.

— Где это тут?

— А в лесу, — и зеленым глазом из-под платка на Никодима, — хочешь, тебе тайну покажу?

И, не дожидаясь ответа, пошла, не оглядываясь. И он покорно — за ней. А она уверенно шагала в своих резиновых сапогах по жухлой листве в глубь леса. И, не поднимая головы:

— Видишь, листья на большом дубе засохли, а держатся, хоть и зима была лютой, до новой весны. А сейчас совсем замри. Закрой глаза. Я тебе скамандую, когда можно...

И девчонка взяла его за руку, осторожно ступая, повела. Кутерьма еловых веток, еловых иголок била по лицу. А он слепо, покорно шел.

— А теперя, — она растягивала слова, — а теперяаа — давай!

Он увидел прямо перед собой, на сухом стволе куста, живые ярко-красные цветы. Они так горели в холодном весеннем воздухе, что он как бы услышал треск огня.

— Здорово?!

— Ага, — искренне выдохнул Никодим.

— Не моги трогать! — и шепотом: — Смертью помрешь, понял?

И он, тоже тихо:

— Как их зовут?

И она, доверительно:

— Волчье лыко.

— А тебя как?

— А меня просто, — она громко. — Лесная шишига.

— Так и звать?

Вместо ответа она легко поднялась и невысоко полетела над захмелевшим весенним лесом.

Он шел без дороги среди кустов.

Красный цветок, и называется по-лесному: Волчье лыко. И он шел, не замечая, как его ударили ветки, повторяя:

— Волчий знак, вольный знак...

Он посмотрел на небо. Оно потемнело. Удары хлыста холодного ветра. И лес подчинился легко, без глупостей. Дождь рванул со всей силой, без никаких тормозов.

По темному небу набирал скорость поезд дальнего следования. В вагонах уже светились огни. Кто-то укладывался спать, а кто-то отодвинул белую занавеску. Ему показалось, что к стеклу приплюснулось лицо девчонки. И она неотрывно глядела на уплывающий в дождь лес, а поезд все креп стуком колес, все наливался и наливался свистом, светом и скоростью.

9. Нет ответа

Накинул вместе с дождем (нет, из дождя) плащ с капюшоном. Оттого сразу сделался ходячей тенью, может быть, францисканцем, а может быть, палачом, прячущим глаза, а может быть, вообще, плачущим старцем, который на грани жизни.

И вдруг Никодима озарило: он может сразу и плакать, и утешать. Если он старец, тогда он близок к звездам, даже самым далеким.

«Но ведь это не значит, — рассуждал Никодим, — что он не знает, как людям свойственно плутать в земном тумане».

Из сырого тумана вырывается к небу ласточка. А небо еще не закрыло туманом, и небо прозрачно, и он в прозрачном видении следит за ее полетом. И он видит, как свободно она парит, камнем летит вниз, и снова — в небо, снова кружит. Небо. Ласточка. Земля. И почему же смерть? Зачем же боль? По-волчьи готов завывать от тоски. Он старается, чтоб никто не увидел его слез. Незаметно вытирает глаза. От слез его взгляд стал как разрушенная крепость. Цитадель разрушена, рядом в канаве валяются выпавшие из крепости камни. Но стены еще стоят, хоть пробилась среди камней трава, а наверху стены поднимается тонкая березка, пустившая там корни.

Непролазная осень. Тепло только внутри, в самой глубине дождя. Под дождевым капюшоном. В глубине крика:

— Спасите!

А на дворе своя жизнь. Двор забит машинами. Только маленькая площадка для детей. Качели. Деревянный макет ракеты. Рядом — такая же деревянная горка, по которой дети скатываются вниз. Отряхиваются и почти без крика снова лезут. Снова скатываются. И крики взрослых:

— Лелька, иди обедать!

— Сережка, ты зачем это?

Автомат холодным, отстраненным женским голосом:

— Ждите ответа. Ждите ответа. Ждите ответа.

А мы ждем. Ибо мы такие. Ибо мы ждем. Ибо мы умеем ждать. И Никодим вспомнил строчку Мандельштама: «Слепая ласточка в чертог теней вернется». Ник несколько раз повторил вслух:

— Слепая ласточка, слепая.

И залез на детскую деревянную горку, и, прежде чем съехать с нее, он с отчаяньем подумал о близости смерти. Смешно? Зачем же ему умирать? Просто глупо, просто нелепо. Он съехал с горки. Оглянулся, не заметил ли кто его в этот момент. И озабоченной, серьезной походкой взрослого человека пошел к своему подъезду. И, пока шел, думал: как глупо, что уже долгие годы он живет с мыслью о смерти. Так нельзя, с этим пора кончать, то есть непременно.

На краю дома он увидел рыжую водосточную трубу. Из нее с грохотом лилась вода.

«Кто обо мне узнает, когда меня смоеет дождем?»

Он подошел к своему подъезду. И медлил входить. Он ждал, и если спросить — кого, он не смог бы ответить.

— Какой ливень, ей-богу, думал, что смоеет, шальной, а? — человек счастливо улыбнулся Никодиму. — А вы чего? Кого ждете? — человек закрыл зонтик и вошел в подъезд.

При тусклом свете лампы в подъезде Никодим узнал Затулина. Про Затулина мама рассказывала Нику. Это у них с мамой была такая игра-страшилка. Странно, но Ник в детстве тяжело засыпал. Мама тогда пугала: не будешь спать, придет Затулин. Какой он, мама не уточняла.

А еще бывало так: вокзальная суматоха, и вдруг Никодим среди пассажиров его видит, то есть ему кажется, что увидел или вспомнил:

— Простите, вас не Затулин зовут?

— Извините, я ошибся, вы так похожи на того, кого я видел во сне.

— Тогда иди и проспись, чего ты меня за рукав держишь?

— Извините.

«Ладно, чудить не будем, — сколько раз себе говорил Никодим. — Пусть так. Но почему — Затулин? Почему какой-то Затулин прилепился к тебе? Почему это имя долгие годы, с самого детства, не забывается?»

— Не знаю, — сам себе ответил Ник и послушал, как Затулин вошел в лифт. Закрылась дверь лифта. На каком-то этаже хлопнула дверь. — Ушел?

Никодим себе:

— Может быть.

— Тихо.

— Ага, тихо.

10. Репетиция

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Что за чудище эта машина?

Ник еще с утра чувствовал недомогание: голова вроде как не своя. И это предгрозье, и пятна и полосы перед глазами. Он вспомнил, что прочитал: «Каучук — это смерть». Где прочитал, как бы неважно. А главное — при чем здесь каучук? Да, а голову надо бы поскорей закрутить полотенцем. Чтоб было как можно крепче и белей. А зачем? А вот испытай это на себе, попробуй... и почему-то белые мышцы перед глазами. Шатаются по городу, зашли в японское кафе, конечно, хотели бы в ресторан «Япона мама», но там с тебя семь шкур спустят, проще в кафе, и белые мышцы туда шмыгнули, сели за столик и вилками — тюк-тюк, тихонечко, да настойчиво:

— Эй! Кто-нибудь подойдет в конце-то концов?

И тут же другое: как пальмы попали в Сахару? Собственно, финиковая пальма — единственное дерево, живущее в пустыне. Это — факт. Но почему так болит голова, даже кружится? И еще хочется вздохнуть, а чего-то не... и Ник открывает рот и странно смотрит на себя со стороны: вот так рыба выброшена на берег. И он посмотрел в небо — бездонная лазурь.

Все растения хотят пить, то есть просто умирают, как хотят, так чего вы стоите, налейте им...

И тут же задумался: а если бы я обратился с предложением к алкашу Леше, то есть напрямую, в лоб:

— Леша, тебе чего налить?

Смешно. И вот что еще: рвется у меня связь с собой, любимым, с дорогами, и ой как душно!.. а кругом, вроде бы, не так гудит... Ник послушал и торопливо вздохнул, и потянуло ко сну, и, чтоб не рухнуть в сон, он ткнул ботинком воздух. Ага, вот что интересно: эти самые египтяне, то есть древние, из папируса, вернее, из стеблей папирусов, то есть мы-то знаем бумагу, а они, то есть древние египтяне, умудрялись строить гробы или даже сандалии, а Ник ботинком пнул воздух, то есть это он как бы осмелился, и сразу вспомнил, как он еще утром вскочил (а, между прочим, он спал без трусов), и то, что внизу у него, наливалось силой.

Но тут опять загрохотало...

Никодим закрыл голову одеялом. Кошмары полились ручьями. Они с шумом вливались в одну реку. А та река тяжело задышала, и Никодим услышал: воздух, мне нужен воздух, я задыхаюсь.

Впереди — река, но странно: он не почувствовал утренней свежести. И он понял: мешал шум, и надо поскорее его убрать, и это он понимал, только как это? Ноги ватные, перед глазами радужные круги... И он судорожно стал шарить руками с надеждой кого-то ухватить, кто должен в эту душную минуту быть рядом, то есть спасительную руку, с кем он обручен, хотя бы звуком.

И он закричал, такой всегда стеснительный, а тут властно, потому что там, внизу, наливалось, крепло с каждой секундой:

— Дай руку!

И, поменяв жесткость, просительно, что ему и было свойственно:

— Милая, дай, пожалуйста, руку.

А, не услышав ответа:

— Прошу тебя...

А за окном опять загудело. И дохлой рыбой он упал на пол.

И он не помнил, как шептал:

— Капут, Ник...

Он не знал, сколько лежал в отключке, когда к нему пришел сосед, электрик Вася:

— Вставай, парень, во как нас опрокинуло. Поднимайся, слышь, не гремит. Теперь до следующего раза. Бог милостив. Ты на Бога уповай. Всевышний должен их на ум наставить. Ведь мы же с тобой люди, а не так чтоб мусор.

Он сел рядом с Никодимом на пол.

— Я захватил. Стаканов не надо. Мы с тобой люди отдельные, женских девок нет, так мы из горла. Вроде, у них в репетиции перерыв, и нам, значит, облегчение.

Он, отхлебнув из горла, крутанул бутылку, передал Никодиму:

— А я смотрю, у тебя дверь не закрыта. Вот это надо на зубок помнить: в такие времена дверь не запирают. На всех воздуха не дадут.

— Что за репетиция? — Никодим выпил, отдал бутылку.

— Ты почему объявлений не читаешь? Специально у подъезда вывешено: «С 8.30 до 13.30 по техническим причинам будет произведено отключение воздуха».

— Как это?

— Словами объяснить? — и Василий понизил голос до шепота. — Насчет бомбы, в случае чего, вентиль перекрывают, такая тренировка. Р е п е т и ц и я. Понял теперь? Тебе надо установить в квартире счетчик воздуха: сколько ты в сутки потребляешь. Если лишнее — плати. Не будешь — повестку в суд, и отвечай по закону. Впаяют по всей строгости. А что у нас духота — не их забота. Эх, были времена, выйдешь весной, а за речкой в кустах соловей гуляет песней. Другой раз захлебнешься вольным воздухом. Общежитие свободно, хоть пой, хоть в домино. А теперь с этой репетицией нам, парень, бобрик выстригли.

— Вась, а ты мне поможешь со счетчиком? Не знаю, где купить. Да и установить не смогу.

— Бутылку поставишь, и сделаем.

Никодим с трудом поднялся с пола.

Он и без Василия теперь понимал: лес и прочее — крестом, причем большим.

Время учит. И Ник ногами стал ступать осторожно. В голове у него путалось, как от вращающейся крутизны. Забывал, какой день недели. Плохо засыпал. И каждое утро ждал гудения. И только услышав, падал в сон.

Свет в комнате он, конечно, не зажигал. Понимал — не то время. Теперь — мобилизация и никакой слабину! Хватит петь о смертном часе! Сожмем кулаки! Прекратите крики на крутых поворотах! Экономьте электроэнергию! В метро он крепче держался за поручни. Стойте справа, проходите слева. Как поется в известной песне: «Не бегайте по ступеням эскалатора!». Кто не с нами, тот против нас. Ночью все кошки серые — все эти истины особенно важны в такие судьбоносные минуты.

Еще сохранилось немало тех, кто отлично помнил безалаберно-жирный городской пейзаж, когда воздуха хватало каждому, и даже чувствовалась близость леса, реки и прочие тонкости свободного вдоха и, соответственно, выдоха.

Требование подтянуть потуже пояса застало Никодима врасплох. Его раздражал, буквально выводил из себя шум на улице. И он решил побороть страх и встретиться лицом к лицу с чумой XXI века.

Ник стал судорожно рыться и искать в старинном комодe, на верхней полке, очки с затемненными стеклами.

И ворвалась в его память деревенская песня, которую он помнил с детских лет:

А я гляжу в окошечко,
А я гляжу в косяще-то,
А и кто это там к нам идет,
А через речку-то бредет,
А в речке той камушки,
А камушки те склизкие,
А у парня кепочка,
А да с козырьком,
А да повернута,
Туда-сюда, туда-туда,
Да и сюда-сюда... Эх!..

И Ник не успокоился, пока не нащупал очки. Быстро надел. Взял с вешалки кепку, да тут же отбросил. И натянул вязаную шапочку. Натянул ее пониже.

Теперь так. Куртка. Резиновые сапоги. И все равно Ник чувствовал себя обнаженным в этом новом миропорядке, что неумолимо приближался. Так поезд приближается. Светит фарами, вернее, одной прожекторной фарой посреди лба.

Ник рассчитывал выйти так, чтоб никто его не заметил. И, соответственно, он — никого.

А между тем гремело все сильнее. И что поразительно — это не воспринималось, как нарастающий гром небесный. Хотя Ник не удержался и посмотрел на небо. Небо скукожилось. Шум впился в небо острым носом комара. Укус оказался столь болезненным, что небо завыло, задержалось и в конце концов заплакало.

— Не позволю! — вдруг крикнул Никодим.

Он не знал, кому угрожал, да и сам не понимал, почему обозлился. И в этот момент он увидел источник шума. В тумане начавшегося мелкого дождя ЭТО показалось ему ужасным монстром-горой с огромным изогнутым хоботом.

А он в своей шапочке — такой маленький, а ЭТО — такая крутая гора. И он сразу забеременел медвежьим страхом:

— Живот, живот схватило!

— Решили лично познакомиться? — чья-то рука сбила его очки.

Никодим близко увидел Затулина.

Не хотелось бы уточнять про штаны Ника. Удивительно другое — откуда появился Затулин? Он что? Следил за Никодимом? Может быть, так тесен мир?

А уже на следующий день в открытую дверь квартиры Никодима влетела стальная сигара. Она покружилась по комнате:

— Ху ис мистер Никодим Криукофф?

— Это я.

Сигара упала на Никодима. При этом он ощутил не тяжесть металла, а упругое девическое тело. Тут же возникли длинные мускулистые ноги. Они сдавили ноги Никодима. А в верхней части сигары раскрылись полные красные губы, они впнулись в губы Никодима с такой силой, что он задохнулся. На мгновение он вырубился.

— Дыши носом, отверстие рта для дыхания отключи, — приказали губы. И дальше губы приказывали четко, как бы выписывая рецепт крупным врачебным почерком, не участкового врача, а заводделением, причем определенно, без излишеств:

— Работай языком. Быстрее! Еще быстрее!

Никодим ощутил, как внизу живота все напряглось, стало железным. Сигара выпустила, приняла.

— Хочешь, чтоб я охала, или ты сам?

— Я сам. Сам. Сам... ооо... а как тебя зовут...

Его трясло... оща... още... еще... еще... Ничто не опадало под луной, вернее, под горячим блаженством, и он, как лодочник, греб под ударами ветра... и сирень и страсть... и как же тебя зовут...

И он слышал:

— Эльвира. Можешь называть меня Эля.

— Эля, оставайся. Нам с тобой так хорошо, такое слияние... Мы с тобой уносимся в танце. Стремительно...

Он перебрался вверх. Теперь уж она заохала.

— Эля! Эля! Я руку и сердце! Как?! Ты уже встаешь?!

— Где у тебя свет в ванной? У меня еще семнадцать стыковок.

— Эля, не уходи. Прошу тебя. У меня есть небольшие средства. Мне тетка присылает.

— Денег не беру. Фирма оплатила. С этим строго.

— О чем ты? Какая фирма?

Она протянула бумагу.

— Распишись, — и протянула ручку.

Он взял ручку дрожащей рукой.

— Ниже. Еще ниже, где галочки. Распишешься за двадцать семь стыковок. Не возражаешь? Вот тебе список фамилий. За них расписывайся, только почерк крючками меняй. Я, как медроботник, люблю точность. У меня девочки работают. От всех требую честности. Девочки проверены. У нас контингент широкий, иностранный: китайский, американский, финский, шведский, канадский и прочее. Ты работай, пиши. Все чисто.

— Это как?

Она не ответила.

А он заплетал ликование. Слушал и плохо понимал, ловил и не мог поймать смысла ее слов:

— У нас известная фирма. «РЕАНИМАЦИЯ — БУМ». А у меня еще сегодня семнадцать стыковок. Ну, чао! Не забывай дышать носом, — и она, снова превратившись в стальную сигару, вылетела через дверь.

Он лежал и сочинял стихи. Такие, чтоб обязательно была рифма:

Интерпретация — бум

Дискриминация — бум

Разочарование — бум

Светопреставление — бум

БУМ! БУМ! БУМ!

С дымящейся мордой

С перекошенной мордой

И зеленым горошком

Зеленым горошком

Катятся люди

Испугавшись стихии дождя

Машина в городе перестала гудеть, а в душе Никодима не исчезал след от прилетавшей сигары.

Там, где небо сходится с землею и без ненужных хлопот поднимается солнце, нежность рождает нежность. И нет никого, кто бы четко сказал: что такое любовь?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прибор

Через несколько ударов времени у Никодима опять появился электрик Вася. А у Ника уже разбег был: бутылка, и на этот раз Ник стаканы принес. Они выпили. Сперва делово, молча. У Василия открылась широта взора:

— Тебя как по отчеству?

— Феликсович.

— Заломил себе имя папаша. Железный мужик его тезка. Читал про него. В шинели. А в кармане у него браунинг. Приведут к нему шпиона. Он в него стрелял прямо из кармана. Хлоп. И командует: «Следующий!». Ел только селедку. Ничего себе не позволял. Пил исключительно воду. После селедки неразличимо на воду тянет. Это понятно. Что интересно — никогда не садился. Даже спал стоя, как лошадь.

— Ну ты, Вася, сочинитель. Как тебя-то по отчеству?

— Меня-то просто — Иваныч.

— Наливай, Иваныч. Принес что обещал?

Они выпили. Не торопясь, Василий открыл свой чемоданчик. И вытащил жестяную коробку, завернутую в голубую майку. А из коробки достал железную тыкву.

— Вот тебе и прибор.

— Слава тебе, Боже, — мысленно сказал Ник, разглядывая черную железную тыкву с торчащими проводками.

— Тащи стремянку, — приказал Василий.

Василий вынул из чемоданчика отвертку. Залез на стремянку вместе с тыквой. Приложил отвертку к проводам. Внутри отвертки загорелась лампочка.

— Норма. Есть земля. Будем устанавливать. Сейчас ставлю прокладку, и будем включать.

Он приложил конец тыквы к потолку недалеко от электросчетчика. Тыква проснулась. Глубоко вдохнула и присосалась к потолку. Василий Иваныч соединил проводки, прибор-тыква тяжело задышал. Закрутился.

— Не балуй! Ты чего бунтуешь, дура. Все одно встанешь, — Василий Иваныч засопел. Ударил тыкву отверткой. Та вспыхнула огнем весенней сирени. Погасла. Внутри ровно заходила стрелка.

— Слышишь, как тикает? Набирает воздух. Как нажрется воздуха, полетят стрекозы с озерца. Там такое лесное озерцо глядится, сильно заросло камышом и кугой. Я когда дома включал, не сразу и разглядел. Потом присмотрелся, даже услышал: рыбешки выскакивают, мелочь, с палец, может, чуток побольше. Долго глядел, когда луна поднялась, тогда только разглядел. В общем, ты теперь сам смотри, это тебе будет вместо телевизора, передача «В мире животных».

— Опять чудишь, Иваныч. Ты лучше скажи — дышать мне только носом?

— Чего есть, тем и дыши. Зачем я тебе прибор поставил? Слышь, машина не гремит. Они, ты думаешь, отступились с репетицией? Нет, парень, не такие, как у нас с тобой, головы думают. Наши теперь не отступят. Бесшумной маши-

ной сосут воздух. И машина в бункере. Не увидишь, не услышишь. Давай еще выпьем за наших, за науку.

Они выпили.

— Если что не так, звони. Запиши мой мобильник. Да, я тебя еще хотел предупредить. Там, под прибором, я поставил такую металлическую шоколадку-магнитик. Это чтоб ты не брал в голову, сколько надышал. Он будет крутить стрелку взад. Я придумал, как ограничитель поставить. Это если придут с проверкой, у тебя — порядок. Ну, бывай, хороший ты парень, Феликсович.

— Постой, а деньги? Сколько за все?

— Деньги — мусор. Сколько дашь — и хорошо.

— Нет, Иваныч, так дело не пойдет. Скажи, сколько — за работу и прибор.

— Я тебе чек покажу. У меня чек на прибор.

— Не надо, Иваныч, тебе какими — деревянными?

— Которые инфляция?

— Я, Иваныч, нашим банкам не доверяю, держу деньги не в банке, а между страниц в книжках. Деревянные, возьми у поэта Николая Олейникова.

Когда ему выдали сахар и мыло,

Он стал домогаться сеledок с крупой.

Типичная пошлость царила

В его голове небольшой...

Как, Иваныч, нравятся стихи?

— Нет, так каждый напишет.

— Каждый, да не каждый, за стихи его в нужное время расстреляли. А у Пушкина я держу другие деньги. У Пушкина — мое все. Тетка присылает.

— Из Саратова?

— Почему из Саратова?

— Так говорят.

— Ага, из Нью-Саратова.

Богат и славен Кочубей.

Его луга необозримы.

Бери из Пушкина Александра Сергеевича сколько тебе надо. Нашел?

— Запросто. Будешь считать?

— Нет. Ну, спасибо тебе. И привет тетке.

— И тебе спасибо, что выручил. Позвоню.

Прошло не так много ударов времени. Ник все чаще тянулся взглядом к потолку. Прибор излучал не только серебристый свет проточной воды, но и запах распаханной земли. Ник спал чутко, часто просыпался. Постепенно между Ником и Прибором возникла связь.

Ник вскакивал с постели, и, neodетый, бежал смотреть на Прибор. Он теперь стеснялся спать без трусов. Все-таки теперь не один.

А Прибор жил своей отдельной жизнью. И все громче постукивал, распуская по комнате наркотический запах сырой земли, отчего у Ника кружилась голова. Их отношения, поначалу такие радужные, быстро ухудшались.

Ночами Ника мучила бессонница. Он слушал, как там, на потолке, шумит лес, падают деревья под ударами ветра.

«Это уже серьезно, не стрелка шалит, какой-то лесоповал, буря, что ли? Надо позвонить Василию Иванычу, правда, сейчас ночь. Скажите на милость, с какой стати я должен терпеть? Это моя квартира, а этот так называемый Прибор обнаглел. Я, кажется, схожу с ума, так больше не может продолжаться».

И, не зажигая света, двинулся к буфету, где в левом ящике лежали инструменты. Ник вытащил молоток. И взял стремянку. Установил. Полез с молотком

в ту часть коридора, где в серебристом лунном свете горел Прибор. Ник размахнулся молотком.

— Положь инструмент! — раздался твердый голос.

Ник бросил молоток. Тот с грохотом упал на пол.

Ник спустился вниз. Поднял молоток. И, не зажигая света, спрятал молоток в ящик.

Поглядел на Прибор. Лунный свет только на мгновение мигнул. Ник почувствовал сразу и страх и ненависть.

«Гадина, даже не рассмеялся!»

Утром Ник позвонил Василию Иванычу.

— Василий Иваныч, зайдите, пожалуйста.

— Чего так вежливо? Прибор барахлит?

— Нет, вообще, давно не встречались. Может, выпьем?

— Я теперь не пью.

Ник не ожидал такого удара. Наступила тягостная пауза. Пока Ник не догадался спросить:

— Заболели?

— Ни в коем разе, а зайти можно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Иоани Целитель

Новое посещение Василия Иваныча произошло не в тот же день. Нику пришлось набраться терпения.

— Рассказывай, чего стряслось?

Вместо ответа Ник, осторожно шагая по коридору, показал глазами на Прибор.

— Василий Иваныч, убери. Я с ним не могу. Сейчас он тихий, а ночью — лесоповал, — и, шепотом, — буря. Он меня со света сживет.

— Ты чего-то, Феликсович, не то мелешь. Может, ты лишнего выпил?

Ник покачал головой:

— Уберите, Василий Иваныч.

— Ты ротом можешь дышать?

Ник кивнул.

— А носом?

Ник снова кивнул, и опять со слезой:

— Прошу, Богом молю.

— Ладно, тащи стремянку. У тебя фонарик есть? Контакты проверю.

Открыл свой чемоданчик. Достал заветную отвертку с лампочкой внутри.

— Держи стремянку. Сейчас мы его проверим, какая у него там буря.

Василий Иваныч потыкал отверткой:

— Ага, нашел твою бурю. Контакт маленько отошел. Потому на вдохе искрило. Я подвинтил. Бурь не будет. Магнит на месте, стрелка назад работает. Я все контакты проверил. Теперь Прибор живой. Дыши на полную. Я тебе еще озона добавил. Чтоб у тебя с воздухом без проблем. Прибор у тебя высокочастотный. Кремень, а не Прибор. Так что, Феликсович, не умствуй лишнего, — он слез со стремянки, — отнеси на место.

— Василий Иваныч, пойдём на кухню, посидим. У меня бутылка. Отметим.

— Я же сказал: не пью.

— Нет, так не по-людски, Василий Иваныч.

— Ладно, чаю с тобой выпью. И мне еще работать надо, рассиживаться некогда.

Они уселись на кухне.

— Сколько я тебе должен?

— Даже не думай. Чай, и все. И сахару побольше, я теперь люблю, чтоб сладкий, ну и горячий.

— Крепкий?

— Да уж, не жалея заварки. А насчет Прибора не дергайся. Воздуха тебе — от пуза. Ветряк, а не Прибор. А то ты, как еврей, — все мало ему, да не так. Может, в тебе кровь еврейская? — засмеялся Василий Иванович. — Признайся, парень. Я ведь не против длинноносых чесночников. Я тебе больше скажу...

Вдруг Василий Иванович замолчал и уставился на Никодима:

— Погляди на меня...

— Чего?

— Нет, ты гляди. Гляди во все глаза.

— И чего?

— Сколько мне лет?

— Не знаю, наверно, сорок есть.

— А не хочешь — шестьдесят пять. И кто мне это устроил? — Василий Иванович поглядел победно, — еврей длинноносый, доктор Быков Иван Савельевич. Я его на еврейский манер звал — Иоанн Целитель. Погиб он в прошлом году, попал в аварию. Так что Царствие ему небесное, — Василий Иванович перекрестился.

Никодим молча наблюдал, как тот, обжигаясь, пил чай.

— Да, Феликсович, Бог един, что у нас, что у них. Я тебе больше скажу: я за этого еврея до конца дней молиться буду. Пришел я к доктору с язвой. Помогите, болит, стерва, ночи не сплю. Я тогда не на шестьдесят пять, а на все семьдесят пять гляделся.

Василий Иванович допил чай. Никодим ждал продолжения. Василий Иванович понизил голос:

— Открыл он мне их еврейский секрет молодости. Возьмите десять головок чеснока. Мелко нарежьте, залейте спиртом. И в банке держите восемь дней. Настой держите в холодильнике. И пипеткой двадцать капель с небольшим количеством воды, перед каждой едой за двадцать пять минут. Попробуйте, может, поможет.

— Я вижу, помогло.

Василий Иванович засмеялся:

— Стрелка сильно пошла взад.

Никодим вынул из буфета бутылку.

— Василий Иванович, давай за помин его души. Между прочим, в Святцах имя Иоанн — благодать Божия.

Василий Иванович встал.

— Царствие Небесное! Вечный покой!

Как и положено, не чокаясь, они выпили.

11. Чужой или свой?

К девяти утра Никодим побрился. Вылил на воспаленную голову кастрюлю холодной воды и почувствовал себя вновь бодрым, молодым. Попытался вспомнить сон, который его напугал. Кажется, кто-то протянул руку из тумана. Попытался его схватить за горло. Но он не поддался.

По стеклу полосовал дождь. Он глядел в окно, и, как перед зеркалом, строил рожи. Смеялся долго, пока его не стало мутить. Ему показалось, что там, в тумане дождя, кто-то неподвижно стоит.

И крикнул в мокроту утра:

— Отойди!

Подождал и снова крикнул:

— Отойди!

А тот не поддался словам. Тогда Ник не для того, а для себя:

— Ты, видно, незрячий?

По стеклу сильнее застучало слепым дождем. Без передышки, осенним, темным.

Это еще в детстве. Мать говорила:

— Не будешь есть — отдам Затулину. Он быстро все сметелит.

Ник торопливо ел. Иногда смеялся:

— Врешь, нет никакого Затулина.

— Как же нет? Вон он, гляди лучше.

И однажды Ник его увидел, углядел.

В какой-то момент так углядел, что увидел в том, чужом, свои мысли-желания. Они стали часто встречаться. Ссорились (не могли разойтись, оторвать себя один от другого).

— Чего не даешь пройти! — крикнул Ник и ударил того кулаком в лицо.

Затулин прижал руку к губам. Из-под пальцев потекла кровь. Затулин посмотрел на свою руку. Потом вытер руку о рубашку. На рубашке красный след.

— Извини, — сказал Ник (сам не понимая, зачем он так).

— Ничего, бывает.

— Ты в шахматы играешь? (примирительно, стараясь не глядеть в лицо Затулина).

— Немного (тот отвел глаза от красного пятна на рубашке).

— А короля с королевой не перепутаешь?

— Король, кажется, выше. А может, наоборот. Когда ты расставишь фигуры, я посмотрю, как у тебя. Давай попробуем (улыбнулся).

Это была одна из первых их встреч. Самые неприятные — ночные посещения, они окрашивались сновидениями, и трудно было понять, где кончался сон (а может, сон и не кончался, кто знает?). Невнятно бормотала река на перекатах. Опять колотил слепой дождь...

Он рывком открыл дверь. Хотел пройти дальше. Не смог.

На пороге неподвижно стоял Затулин.

В последние месяцы мать Ника болела и не вставала с дивана. Она крикнула:

— Отойди от него. Зачем ты к нему лепишься? Не видишь, он не свой.

— Как не свой? А глаза?

— А что — глаза?

— А то — затулинские глаза. Вон как глядят. Не глаза, а огонь неугасимый.

Ник расстегнул молнию на куртке. Пошевелил ушами.

Это было смешно (всегда смешно). Затулин даже не улыбнулся.

— Ты дашь пройти?

— Ладно, — сказал Затулин, — надо собираться. Ехать долго, а то тут... — не dokonчил, махнул рукой. И отошел в сторону.

Гудела дудка. Бил барабан.

Ник выскочил на улицу. Увидел, как по улице шли люди. Человек восемь — десять. Они несли два плаката. Ник прочитал на одном из них написанные от руки слова: «Они воруют наш воздух». На втором — одно слово: «Позор!». Ник

прижался к стене дома, поднял воротник пальто. Люди прошли мимо. Ник еще долго смотрел им вслед.

Вернулся домой. Свалился на диван, закрыл глаза. Постарался уснуть, чтобы это поскорее спрятать в глубине сна. В последнее время ему многое снится. Лучше забыть. Жить сном. Мало ли что померещилось.

Река закуталась в крепкий утренний туман. Шагнуть в глубь тумана было страшно и как-то неповадно: не для того он, туман, укутал реку, чтоб его тревожили, прорывали.

Ник шел вдоль реки, вдоль границы тумана, и не заметил, как эту границу раздвинули, точно в театре занавес, и обнажилась река. Ее холодное, утреннее тело полоснуло по глазам. Ник повернул голову и увидел опять Затулина. Тот неподвижно сидел на траве лицом к реке.

— Эй! — крикнул Ник.

Затулин исчез. Там, где он сидел, лежала коза, привязанная на длинной веревке, и задумчиво жевала траву.

12. Володя и Ася

Это всегда такой ветер — любовь. Всем есть дело. Чтоб не в дырочку в бане, а, можно сказать, все одно — в дырочку, в самую душу. На голых девок и теток глядеть, как те в бане моются, трут друг дружке спину, и знают, что на них глядят, так задницами не поворачиваются, не прикрывают ничего себе, а даже наоборот — тьфу! — на что глядеть, а то в Интернете мы такого сайта не видели, дуры старые и молодые, дуры, дуры, дуры и прочее...

У Володи такое физическое чувство — без Аси нет его. Без Аси просто гибель. Любовь — не любовь, а жизнь в одно дыхание.

И зачем Володя заглянул в интернетовскую дыру? Зачем кликнул мышью порносайт? Да, кликни мышью — и откроешь порносайт... доступен...

Володя приник к дырке в дощатой стене Интернета и близко увидел девушку, которая обнимала Асю, сплелась с ней, переплелась, как змея в скульптуре Лаокоона. И он увидел сквозь туман страсти глаза Аси. Глаза, будто за край, через край страсти, эти невидящие, видящие глаза вдруг натолкнулись, увидели его. Ему так показалось, и он отшатнулся от дырки.

И побрел вдоль дощатого забора Интернета, и такие мысли — перелезть через забор. Влезть в Интернет. Оттащить. Задушить. Что-то надо было делать.

И вспомнил баню в Ташино, свои горячие детские ладони, когда он смотрел через дырку на девок. И у него в голове прыгал веселый мотивчик: «Помню городок провинциальный, тихий, захолустный и печальный... Церковь и базар...».

Он долго шел вдоль интернетовского забора, рядом — овраг, по дну оврага стекал бессердечный вонючий ручей. Желтый вонючий ручей вытекал из больницы. А по краям оврага росли белена, желтые кулачки пижмы, белые цветы аптечной ромашки и розовые метелки кипрея, вся эта бросовая трава переплелась с вьюнками, лопухами и крапивой, перепуталась, мешала идти.

Он вытащил мобильный:

— Это справочная? Мне службу психологической помощи.

Набрал номер. Услышал:

— Говорите. Мы слушаем вас. Говорите. Ваш звонок важен для нас. Говорите.

— Извините, я неправильно набрал.

— Да вы не стесняйтесь. Рассказывайте, ваш звонок будет сугубо конфиденциальным. Говорите.

И он спрятал телефон:

— Черт! — подумал. — У них, наверное, определился мой номер.

Повернулся, увидел Затулина. Тот смотрел прямо на Ника:

— Ты что-нибудь знаешь о Володе с Асей? — спросил Никодим.

— Ага.

— У них любовь?

Затулин кивнул.

— Давно?

— Не знаю, как давно, но слышал, что они расстались. Недели две назад, причем без криков и взаимных обвинений.

Никодим резко развернулся и пошел, гремя песенкой: «Помню городок провинциальный... Церковь и базар...»

— Эй! Ты, может, знаешь, почему?

13. Полнолуние

Луна высоко задрала рубаху на ночном небе. Обнажились бледные жилистые ноги. Она вскидывала их, приплясывала так бесстыдно, что смотреть было совестно. С какой такой радости?

А у нас нынче праздник — полнолуние: все небесное законно гуляет.

В полнолуние мы все чего-то ищем, а найти не можем, мерещится счастье, и где-то зарыт клад. Какой-то такой клад? Никодим только знал, что он пахнет лунным светом и степным вихрем с запахом перекати-поля. А где зарыт? А нигде, не здесь, да и не на Луне (хотя она такая большая, такая белая, такая праздничная).

К утру ветер уже не проявлял прежнюю рьяность. Не стучал холодными костяшками. Ник не спал ночь.

Он на мгновение закрыл глаза. А когда открыл, в глаза ударил свет луны и, как на заглавном листе книги, на подоконнике сидел Затулин. Некоторое время он сидел неподвижно, потом стал делать рукой знак:

— Подойди. Посмотри.

Ник придвинулся. Комната исчезла. Он стоял на вершине горы. Внизу — долина, залитая светом луны.

— Нравится? — как бы вслух спросил Затулин. Только голоса Никодим не слышал. Он посмотрел вниз, и сердце его наполнилось радостной летящей легкостью.

— Ну, что? Будешь прыгать?

— Да.

— Чего же ты медлишь?

— Я не знаю.

— Боишься?

— Может быть. Вообще-то мне просто хочется смотреть, не двигаться.

— Что ж ты хочешь увидеть?

— Сразу все: то, что поселилось давно в моей душе, и то, что там, внизу, в долине.

— Прощай.

— Эй, Затулин!

— Что ты еще хотел мне сказать?

— Ничего.

— Прощай.

— Эй! Затулин! Эй!.. Я, быть может, снова тебя увижу. Ты ведь не можешь совсем уйти от меня. Ты — это я. Прощай, Затулин! Здравствуй, Затулин!..

14. Длинный коридор и болото

Никодим оказался перед глазами машины, которая грустно улыбнулась, ослепила фарами. И вот он повернулся, посмотрел: а там — болото, а там, среди болот, — одинокие тонкие березки трепыхаются и беззвучно молятся на ветру. И так ему жалко этих березок, одинокие они, и вряд ли кто услышит их молитвы. И ветер не так чтоб сильный, да корни на болоте плохо держат.

И еще привиделся ему длинный коридор, и он с кем-то идет по этому длинному коридору и о чем-то разговаривает, причем весело, со смехом.

Ник... Никодим старался разглядеть: с кем это он так? Не мог разглядеть, да и слов не разобрать. А ему интересно: чему они так радуются? Болото — за стенками коридора. И те, что по коридору идут, болото прекрасно видят, только им это ни к чему. А стены коридора свободно пропускают вечерний свет зари. Ник... Никодим чуть шагнул в сторону, оказался на болоте (коридор никак этому не препятствовал).

Ник... Никодим теперь один на кочке, покачивается, старается не свалиться в болотную трясиину, а его губы шепчут:

— Вражья сила, не сгуби душу, я ведь еще молодой. Имею полное право жить. Эй вы там, слышите!

И запрыгал козлом навстречу вечернему свету — с кочки на кочку. Равнодушно слушал, как хлюпает черная вода под ногами. И еще ясно подумал: копыта мои совсем промокли.

Вечерний свет погас. И еще подумал: а, ладно, ушел тьмою и уйдешь в тьму. И опять осознал себя вместе с кем-то веселым в коридоре. А в этом смертельном коридоре (он как-то сразу понял — коридор-то смертельный) он услышал сквозь смех фразу: «Ушел, как в прекрасном сне».

Кто это сказал? Он сам? Или его собеседник?

«Ха-ха! Как в прекрасном сне».

И по коридору долго катился грохот смеха. Странно: грохот не замирал, а, даже напротив, обретал новые силы. Ник... Никодим не стал уточнять. Он чувствовал пудовую усталость всего: рук, ног, этого пыхтящего рядом болота. И прошептал:

— Поспать бы мне...

И громко, чтобы все слышали:

— Я хочу спать! Мне наплевать, где я! Живой или нет, вы слышите? Хочу спать! Здесь, прямо сейчас! Эй, там! Спать!

И еще громче:

— Имею право!

Потом он тихо, совсем тихо:

— Поспать бы мне...

Закрыв глаза. Когда открыл, вдалеке увидел четкую синюю полосу реки. Она набухала, пульсируя, как живая человеческая вена.

Синяя полоса почернела. И очень быстро зарозовела, превратилась в красную. А там, уже за красной чертой, на него глядели глаза. Великое множество глаз.

*Публикация Татьяны Урбанович
при участии Сергея Соколовского*

Леонид Фишман

Подарок для всех

В течение года наше общество взволновали события декабря—мая и дело «Pussy Riot». Эти события были восприняты по-разному. Насчет декабря—мая точки зрения различались от «гражданское общество просыпается» до «происки агентов госдепа». По поводу акции «Pussy Riot» оценки также были диаметрально противоположными от «протест против сращивания церкви и государства» до «оскорбление святынь». Оценки представителями общественности и рядовых граждан приговора «Pussy Riot» тоже отличались взаимоисключающим многообразием — одни торжествовали по поводу наказания «богохульниц» и «кошунниц», другие ужасались наступающему «мракобесию» и восклицали, что «мы катимся к новому средневековью».

Однако все эти события и реакции на них — эпизоды одного и того же двойного процесса: 1) вялотекущего кризиса легитимности постсоветского политического режима (неважно, как его называть и неважно, ельцинской или путинской его версии). 2) постепенного перехода от морального осуждения (власти ли, оппозиции) *взамен* политики к собственно политике по типу «друг — враг».

Уже давно выявилась родовая черта постсоветского режима, с одной стороны — либерально-капиталистического, с другой — бюрократического, — невозможность его адекватной легитимации.

Как замечает И. Исаев, бюрократия — это корпорация, чьи специфические интересы, представленные как «всеобщие и государственные», существенным образом отличаются от интересов делегировавших им власть избирателей. «Взамен бюрократия предлагает организацию и порядок, которые обеспечивают стабильность и однообразие, закрепленные нормативной системой. Индивид должен быть счастлив, что его вывели из «естественного состояния» аморфной массы, дали принципиальные ориентиры, «исчислили» дальнейший путь его существования»¹. Из этой сущности бюрократии вытекает необходимость идеократической легитимации, призванной обосновать те самые «принципиальные ориентиры» и «дальнейший путь существования» уже без прямой отсылки к воле народа-суверена.

Поскольку же постсоветский политический режим позиционирует себя как либерально-капиталистический, ему необходим другой способ легитимации — путем отсылки к народному суверенитету, которая формально считается единственной, что и зафиксировано в Конституции. Однако, как справедливо замечает М.А. Фадеева, «в стране, где установлена либеральная конституция, но либеральная идеология не является доминирующей, либеральные ценности — общепризнанными, а уровень электоральной поддержки либеральных партий настолько низок, что они не могут рассчитывать на представительство в высшем законодательном органе,

1 Исаев И.А. «Новая бюрократия»: легальность против легитимности. — <http://www.ni-journal.ru/archive/4ca2193e/ni-3-2010/4ad60084/a002b6d3/>

неизбежно складывается особая идеологическая ситуация. Делегитимация действующей Конституции стимулирует поиски новой идеологии, более подходящей на роль «национальной идеи»². Т.е. мы снова имеем дело с тем или иным вариантом идеократической легитимации.

Проблема заключается в том, что большинство россиян до сих пор не желает воспринимать политические институты демократического государства как сферу, где различные группы всего лишь лоббируют свои интересы. До некоторых пор мы по инерции воспринимали власть как орудие в руках Абсолюта, а сейчас — как орудие, к этому Абсолюту всякое отношение потерявшее. Теперь эта власть имеет к нам только сугубо формальное отношение, смысла которого мы четко не понимаем. Это, по большому счету, *не наша* власть и не власть, в наших глазах оправданная. Мы опускаем в урны бюллетени, но не передаем вместе с ними часть своего суверенитета, поскольку такой сущности у нас просто нет. Да мы никогда и не считали всерьез, что власть прямо от него зависит. А теперь, когда суверенитет оказался нужен власти, мы не можем его «отчуждить». Мы также не обнаруживаем в себе и ценностей абсолютного масштаба, которые, будучи спроецированными на демократические политические институты, явились бы их оправданием. Ценности же «среднего» порядка — такие, как патриотизм, честь, достоинство — сами по себе, без включенности в более высокую иерархию, не имеют оправдательной силы и медленно распадаются.

Поэтому в реальности постоянно совершались и совершаются попытки дополнить неуверенный «глас народа» какой-то версией государственной идеологии («национальной идеи», например, или православия, как сейчас). В период благополучия и стабильности к национальной идее власти относились несколько пренебрежительно, но никогда полностью не отказывались от надежды таковую найти. Так, В. Путин в послании Федеральному собранию 2007 года говорил про поиск национальной идеи как про «русскую старинную забаву». Однако сейчас, в связи с политическим кризисом декабря—мая и делом «Pussy Riot», он снова пытается сформулировать такую идею сам или побудить к этому других.

Эти новые попытки сформулировать национальную идею предпринимаются в условиях постепенного возвращения собственно «политики» и «политического» как отношений, построенных по принципу «друг — враг». «... Политическое — писал К. Шмитт, — может извлекать свою силу из различных сфер человеческого жизни, из религиозных, экономических, моральных и иных противоположностей; политическое не означает никакой собственной предметной области, но только степень интенсивности ассоциации или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, национальными (в этническом или в культурном смысле), хозяйственными или же мотивами иного рода, и в разные периоды они влекут за собой разные соединения и разъединения». После декабря—мая и событий вокруг «Pussy Riot» мы как раз имеем дело с таким «извлечением»: из религиозной и моральной области. Другие виды извлечений пока недостаточно действенны, чтобы разделить нас на друзей и врагов в сколь-нибудь массовом масштабе. Это не значит, что их не было, напротив, на уровне риторики такие попытки делались — чего стоят пресловутые «агенты госдепа». Но, очевидно, степень зрелости нашего гражданского общества такова, что действительно политический конфликт разгорелся по поводу моральному и религиозному.

В этой ситуации необходимо отметить следующее: дело «Pussy Riot» в определенном смысле явилось «подарком для всех».

В реальности оно показало, что многие верующие недостаточно верят в Бога, а верующие в национальные святыни в глубине души сомневаются в их незыблемости. Но именно поэтому оказалось востребованным чувство правоты, с которым как защитники, так и противники «Пусси» боролись друг с другом. После событий декабря—марта, когда обе стороны конфликта высказали свою идейную несостоятельность, выяснилось: чувством однозначной правоты в этом конфликте не может

2 Фадеичева М.А. Идеология и дискурсивные практики «нацизма» в современной России // Полис. 2006. № 4. С. 54.

похвастаться никто. Проблема всех наличных политических сил заключается в том, что у них есть в лучшем случае более или менее реалистическое видение ситуации, но нет ни адекватного теоретического осмысления, ни массовой социальной опоры. Поэтому, когда выдвигаются лозунги на злобу дня, нет уверенности в правоте. Нет перспективы. Это в равной мере касается как оппозиционеров — от либералов до националистов и левых, так и охранителей разного толка. Поэтому политическая жизнь у нас до сих пор протекала в пространстве тотальной неуверенности. Никто не мог похвастаться тем, что отстаивает нечто безусловное, нечто, являющееся основой общезначимости. Безусловного было слишком мало. Либеральная претензия на защиту прав человека, Конституции и законности выглядела неубедительно. Тем более, что у нас формально никто не выступает ни против прав, ни против Конституции и законности. Не лучше дело обстояло и у левых. Они выдвигали в целом резонные требования социально-экономического характера, которые должны были противостоять разрушению социального государства. Однако они ориентировались на «средний класс», который относительно независим от «госпомощи», тогда как зависимые от государства социальные слои в силу своего положения скептически воспринимали левые лозунги. К тому же эти лозунги мало кто мог услышать по причине тусовочного характера левого движения, многие представители которого предпочитали заниматься сектантскими теоретическими спорами. Националисты давно уже разошлись друг с другом как в понимании национализма, так и в понимании того, на какой основе может сохраниться Россия в дальнейшем. Охранители сами толком не понимали, что именно им хочется охранять — и всю их позицию можно было охарактеризовать фразой «как бы хуже не вышло». Им самим нередко не нравилось то конкретное, что они вынуждены были охранять, и поэтому они предпочитали говорить о сохранении и восстановлении абстрактной русской цивилизационной, духовной, культурной и религиозной «идентичности». В таком же неуверенном положении находилась и власть. Ее представители охотно рассказывали о России, вставшей с колен, об энергетической сверхдержаве, инновационном развитии и (так и не найденной) национальной идее. Кризис сильно снизил ценность подобных рассуждений, а декабрь 2011-го подорвал уверенность в однозначной поддержке населения.

Однако декабрь не породил дискуссий, в которых люди отстаивали некие безусловные ценности: выяснилось, что чувством однозначной правоты в случившемся гражданском конфликте не может похвастаться никто. Поэтому конфликт не вышел на уровень политики.

После дела «Pussy Riot» многое изменилось. В сферу политики проникло нечто безусловное или кажущееся таковым очень многим. Что может быть объективнее и безусловнее Бога для верующих? Можно было усомниться в социально-политических институтах, в своем народе и его историческом назначении. В Боге усомниться нельзя. Если твои противники богохульствуют и кощунствуют, оскорбляют святое, то сам ты однозначно отстаиваешь благое дело. И тебе, о счастье, не надо ничего придумывать: в таких вопросах все давно решено. «Применение максимально суровой кары позволит «бессильно злобствующему» в первый момент даже испытать исключительно сильное чувство исполненного долга. Еще бы, ведь он может считать, что это порошок его ненависти была использована для залпа из государственного оружия»³.

У другой стороны конфликта появляется такое же чувство. Раньше можно было спорить (как и сейчас спорят) по поводу того, куда идти и что защищать. Теперь появилось нечто безусловное — ценности современного цивилизованного человека. Они выступают против архаичной религии, смешивания церкви и государства, против клерикализации и «возврата в средневековье». Особенно против последнего; легче было бы только выступать против, скажем, рабовладения. И тоже ничего придумывать не надо: к твоим услугам почтенная традиция европейского и отечественного атеизма и антиклерикализма.

А уж какой это был подарок для власти! Не исчезла ни одна из проблем, но о них временно можно забыть, сведя все к проискам врагов и антипатриотов-безбожников, подрывающих саму основу российской идентичности — православную веру. Власть не может не чувствовать себя правой, защищая «православное большинство», «чувства верующих» и декларируя недопустимость раскола общества по религиозному критерию; она тоже защищает права человека (в кои-то веки!).

В итоге всем морально комфортно, все наконец чувствуют себя правыми, ибо защищают некие несомненные ценности, вместо того, чтобы, как раньше, защищать только свою партикулярную позицию. Ведь раньше власть защищала себя, охранители — свое положение в обществе, а «хомячки» — свой еще толком не понятый интерес. А сейчас все получили своего рода интеллектуальную и моральную халяву. Ибо их чувство правоты сродни чувству правоты школьника, твердящего давно заученный урок. Как же приятно повторять самоочевидное. Ура! Назад — к Вольтеру и Фейербаху.

Что же произошло в итоге? Мы столкнулись с психологическим феноменом чувства всеобщего облегчения от получения отсрочки. Отсрочки от решения реальных проблем, от необходимости формулировать адекватные политические программы и, главное, — отсрочки от непривычного нам вхождения в область политики и политического. М. Соломатин точно подметил, что «обыватель давно привык считать привилегией полученное некогда в обмен на отказ от политической деятельности право выносить моральную оценку власти»⁴. В связи с делом «Pussy Riot» могло показаться, что политика вновь подменилась моральным суждением и что общество возвратилось в привычную психологически комфортную колею. На самом же деле мы вступили в сферу политического, которое, точь-в-точь по Шмитту, *на сей раз* извлекло свою силу из моральных (что нас могло ввести в заблуждение) и религиозных противоположностей.

Возвращаясь к проблеме легитимации российского политического режима, мы должны отметить, что перипетии вокруг дела панк-рокерш — очередной пример давнего колебания от легитимации посредством отсылки к народному суверенитету, к тому или иному варианту идеократической легитимации, на сей раз с отчетливым религиозным оттенком. Некоторым показалось, что маятник вот-вот качнется в сторону «мракобесия», да так там и застынет. Так, В. Пастухов, ни много ни мало, заявил, что «мы находимся на пороге невиданной культурной контрреволюции. Ревизии подвергается нечто большее, чем «либеральный зигзаг» Медведева и даже плоды горбачевской «перестройки». Под вопросом оказался европейский выбор России как таковой. Речь идет о пересмотре культурной и политической парадигмы, в рамках которой Россия развивалась почти полтысячи лет»⁵.

Эта оценка ситуации выглядит несколько односторонней. Если уж идет речь о «европейском выборе», то он никогда не был выбором безмятежной эволюции и вечного мира. Только с точки зрения неевропейского (если угодно) выбора безусловной ценностью является стабильность. Но европейский выбор в своей основе — это противопоставление «бурь свободы» «безмятежности рабства» и осознание того, что «древо свободы должно поливаться кровью патриотов» и т.д. Это выбор политического, выбор друзей и врагов, выбор, выражаясь утрированно, вялотекущей гражданской войны. До сих пор все устремления российского политического режима были ориентированы на «стабильность», на то, что нынешнему курсу не может быть врагов, нынешней культуре — равнозначной альтернативы, и т.д. Делался вид, что так оно и есть. И вот сейчас, когда выявились не просто разные позиции, но практически обозначенные позиции в гражданском обществе, многие испугались того, что «наше общество расколосось», что, о ужас, у сторонников европейского выбора появились самые настоящие враги в политическом смысле. Но так и должно быть!

4 Соломатин М. За морального Навального! — <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Za-moral-nogo-Naval-nogo/>

5 Пастухов В. Страна на грани нервного срыва. — <http://www.novayagazeta.ru/politics/55030.html>

Может, кому-то это странно слышать, но раскол в гражданском обществе и «страна на грани нервного срыва» — это нормально. Риторика войны вообще характерна для либеральной политики или, точнее, для политики эпохи модерна. И всякого рода эксцессы, перегибы — это неизбежное явление, которое рано или поздно будет введено в правовые цивилизованные рамки. Поэтому нынешняя ситуация — в рамках «европейского выбора». А сама данность раскола останется как свидетельство того, что наше общество больше не хочет жить по какому-то навязанному сверху проекту, что нашу власть больше нельзя легитимировать ничем, кроме как голосом этих вот обыкновенных людей, руководствующихся как своими заблуждениями, так и своими прозрениями и своей совестью. Сказанное выше не следует понимать по принципу «чем хуже, тем лучше». Хуже раскола — иллюзия монолитности, маскирующая лицемерие и конформизм, к чему нас сейчас и хотят привести. Но это не может быть чем-то большим, нежели флуктуация. Природа нашего политического режима неустранимо двойственна. Качаться в вопросах легитимации он поэтому будет неизбежно, но зафиксироваться в одном из крайних положений, похоже, органически неспособен.

Какие бы цели ни преследовали противники «Pussy Riot», объективно было очередной раз продемонстрировано, что современному российскому политическому режиму недостаточно заявленной в Конституции легитимации волей народа и что поэтому он весьма болезненно реагирует на всякий намек на дискредитацию иных, религиозных или идеологических, источников легитимности. Но точно так же обозначились и пределы попыток легитимации власти путем чего-то иного (в данном случае — православия и т.д.), кроме народного суверенитета. Православие на роль главного легитиматора не подошло и может лишь использоваться в качестве суррогата пресловутой «национальной идеи», а скорее, красной тряпки для противников нынешнего режима. Роль такой тряпки неприглядна. Это осознано и руководство РПЦ, которое откестилось как от сомнительных высказываний «православных коммуникаторов», так и от нередко действующих «не по разуму» православных активистов⁶. Поэтому тряпкой помахали и спрятали ее в карман. Вместо мифического «возврата в средневековье» мы получили вполне себе современный эпизод публичной политики.

⁶ *Говорящие попы. Патриарху Кириллу надоели клоуны в РПЦ.* — <http://lenta.ru/articles/2012/11/01/rybko/>

Михаил Бару

Приокские саги

Бывают такие городки вроде маленьких переулков между большими улицами. Идешь, идешь по такой улице, фонари сияют, витрины сверкают, машины проносятся и тоже сверкают, нарядные девушки разом и сияют и сверкают... и вдруг свернешь в переулок, а там тишина, мальвы в палисадниках, плотва вялится на солнце и мальчишки гоняют голубей. Горбатов и есть такой переулок. Он городок из тех, что тише едешь — дальше будешь. Горбатов едет так тихо, что будет дальше всех.

Все начиналось с перевоза через Оку. Через него шла дорога из Москвы в Нижний Новгород. Вернее, еще раньше началось с живших в этих местах племен мещеры, которые состояли в родстве с муромой, которые вместе со своими языком, с шейными гривнами, с ажурными браслетами, подвесками и привесками в виде цилиндров и ромбов, с пластинчатыми луновидными серьгами в конце концов растворились между славянами. Осталось от племен мещеры только название «Мещерская поросль», но и его переменили в шестнадцатом веке, когда Грозный забрал у Андрея Шуйского-Горбатого эти земли и отдал монахам Суздальского Спасо-Ефимьева монастыря. Не понравилось монахам такое название деревни, и стали они называть ее по прозвищу бывшего владельца — Горбатое. Построили в ней церковь, и стало Горбатое селом. Екатерине Второй не понравилось, что деревня принадлежит монахам, и она снова забрала ее в казну и назначила уездным городом Горбатовом.

Перевоз же через Оку как был с незапамятных времен — так и оставался до девятнадцатого века. Говорят, что через Горбатов проезжал Пушкин по пути в Нижний Новгород и остановился отведать замечательных горбатовских вишен. Помните — в повести «Выстрел» Сильвио на дуэли ест из фуражки черешню? Так вот: пушкиноведы исследовали черновики повести и нашли, что в первоначальном варианте была горбатовская вишня. Почему она потом стала черешней — я не знаю. Может, по цензурным соображениям, а может, потому, что Наталья Николаевна, большая любительница черешни, упросила его заменить вишню черешней. Отведал Александр Сергеевич и горбатовских стерлядок. Они и сейчас есть в Оке. Стоит стерлядь, по словам директора местного краеведческого музея, два года условно, но ловят ее все равно и, если уговориться с местными рыбаками, можно... Рыбаки здесь серьезные. Основные рыбаки. Весь берег Оки под горой, на которой стоит Горбатов, поделен на участки, и на каждом стоит домик рыбака. Кто-то строит его из кусков фанеры, горбыля и полиэтиленовой пленки, кто-то из толстых досок, с крышей, крытой толем, а у одного Наф-Нафа я видел домик, обшитый оцинкованным железом, с печной трубой, окошком, украшенным резным наличником и отдельно стоящим флагом с нарисованной на нем рекламой местного пива.

В последнее время богатые люди стали выкупать часть речного плеса в долгосрочную аренду. Сами они рыбу не ловят — человек из города может там запросто

Об авторе | Михаил Борисович Бару (1958 г.р.) — химик и инженер, кандидат технических наук, поэт, прозаик и переводчик. Публиковался в «Арионе», «Волге» и других в центральных и региональных журналах. В «Знамени» дебютировал в прошлом году, см. очерк «Городки» (2012, № 1). Живет и работает в Москве.

быть искусанным до полусмерти комарами с пойменных лугов, которые в несколько раз крупнее обычных, а уж злее... Местные жители утверждают, что коровам, которых выпасают на этих лугах, комары прокусывают вымя до молока! Они так и называют комаров — «кровь с молоком». Короче говоря, богатые люди нанимают местных рыбаков, те ставят сети...

Тут вы можете спросить — почему это городских жителей комары кусают, а горбатовцев кусают тоже, но без таких драматических последствий. Ведь Горбатов тоже город. Ну да, город. Только очень маленький. Самый маленький в Нижегородской губернии. В нем проживает всего две тысячи, с небольшим, душ и все эти души, и старинные дома, и палисадники с георгинами, и цветущие вишни, и безмятежно спящие коты на подоконниках, и горшки с толстыми столетниками и тонкими декабристами, и скворцы в скворечниках, и Ока с облаками, и пойменные луга, и даже комары — это даже не звенья одной цепи, но атомы одной молекулы.

Кстати, о декабристах. В девятнадцатом веке одним из городских голов Горбатова был Павел Николаевич Бестужев-Рюмин, отец декабриста Михаила Бестужева-Рюмина. При нем в городе появились мощные дороги.

Коренные горбатовцы большей частью живут наверху крутого, обрывистого берега Оки. Внизу, под горой, живут дачники, и, если протрястись километра три вдоль берега, по ухабам мощенной еще при Бестужева-Рюмине бульжником дороге, которую покрывают лохмотья советского асфальта, то можно упереться в ворота санатория «Ока». С фронтона главного корпуса санатория на отдыхающих строго смотрит одним глазом мозаичный Ильич. Он бы и двумя смотрел, но вторая половина лица у вождя облупилась. Впрочем, облупилось только лицо вождя, а все остальное в санатории сохраняется без всяких изменений с советских времен. Признаться, мне и вовсе показалось, что персонал этого санатория-заповедника даже не подозревает о том, что генеральный секретарь у нас давно уже не Леонид Ильич, а совсем другой человек.

По вечерам подкидной дурак, домино и лото в беседке, танцы под песню «А он летал на кукурузнике и был прикинут, как положено: костюм, рубашка, галстук узенький...», а на завтрак подгоревшая творожная запеканка со сметаной, куриная нога с гречкой и кофе с молоком из большого алюминиевого чайника. Сахар при этом заранее насыпают в стаканы с советскими подстаканниками. Зато воздух у Оки такой, что со вкусом алюминиевого кофе не сравнить.

Отдыхающих немного. Больше всего приезжают из Дзержинска, работники тамошних химических заводов. Редко когда из Нижнего. Да и вообще редко. Теперь мало у кого достанет мужества на вопрос «Где ты отдыхал?» без смущения ответить: «В Горбатове».

Надо сказать, что Горбатов и всегда был маленьким. В конце позапрошлого века, в пору своего расцвета, когда город был столицей Горбатовского уезда, в нем проживало не две, а почти четыре тысячи. Тогда за горбатовской вишней приезжали из Москвы от самого винно-коньячного короля Шустова. Привозили огромные давяльные чаны, в которые местные жители сносили свой урожай вишен. Из этого сока на заводе у Шустова делали знаменитый «Спотыкач»¹. Еще были яблоки. Яблоки были даже раньше вишен и потому попали на герб Горбатова. Просто яблоки на яблоне. Ни меч, ни шлем, ни лев рыкающий, а просто «яблоня с плодами в золотом поле в знак изобилия сего рода плодами». Теперь на все эти геральдические тонкости смотрят проще — у въезда в город стоит стела с гербом, на которой выкрашенная белой краской железная яблоня зияет дырками яблок. Зимой, когда дует сильный ветер с реки, герб поет яблочными дырками, точно Эолова арфа.

Трудно найти город более мирный, чем Горбатов. Не было у него никогда крепостных стен, не лезли на них татаро-монгольские полчища, стреляя из луков зажигательными стрелами, не приплывали по Оке ни шведы, ни турки, не присылали к горбатовцам парламентариев с предложением сдаться, не было случая у горбатовцев послать их всех... или хотя бы завести в болото. Местные оружейники, за отсутствием таковых, не ковали мечей и не обтягивали щит Родины бычьей кожей. Только и было стратегического в Горбатове, что прядение канатов для корабельных снастей, да и то

было совмещено с производством мирных веревок и еще более мирных бечевок и шпагатов. Вездесущий и неугомонный Петр затребовал к себе, в Петербург, из Нижегородской губернии полсотни канатных прядильщиков. Из этой полусотни восемь были горбатовцами. Канатный промысел у местных жителей не угасал никогда.

Случалось делать горбатовским канатчикам и уникальные вещи. К примеру, в тридцатом году на канатной фабрике сплели из веревок постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Все его тридцать пять с половиной тысяч букв, причем заглавные буквы абзацев были сплетены из толстых канатов с центральной красной нитью, а примечания из тонкого шпагата. В Москву этот удивительный подарок отправляли на пяти подводах. Где теперь этот подарок — никто не знает. Пылится в каких-нибудь московских запасниках. В горбатовском музее до недавнего времени хранилась одна маленькая буква «б» и веревочные же круглые скобки к ней, не отправленные в столицу по причине чуть более короткого у «б» хвостика, чем положено. Увы, в дырку от «б» заползла мышь, умудрилась запутаться в ней, никак не могла выйти за скобки, со страху... Ну, и разгрызла все на мелкие кусочки.

И сейчас в Горбатове еще жива контора, производящая канаты и веревки. Вьется еще веревочка, вьется. Толщина ее, правда, уже не та, местами она и вовсе шпагат, да и нельзя, как когда-то, обмотать ею глобус России пять раз по диаметру, но разок...

Раз уж зашла речь о канатах, то нельзя не вспомнить о том, что Пушкин, проезжая через Горбатов, не только лакомился местной вишней и стерлядками, а прикупил по случаю восемь или девять аршин самолучшей местной пеньковой веревки. То есть он даже и не покупал, а на завтраке, данном в его честь уездным предводителем дворянства, от горбатовских потомственных почетных граждан и местного купечества поднесена ему была в дорогу четверть вишневой наливки и пудовый копченый осетр, красиво перевязанный этой самой веревкой. Александр Сергеевич тут же, не слушая возражения горбатовцев, распорядился подать все это к столу, а брошенную веревку уж потом прибрал его слуга Осип, справедливо полагая, что и веревка в дороге пригодится: тележка обломается ли что другое, подвязать можно².

Проезжай наше все через Горбатов лет через сто с небольшим, ему бы наверняка подарили ондатровую шапку и сувенирный дамский ножик. Ондатр в Горьковскую область завезли в сорок третьем году, и они расплодились по ней всеместно. Правда, в семидесятых и восьмидесятых их массово отлавливали на мужские шапки. Особенно любили их носить партийные работники среднего, райкомовского уровня. Теперь они вымерли, а поголовье ондатр восстановилось. Да и мода на ондатровые шапки прошла. Ну и черт с ними, с этими шапками. Пусть евшушенки за ними давятся. Сувенирный дамский ножик ничуть не хуже. В тридцатые годы в Горбатове организовали промартель по изготовлению ножей. Из Павлова получали металл и туда же отправляли готовые ножи. В сувенирном дамском ноже есть, кроме обычного лезвия, еще и щипчики для выщипывания всего, что растет не там, где положено, маникюрные ножнички, пилка для ногтей и шильце для того, чтобы колоть нашего брата³. Правда, за горбатовским ножиком надо было успеть приехать до горбачевской перестройки. Они кончились вместе с Советским Союзом. Закрылись ножевой цех.

Был в Горбатове и строчевышивальский цех. Плавать он не умел и потому, хоть и было среди горбатовских строчевышивальщиц целых сто ударников коммунистического труда, утонул заодно с ножевым. Булькал, правда, дольше. Два года назад его закрыли. Остались от него три вышитые блузки, выцветающие теперь под стеклом музейной витрины. От резных горбатовских наличников осталось и вовсе полтора десятка фотографий в одном из музейных залов. В другом зале остался портрет куща, городского головы, почетного мирового судьи, депутата четвертой Государственной думы Михея Андреевича Мосеева при полном параде, с медалями и серебряной цепью, на которой висит знак с гербом города, короной империи и чеканной надписью «Горбатовский городской голова». Раньше в музее и цепь была, и знак, но... пропил ее предыдущий хранитель. Человек он был, как и все покойники, неплохой, хороший даже, но, увы, пьющий. Потому нынешний директор Анатолий Сергеевич Савинов составляет подробный реестр всем сокровищам музея. Понят-

ное дело, что сокровища народного музея города Горбатова — это совсем не то, что сокровища Государственного Эрмитажа и вряд ли кто-то позарится на вышитую ночную рубашку, образцы шпагатов местного производства или чучело камбалы⁴... Кстати, о камбале. Ее чучело стоит в природном зале музея против чучела ерша. Нет, камбала в Оке не водится. Просто у местного таксидермиста, который подарил музею коллекцию чучел, была еще и камбала. Взяли и ее — кому она в Горбатове, кроме музея, нужна? Ерш от изумления встопорщил свой колючий плавник, зато уж один-то вопрос экскурсоводу музея наверняка обеспечен. Чаще всего в музей приходят школьники. Вернее, их приводит Анатолий Сергеевич. Он учитель истории, и кому как не ему их приводить. Витрины с чучелами на самом деле — просто застекленные шкафы, и дети иногда балуются, переставляя этикетки от ежа к ужу и от летучей мыши к синице...

В полутемных музейных сенях стоит домовина — гроб, вытесанный из древесного ствола лет сто назад. Этот гроб был продан местным жителем в музей, потому что его бабушка не захотела в нем лежать. Решила, что нести ее в этом гробу будет тяжело. И все. И как она сказала — так и будет. Так оно и было. Внук продал бабкин гроб в музей. Теперь в музей все продают. Даром в него только ходят⁵. Недавно Анатолий Сергеевич на пожертвование местного мецената в три тысячи рублей приобрел для музея патефон. В те времена, когда приносили даром, принесли даже бивень мамонта. Только он раскололся на три части. Отопление в музей то дают, то забирают, а бивень уже давно на пенсии. Вот он и не выдержал — раскололся от температурных перепадов...

Безнадега какая-то получается: канаты выродились до шпагата, ножи и сорочки вымерли, как мамонты, а мамонтовый бивень раскололся на три части. На самом деле не все в Горбатове так плохо, как хотелось бы. Взять, к примеру, колхоз, который теперь — закрытое акционерное общество. Жив, жив курилка. Вернее, косилка и доилка. В Горбатове когда-то была выведена специальная порода коров, дающая молоко повышенной жирности. Коровы и сейчас есть, и жуют они пахучее сено, скошенное с пойменных лугов, и дают такое молоко, из которого получается такая сметана, в которой не только ложка... Опытные технологи-кисломолочники утверждают: список того, что стоит в горбатовской сметане, может занять не одну страницу. Скажу только, что местная сметана на блинах или на варениках, внутри которых горбатовская вишня... Нет, словами этого не описать — только языком. И то если исхитриться и не проглотить его в первую же минуту.

Рассказывают, что от местной сметаны был в восторге режиссер Михалков, снимавший в окрестностях Горбатова своих вторых «Утомленных солнцем». Массовка, само собой, была горбатовская. Анатолий Сергеевич рассказывал, что все хотели записаться в фашисты — у них и форма новая, красивая, и по сценарию сидеть им в бутафорской цитадели да покуривать, а вот нашим надо ползти по грязи, подниматься в атаку и штурмовать. Да и какая у штрафбата форма — обноски. Но платили по горбатовским меркам хорошо, и очень — пятьсот рублей за съемочный день. Еще и кормили при этом. Однажды прилетел к ним на съемки Медведев на трех вертолетах. Сначала ждали Путина и немцам в цитадели даже выдали боевые патроны, но вместо него прилетел Медведев, и знающие люди сказали, что все обойдется, но будет не меньше трех дублей. Приказали штрафбату идти в атаку. Проливному дождю никто не приказывал, но он тоже пошел.

— Иду я в атаку, — рассказывал Анатолий Сергеевич, — и думаю: — где бы мне незаметно и поудобнее пасть смертью храбрых...

Обошлось. Медведеву хватило и одного дубля, после которого он со всеми сфотографировался и улетел восвояси на трех вертолетах, а спустя недолгое время в музее появился большой стенд с фотографиями. Когда фотографировались с Медведевым, Михалков так улыбался, что пришлось его улыбку снимать широкоугольным объективом.

В советском зале музея, среди образцов шпагата и веревок местного производства, продуктовых талонов времен перестройки на сахар, животное масло, крупу и конфеты⁶, стоит витрина с книжками о Горбатове. Их мало. Всего две. Две из них

написал директор музея к двухсоттридцатилетию города. Можно сказать, что Анатолий Сергеевич Савинов — первый городской летописец. Нестор города Горбатова. Администрация города, когда Савинов пришел к ней с рукописью первой книжки просить целых двадцать пять тысяч рублей на издание, так ему и сказала:

— Знаешь, Нестор, вот этого никто читать не будет. Мы точно не прочтем. Да и денег у нас на издание твоей летописи нет, а хоть бы и были... Так что ступай, не мешай нам. И дверь поплотнее прикрой — не май-месяц на дворе.

Закручинился Анатолий Сергеевич и пошел домой. Так сильно закурился, что... когда, по русскому обычаю, проснулся наутро с большой головой, то здоровой ее частью подумал: «Надо искать спонсора».

И нашел его в Нижнем Новгороде. Там же и книжку издали. Вот только деньги, вырученные от продажи книжки, возвращаются спонсору полностью. Впрочем, Савинов и этим доволен. Его авторское вознаграждение — читатели. Книжка разошлась быстро. Через год вышла вторая, посвященная истории Горбатова в девятнадцатом веке и начале двадцатого. Работать над этими книжками было не так уж и просто — после того как в восемнадцатом году Горбатов перестал быть уездным городом, архив переехал в Павлово, а часть документов оказалась и вовсе в Нижегородских архивах. До Павлова, конечно, на автобусе рукой подать, да и до Нижнего не очень далеко — вот только в автобусах бесплатный проезд учителям истории не полагается, даже если они пишут историю родного города. Тем более что они пишут ее по собственной инициативе, а прилагательное к этому существительному у нас обычно «наказуемая».

В старой части городского кладбища Горбатова⁷, у храма Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радости», из цветов больше всего крапивы. Среди зарослей стоят мраморные надгробия и ажурные чугунные часовни над склепами горбатовских купцов и потомственных почетных граждан. Читал я на одном из надгробий обрывок пятидесятого псалма «...ству щедрот Твоих очисти беззаконие мое» и думал, что очистить наше беззаконие даже Ему...

Была на кладбище каменная часовенка, выстроенная в редком для этих мест византийском стиле. В склепе под часовой хоронили дворян рода Погуляевых, среди которых были последний уездный предводитель дворянства и председатель земского уездного собрания Сергей Тимофеевич Погуляев и его жена Елизавета Карловна. Девять лет назад приехали потомки рода Погуляевых на горбатовское кладбище, посмотрели на то, что случилось с часовой, на мерзость запустения внутри нее... и заплатили местным жителям, чтобы те сровняли часовню с землей, чтобы даже и не думать и не содрогаться при мысли о местных жителях, которые в этой самой часовне десятилетиями... Родовое имение Погуляевых местные жители разрушили до основания еще в восемнадцатом году. Разрушили совершенно бесплатно, то есть даром.

Памятник горбатовскому мещанину, прядильщику канатов Горбунову-Печальному и бухгалтеру кустарного отделения Нижегородской губернской земской управы Романову на фоне монументальных купеческих надгробий и склепов я бы и вовсе не заметил, если бы не история, которую рассказал о нем Савинов.

В конце октября девятьсот пятого года, как раз через неделю после обнародования царского манифеста о свободе совести, слова, печати и собраний, в Горбатове, как позже писал в своем рапорте уездный исправник Предтеченский, «по инициативе местных интеллигентов, служащих в земстве... был отслужен молебен пред земскою управой по случаю дарования 17 сего октября Всемилостивейшего Манифеста». После молебна состоялся митинг, на котором бухгалтер Романов «позволил себе высказаться «Не нужно царя» и в то же самое время из окна земской управы был выставлен красный флаг с криком: «Да здравствует свобода и граждане, ура!».

Для начала толпа, кричавшая «Ура Белому Царю!», тут же избивала Романова до полусмерти. Заодно избили и ни в чем не повинного Горбунова-Печального. Не без труда местной полиции удалось Романова и Горбунова-Печального отправить в местную больницу. Там их, не обращая внимания ни на уговоры фельдшера, ни на полицию, избили до полной смерти. Убили зверски. Хотели убить еще и бухгалтера земской управы Серебровского, который кричал после окончания молебна «Всему

свободному русскому народу — ура!», и побежали к нему домой. Бежали под белым флагом, который нес крестьянин Федотов. Серебровского не нашли и ограничились разгромом его дома — выпустили пух из подушек, разорвали на мелкие клочки одежду, белье и книги, сорвали с крыши железо. От дома Серебровского вновь побежали к земской управе и «заметив во дворе ее бывшего волостного писаря-мещанина Мерзлова, набросились на него и, вытащив его на улицу, повалила его и избила. Живым Мерзлова отпустили, лишь удостоверившись в том, что на нем имеется крест, и, получив от него утвердительный ответ на вопрос «верит ли он Белому Царю».

Два года длилось следствие. То свидетели не являлись, то адвокаты черносотенцев просили отсрочку, то откладывали дело за невозможностью прибытия свидетелей в Нижний Новгород из-за распутицы, «когда всякая переправа положительно невозможна». Просили перенести заседание суда в Горбатов. Вот тут нашла коса на камень. Окружной суд категорически отказался слушать дело в Горбатове. Членов суда можно было понять. Жизнь-то у каждого была своя, не казенная. Ровно через два года после убийства в Нижнем Новгороде огласили приговор. Восемь погромщиков были приговорены... к восьми месяцам тюрьмы. Не отсидели они и четырех месяцев, как по ходатайству защитников им было даровано Высочайшее помилование.

Еще через десять лет власть в Горбатове, и не только в нем, переменялась, и две горбатовские улицы переименовали в память Горбунова и Романова... Ну, не совсем две. То есть улица Горбунова точно есть, а в память Романова переименовали переулок. Фамилия у Романова была уж очень неподходящая текущему моменту. Вот и переименовали переулок. Тихий переулок в той части города, что под горой, рядом со школой глухонемых. Когда через сорок лет, в пятьдесят седьмом году, к очередному юбилею советской власти, на городском кладбище Горбунову и Романову поставили памятник как борцам за народную свободу, то горисполком ухаживать за памятником героям революции обязал как раз школу глухонемых, что она и делает до сих пор, несмотря на то что горисполкома и след простыл.

Среди восьми осужденных погромщиков был прадед Анатолия Сергеевича Савинова — крестьянин, прядильщик купца Спирина⁸. В восемнадцатом году прадеда вызвали куда следует, но, подержав там, где следует, месяц, выпустили. В тридцать первом еще раз вызвали и снова отпустили, а через полсотни лет его правнук закончил исторический факультет Нижегородского университета и еще через два с лишним десятилетия увлекся краеведением, стал директором музея и раскопал в архивах всю эту историю⁹. В промежутке между окончанием университета и музеем работал Анатолий Сергеевич учителем истории в сельской школе неподалеку от Горбатова. Ну, это по карте рядом, а пешком — семь километров в одну сторону и семь обратно. Пять дней в неделю. Двадцать лет. Летом на велосипеде, а в распутицу и зимой — пешком. Лет через пятнадцать посчитал — Землю по экватору уже обошел. Два раза обойти не успел — у школы, как это часто теперь случается у сельских школ, кончились ученики, и ее закрыли. Потом поработал воспитателем в той самой школе глухонемых, которая ухаживает за памятником жертвам его прадедушки, и когда в единственной горбатовской школе освободилось место единственного на весь город учителя истории, оно вместе с кружком краеведения и музеем досталось Савинову.

Сыновья единственного учителя истории живут уже в Нижнем.

— Я им так и сказал: «В Горбатов хорошо приезжать, когда вишня, когда выходные и когда помирать, а жить...»¹⁰

Жить в Горбатове, когда цветут вишневые сады... Кстати сказать, эти самые сады достались местным крестьянам в качестве выкупного надела после того, как им дали волю. Антон Павлович Чехов, проезжая из Москвы в Нижний Новгород через Горбатов, так был впечатлен красотой цветущих горбатовских вишневых садов, что в первом варианте его знаменитой пьесы Ермолай Лопухин... Ну, ладно, ладно. Не проезжал. В чеховские времена в Нижний уже катили по железной дороге. Не было нужды трястись на перекладных до перевоза через Оку, потом переправляться через нее у села Лисенки и трястись дальше через Горбатов и Ворсму в Нижний. Нет теперь ни этого перевоза, ни Лисенок. Не совсем нет, а почти нет. По переписи по-

запрошлого года проживают в Лисенках два человека. Так что, может статься, что в этом году уже и совсем нет. Только дорога из Горбатова до Лисенок еще осталась. Дороги, как известно еще со времен древних римлян, живы, пока по ним идут. Вот только кто пойдет по этой дороге, чтобы она не умерла?

Примечания

1 Сами горбатовцы и без шутовской наливки умели спотыкаться так, что мало не покажется. В середине позапрошлого века в отчете горбатовской городской Думы написано, что город потребляет в год пять тысяч ведер вина (вина, которое и водка, и наливки, и спирт)*. Ежели эту цифру поделить на количество жителей Горбатова в то время, то получается по полтора ведра с лишним на брата, сестру, мать, отца, деда с бабушкой и малых ребят. В конце девятнадцатого века в городе было семь трактиров и две винные лавки. За теми, кто безобразил безобразия в пьяном и трезвом виде, присматривали шесть полицейских нижних чинов... Прошло полторы сотни лет. Пить стали в Горбатове... Ну да этим не удивишь. Удивительно то, что в Горбатове упразднили полицейский участок. То ли безобразий стало меньше, то ли решили сэкономить на участках — не могу знать. Местные жители уверены: это все потому, что живут они тихо «по части распорядительной и исполнительной, указы, постановления и всякие бумаги исполняются неукоснительно, лживых размышлений не имеется». Хоть эта цитата из отчета городского правления и городской полиции о состоянии промышленности, сельского хозяйства и народонаселения за 1857 г.» — что из того? Лживых размышлений у горбатовцев как не было — так и нет.

* Здесь и далее в примечаниях цифры и другие материалы из отчетов горбатовских властей цит. по книге «Круги времен. Горбатов. Историко-краеведческий очерк». Составитель А.С. Савинов. Нижний Новгород, 2011.

- 2 Если честно, то никаких материальных свидетельств посещения Пушкиным Горбатова не сохранилось. Не собирать же было краеведам, которых тогда и не было, косточки от вишен, которые он ел. Поэтому в витрине под названием «Пушкин в Горбатове» лежит карта Европейской части Российской империи, поверх которой приклеена открытка с портретом поэта и датами его рождения и смерти. Рядом лежит на подставке маленькое и ржавое пушечное ядро. Должно быть, для рифмы.
- 3 Выпускали в Горбатове еще одну модель ножа — «Спутник туриста». Это был специализированный нож для открывания банок с консервами «Завтрак туриста». Нож, признаться, был отвратительный — и ржавел, и тупился через минуту после заточки, но к «Завтраку туриста» подходил идеально.
- 4 Заметим, что это уже второй городской музей. Первый музей, созданный еще до войны, как и первый храм, был разрушен, точнее, расформирован. Вавилонян приглашать не стали, но обошлись своими силами. «Никто не обращает внимания на музей, много перенесли мы мытарств. Переводят из одного помещения в другое. Музею необходимо предоставить помещение». Записано так со слов товарища Сафонова в протоколе пленума горбатовского Горсовета в январе тридцать первого года. Второй музей открыли через тридцать лет стараниями горбатовского учителя истории Семена Петровича Завируцева. Из горбатовских учителей истории получают не гвозди, а краеведческие музеи. Много лет Семен Петрович собирал у себя дома все, что связано с историей Горбатова, а потом упросил Горсовет открыть краеведческий музей. Власти музей открыли и, покитавшись по разным углам (а как же без этого), он все же получил постоянную прописку в старинном купеческом особняке. Музей так и не стал государственным. Он народный и находится на балансе горбатовской школы. Вернее сказать, он балансирует на краю этого баланса, поскольку денег у самой школы...
- 5 По правде сказать, в музей из других городов приезжают редко. С самих горбатовцев плату за вход не берут. Время от времени приходят в музей отдыхающие в двух городских санаториях. С туристов и решили брать за вход, чтобы совсем не протянуть ноги. Посчитали, и получилось, что билет стоит несусветных денег — пятьдесят рублей. В самом Павлове билет в музей почти в два раза дешевле, но в Павлове музей государственный, и ему полагаются дотации, а в Горбатове — народный, и ему полагается...
- 6 Водочных талонов, как ни искали, — не могли найти. Да и как им было сохраниться, если они, все до единого, отоварены.

- 7 Новая часть кладбища растет и растет... Смертность в Горбатове в четыре раза превышает рождаемость.
- 8 При внимательном чтении списка осужденных по этому делу наткнулся я на фамилию Завируцев-Ращин. Уж кем он приходился Семену Петровичу Завируцеву, основателю горбатовского краеведческого музея, я не знаю, но думаю, что вряд ли только однофамильцем. Для однофамильцев Горбатов слишком мал. Как хотите, а сага о горбатовских Форсайтах, если бы ее написать, получилась бы поинтереснее исландского оригинала.
- 9 Савинов по архивам проследил свою родословную до первой четверти девятнадцатого века и бросил.
- Что так? — спрашиваю.
- А смысл? — отвечает Анатолий Сергеевич. — Там сплошные крестьяне Бог знает до какого колена. Еще и крепостные.
- А вы, поди, надеялись найти в родословной не крестьян, а...
- Надеялся, — смеется он.

10 Сам Анатолий Сергеевич живет в Горбатове на улице с удивительным названием Краснофутбольная. Хоть он и краевед и знает о Горбатове все и даже чуть больше, а почему так названа улица — понятия не имеет. Не родились в Горбатове футболисты, не проходил в нем не только европейский, но даже и районный чемпионат. А может, потому, что в те времена, когда улицам давали такие названия, брали прилагательное «красный» и прилагали его ко всему, к чему могли приложить? К примеру, в тридцатых годах была в Горбатове артель «Красный сапожник». Кстати сказать, убыточная артель. К сороковому году преобразовали ее в сапожную мастерскую имени Третьего Интернационала.

Представляю себе, как происходила эта реорганизация. Это снаружи превращение сапожной артели в сапожную мастерскую, да еще в крошечном Горбатове, выглядит как событие масштаба в одном километре три нанометра, а изнутри...

Накурено так, что хоть сапог вешай, председатель правления артели, товарищ Кожевников, только что закончил свой отчетный доклад, сел в президиум, налил полный стакан теплой воды из графина и пьет, судорожно двигая кадыком по тощей, плохо выбритой шее. Председательствующий, стуча по графину ключом от деревянного сарая:

— Тихо, товарищи! Открываем прения по отчетному докладу. Слово имеет товарищ Сморчков*.

Товарищ Сморчков встает с правого боку стола президиума:

— Товарищи! Лучший друг сапожников товарищ Сталин в своей речи на съезде нашей родной партии... международная обстановка нам не позволяет... каждая оторванная от нашего советского сапога подметка льет воду на мельницу...

Молодой и насмешливый голос из зала:

— Да не на мельницу, а на портянку...

Председательствующий, стуча по графину ключом:

— Я смотрю, сучильщики дратвы разговорились...

* Фамилии Кожевников и Сморчков я не придумал из головы, а взял из книги А.С. Савинова. Анатолий Сергеевич, в свою очередь, нашел их в районном архиве города Павлово на Оке. Савинов разыскал в Павловском архиве не только фамилии генералов сапожного дела в Горбатове, но и протоколы заседаний горбатовского Горсовета. Вот, например, две цитаты из обсуждения работы городского узла связи. Тридцать пятый год. Горбатовский узел связи размером с узелок на суровой нитке... «Телефон работает плохо, изношен коммутатор, погнуты штепселя, отвинчен шуруп — это исходит от телефониста Склянина, сына бывшего фабриканта». «Предупредить т. Иванова за допущение к аппарату классово-чуждого элемента и предложить снять его с работы немедленно. Одновременно поручить милиции расследовать дело о порче коммутатора и привлечь виновных к ответственности». Куда потом пойдет уволенный Склянин... Уедет ли в Нижний или еще дальше, в Казань, а то и в Астрахань от греха подальше и наймется там в чернорабочие или останется дома жить огородом и вишневым садом, каждую ночь просыпаясь в холодном поту от проехавшего под окнами автомобиля? Вспомнят ли Иванову при следующем обсуждении работы телефонного узла о том, что один раз он уже утратил классовое чутье и во второй раз...

Евгений Ермолин

Роль и соль

Вера Полозкова, ее друзья и недруги

Давно замечено и мало кем оспорено, что поэзия становится сегодня занятием для узкого круга. Кто пишет стихи, тот их и читает, тот и оценивает качество других стихотворцев.

Сами себя такие люди могут считать элитой. Для общества они — скорее маргиналы, почти изгой.

Некоторые склонны видеть в этом что-то неизбежное, как времена года. «Если падают листья и жмутся к земле, Если больше им некуда деться, Значит снова готовься к жестокой зиме...» Поэты уходят в гетто. Уносят, так сказать, зажженные светы.

Но не все. Есть альтернатива.

Литература не кончается. Она меняется. Поэзия льется. Поэзия перетекает в другие формы, отчасти, на новом витке исторической спирали, возвращаясь к своим корням — устности и связи с музыкой и пластикой. Оказывается, авторский сборник и публикация в толстом журнале — уже не единственный путь к признанию. А для некоторых это и вовсе не путь, а если путь, то в никуда.

Конечно, тому сто лет. Но опыты Вертинского или разные пробы авторской песни второй половины минувшего века возникли в другой культурной ситуации. Тогда не существовало такой острой угрозы для коммуникации поэта и аудитории. Не казалась исчерпанной традиционная аудитория читателей, любивших наедине смаковать стихотворение с печатного листа.

Некоторые считают, что довольно стыдно поэту заботиться об услышанности и искать аудиторию. Мне так не кажется. Это не стыдно. Это нормально. Поэт — существо общительное. Пускай даже не всякий поэт.

Теперь вопрос радикализировался, и в родных пенатах мы замечаем все больше признаков поиска поэтами новых средств контакта с аудиторией. Сергей Чупринин говорит о фестивальной эпохе. А жизнь добавляет к фестивалям и биеннале разные формы поэтической эстрадности и театральности, смычки с новейшими средствами телекоммуникации (прежде всего в Интернете).

Кризис традиционных форм контакта поэта с аудиторией — вот тот фон, на котором становится особенно поучительным феномен Веры Полозковой.

Знаете, Полозкова восхитительна. Она молода и чудесна. Своей небрежной искренностью, непринужденной простотой. Свободой суждений, легкостью выражений, умением всю жизнь положить на рифмы, ничего не оставив себе.

Ее хочется переложить на музыку, но это она делает сама. Но ей не место на книжной полке — вот еще, пыль копить. Ей место в «Избранном» на браузере, в отдельной папке, где любимые видеофайлы.

Она снимается в клипах, играет в интерактивном спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников» (Театр имени Йозефа Бойса совместно с

Об авторе | Евгений Анатольевич Ермолин — арт-критик, медиаэксперт, преподаватель, блогер. Христианский анархист, персоналист. Постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация — «Работа свободы» (2012, № 9). Живет в Москве и Ярославле.

«Театром.doc»), сотрудничает с театром «Практика» и «Политеатром» и воображает себя драматургом, пишет для кино, членствует в жюри на «Текстуре»...

Ослепительная жизнь: «...за десять дней посмотрела тринадцать фильмов, одиннадцать спектаклей и шесть читок пьес и сценариев; по вечерам мы садились на веранде “Сцены-Молот” с Лунгиным, Бояковым, Зайготтом, Клавдиевым, Идлис, Гавриловым, Сявой и другими совершенно не представимыми в одной компании людьми и читали по кругу стихи; или ехали в караоке, где Фил Григорьян пел Меркьюри и Боуи, Чепарухин — «Господ офицеров» на польском, а я — “Небо Лондона”; или шли с Вениамином Борисовичем Смеховым в “Тельменную #2” заседать, или играть в “правду” в «Чайхону» по соседству с дорогими сердцу критиками; в прошлом году пьянил сам факт того, что где-то можно на десять бесконечных дней собрать такую россыпь драматургов, актеров, режиссеров, музыкантов и писателей, и от совокупного их электричества будет трудно глазам; в этом году внезапно пришло спокойное и огромное чувство того, что вместе мы — большая сила, способная что-то зримо изменить в мире». Нам и не снилось.

Она — в Интернете и в клубно-кафейном артистическом пространстве, в эфире «Маяка», «Серебряного дождя» и просто «Дождя», синтезируя свои искусство с музыкой, шансоном, театром, превращая чтения в специфическую декламацию, вступая в живое общение. И не книжки уже издает в традиционном, стандартном формате, а аудиокнижку («Фотосинтез»).

Вера Полозкова как творческая личность нераздельна с Верой Полозковой как знаменем и символом смены литературных веков. Она есть явление актуальной литературы — продукта современной культурной ситуации, аналогичного тому, что обычно называют актуальным искусством, воспевая его или оплевывая...

Полозкова вошла в литературу без стука. Без спроса. Не так, как обычно входили раньше или входят теперь, — через литературные судии, редакции «толстых» журналов, форум в Липках. Игнорируя мнение экспертного сообщества и литературно-критического бомонда. Не обращая особого внимания на собратьев по перу, критиков и издателей, принадлежащих к традиционной литературной инфраструктуре.

Во-первых, свои тексты она с самого начала размещает в инете, причем не в литературных гетто Рунета, куда не забредает случайный читатель, а в самом эффективном средстве коммуникации 2000-х годов, Живом Журнале. В 2002 году она завела блог в ЖЖ (сначала *vero4ka* — *Miss Understanding*, а потом *mantrabox*¹). Пусть теперь она рассказывает, что это получилось отчасти случайно. Случайно, но провиденциально. Сейчас там примерно 27 тысяч читателей, а в фан-клубе «ВКонтакте» и вовсе 56 тысяч поклонников и поклонниц.

Чуткий к литературной среде Интернета питерец Александр Житинский, познакомившийся с Полозковой в ее блоге, издал и ее первую книжку «Непоэманье» (2008). Но суть была уже не в книжке. Ее, наверное, могло и вовсе не оказаться.

Во-вторых, что не менее важно, Полозкова явно предпочла слову записанному и напечатанному — слово живое, трепещущее в атмосфере, звучащее, адресованное актуальному слушателю и зрителю. Короткая дистанция, реальный контакт — вот ее конек. Она сделала ставку на живое присутствие, на личное участие. Полозкова ушла в инетский интерактив, в актуальное общение с аудиторией, для таких встреч она разъезжает по стране и миру. И живет она там, живет эмоциональным, душевным взаимодействием с залами, с живыми людьми.

За это ее любят страна и даже мир. И найдите мне, пожалуйста, другого такого живого русского поэта, которого сегодня так безраздельно любят страна и мир! О

1 Киевский сетевой журналист поясняет: «Слово “Mantrabox” на самом деле невыдуманное, как может показаться на первый взгляд: так называется индийский инструмент наподобие музыкальной жестяной шкатулки с двумя кнопками, двенадцатью мелодиями и изображением божества. Такой себе “индийский айпод”, как его назвала сама Вера» (Дарка. РОСКовая Вера: «Женщина должна быть слабой» — <http://www.syto.com.ua/uk/literaturareport/414-vera-polozkova.html>). На нем записано 12—20 мантр.

ком еще наш гуру в области музыкально-зрелищных инсталляций Михаил Козырев в прямом эфире скажет так: «Моя возлюбленная поэтесса». А «рядовой» читатель (жж-блогер snow-sweet) напишет, например, так: «Все выходные слушаю Веру Полозкову. Те же самые чувства. Те же мысли. Та же боль».

Свято или не свято, но кто хочет, пускай теперь усомнится в том, что Вера Полозкова — самая сладкозвучная сирена наших дней. А я не усомнюсь. Есть поэты не хуже. И даже лучше. Но Вера у нас одна. Читателям соблазн, прочим поэтам безумие. Или наоборот.

Совместно с *Jukebox Trio* Вера Полозкова представляет программу «Песночтения... стихопения...». Наконец, в 2011 году у Веры вышел дебютный рок-альбом «Знак неравенства» («полноценный альбом с авторской музыкой на каждом треке»), появилась своя группа. С нею Полозкова объехала российские города («Родина, трепещи»), собирая полные концертные залы (на каком-то сайте выяснил и цену вопроса для рядового зрителя: «Цена билетов: 700, 850, 950, 1100, 1200 рублей»). Необычный проект с солисткой-поэтом оказался, как пишут, успешным. Послушать Веру живую, насладиться ее творчеством, подарить цветы и получить автограф едут люди из разных городов и сел. «Каждый концерт — эксперимент и performance в режиме реального времени».

Скажу честно, я слышал выступающую перед публикой Веру Полозкову только в записях, в инете. Поэтому процитирую рассуждения ростовского блогера Дениса Тыковкина, который делился своими впечатлениями от концерта-представления: «Все записанное — тонкая грань между мелодекламацией и рок-н-роллом, пост-роковое (построчное?) рифмованное джиу-джитсу, итог экспериментальной работы композитора Сергея Геокчаева и, без преувеличения, одной из героинь нашего времени — поэтессы Веры Полозковой. <...> Классический рок-состав, секция из бас-гитары и ударных, Les Paul с постоянно опускающейся шестой струной, синтезатор, дополненный макбуком и фронт-вумен первым номером выдали разбитной полиритм <...> Пришедшие на концерт блистали знанием матчасти, декламируя стихи вместе с Верой, или иногда даже вместо нее. Вера много говорила, что неудивительно, исходя из рода ее деятельности. Рассказывала истории, произошедшие в этом гастрольном туре, делала вступления к стихам, улыбалась и, кажется, даже была немного смущена превзошедшим ее ожидания вниманием к собственной персоне. <...> Трудно описать не отпускавшее ощущение, как будто все присутствующие именно сейчас вдруг получили возможность читать твои мысли, но это всего лишь элемент восприятия авторского творчества. Будучи голосом из проигрывающего устройства, Вера говорит как будто исключительно для тебя. И потому, когда она стоит на сцене, очень странно ощущать, что эти тексты слышит кто-то еще, воспринимая их как-то иначе. В этом, наверное, основное отличие происшедшего действия от хрестоматийного рокового концертного угара, когда ты — уже вовсе не ты, а часть волны из стадиона поднятых рук, под качающейся рукой солиста. Уж не это ли противопоставление камерности читаемого текста и громкости аранжировок <...> лежит в основе названия? Или же, здесь — утверждение, что вчера никак не равно сегодня и Вера, прожившая период, который лег в основу этих текстов, уже никогда не будет равна той, из прошлого?»²

В ноябре 2012 года в Московском театре Маяковского состоялся официальный релиз двойного альбома группы — диалогии «Знак неравенства/Знак равенства». Жанр звучащей поэзии — так она это называет. А ее слушатели изобретают и другие определения: стихомызыка, поэтивная музыка, инструментальный речитатив, поэтристика, стиходжаз, музозия, аудиостихия, полозковщина, стиходелика, верузыка, мьюзикспич, стихузыка... (Это я привел некоторые результаты телеопроса в эфире «Дождя».)

² Тыковкин Д. «Знак неравенства» Веры Полозковой. Цит. по: <http://cityreporter.ru/article/%C2%ABznak-neravenstva%C2%BB-very-polozkovoi> (запись в блоге: <http://foont-o-mas.livejournal.com/6073.html>).

В жизненном и творческом стиле Полозковой видят иногда переключку с эстрадной поэзией: «Та же история была у Евтушенко, Вознесенского, непосредственной наследницей которых сегодня выступает Верочка: та же эстрадность (что поделаешь, человек умеет читать стихи), те же бурные международные гастроли с подробными поэтическими отчетами, та же интенсивная личная жизнь с подробным ее афишированием, те же потоки брани и восторженных славословий»³... На новом уровне и в новом формате Полозкова возвращает то, что мы помним под именами бард-поэзия, стихорок и т.д. И в ответ на возможные упреки объявляет (в интервью 2012 года): «Я не признаю иерархий в искусстве и не считаю, что в нем бывают первые и вторые: каждый занимает свою нишу»⁴. Уязвимо, конечно. Но характерно для гиперплюрализма среды и момента.

Ну да, она существует обочь литературного сообщества. Они — сообщество и Полозкова — не очень-то друг друга замечают и, складывается впечатление, не очень-то друг другу нужны. Их встречи чреваты взаимным непониманием и конфликтным размежеванием.

Так не случился у Веры Полозковой роман с большинством критиков. Так в какой-то момент, если верить дотошно фиксирующему наши победы и поражения Рунету, она охладела к своим литературным «покровителям», обозвав их жадными старичками и еще по-всякому. Так не печатают Полозкову литературные журналы (исключения наперечет). Полозкова занимается поэзией как-то по-особенному и к традициям цеха относится равнодушно. Она как бы и вовсе не в цехе. Ну и вот, в ответ на вопрос, трудно ли жить в поэтическом сообществе, Вера говорит: «Я не живу там. Там невозможно жить нормальным людям. Я живу в актерском, драматургическом и сценаристском сообществе, там гораздо веселее, и нет такой грызни»⁵.

Она и вообще производит впечатление женщины, которая ни о чем не спрашивает: а можно? Она просто берет. По принципу — лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Да. Коллективные поэтические встречи с пенсионерами и пионерами, посиделки в кружке начинающих стихотворцев, опекаемых маститым ветераном поэтического дела, подборки в случайных альманахах и сборниках, годами ожидаемые журнальные публикации — все это не для нее. Она открыла для себя в театре радость коллективной работы, артельной, общинной и братской. «Счастье — это сокращение слова “соучастие”, что значит “брать часть чего-то на себя”, поэтому счастье навещает меня чаще всего в состоянии какого-то коллективного труда, например, во время репетиции спектакля или концерта. От этого больше счастья, чем от того, что делается поодиночке»⁶.

Но полозковская обочина — это, возможно, будущее литературы. Вот ей-ей.

Вольно перефразировав Тынянова, можно сказать, что ее обочиной и будет, скорее всего, в огромной степени жить литература в новом веке.

Во-первых, каждый стал поэтом благодаря тому же Интернету: то есть не просто написал, но еще и вывесил, разместил.

Во-вторых, поэзия явно дрейфует к устности. К живому контакту. К актуальному сотворчеству поэта и слушателя-сотворца.

А в-третьих, спрос на поэзию трансформировался, но не кончился. Это спрос на поэта живьем, в плоти и крови, физически присутствующего в моей жизни.

Слово срастается с голосом, жестом и плотью; живет здесь и теперь. Это приоритетный способ его существования. Хотя, конечно, по-прежнему можно читать стихи Полозковой с листа и не вслух. Но зачем?

3 Быков Д. Немаленькая Вера // Gzt.Ru. 2009. 22 сентября. Цит. no: <http://yarceniter.ru/content/view/23977/78/>

4 Вера Полозкова о конкуренции, индивидуальности и гармонии (<http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/159975-vera-polozkova-o-konkurentsii-individualnosti-i-garmonii>).

5 Мирошниченко М. Героиня Рунета Вера Полозкова в Самаре: «Меня принимают за дочь Киркорова!» (<http://kp.ru/daily/25774/2758926/>).

6 Маркелова М. Вера Полозкова: «Я не люблю, когда мужчина поет, особенно когда он поет годами» (<http://www.aif.ru/culture/article/45948>).

Но что же за весть несет Вера Полозкова? Или хоть новость? О чем ее послание миру?

Я вам скажу. Это голос нового российского поколения, того, которое, как правило, лишено значимого советского опыта, которое сложилось в последние годы. Полозкова — как никто — медиум поколения нулевых (молодого поколения, людей до кризиса среднего возраста, скажем так). Мы о нем мало знаем и мало думаем, но оно существует. И в той степени, в какой Полозкова совпадает с ним, в той степени, в какой она адресует ему свое послание, в той степени, в какой имеет в этом кругу признание, она отражает-выражает достоинства и недостатки этого поколения. Стихи Полозковой — экстракт и отчасти сублимация поколенческого опыта. Этого поколения мудрость (и глупость тоже), его тон, интонация, темп, его жизненный стиль.

Поколение узнало в Вере себя. В ее любви — свое чувство. И ответило на ее любовь взаимностью. Вот и Виктор Станилевский писал однажды в Международной еврейской газете: «Люди там смеются, воют, умирают, плачут, страдают, расстаются, пишут СМС-ки, говорят по-современному, и по-отсталому тоже говорят, пьют, курят, соблазняют девочек. В общем, живут по-настоящему. И в центре всего этого Вера Полозкова, веро4ка, звезда Живого Журнала, юный талант»⁷.

Притом Полозкова — спешу заметить — не эпический певец. (И тем более не актер на сцене, имитирующий искренность.) Полозкова — романтический лирик до кончиков волос. Ее поэзия подчеркнуто, акцентированно интимна и исповедальна. Она — опровержение проектов отказа от лиризма, от личного субъективизма в поэзии, проектов эпики, аутизма, тех или других амбиваленций. (Оказывается, дело не в том, что мы этого наелись с избытком и пресытились навек, а лишь в качестве лирического голоса...)

Вера — из поколения тех, кто и вместе порознь, кто не умеет сливаться в одном дыхании, в одном призыве, кто и на митинге на проспекте Сахарова ходит так, чтобы не выглядеть массовой и подтанцовкой в политической игре.

Вершина социальной сатиры Полозковой — строки, где выражено неприятие именно любого и всякого общака:

Вот смотри — это лучший мир, люди ходят строем,
Смотрят козырем, почитают казарму раем;
Говорят: «Мы расскажем, как тебя сделать стройным»
Говорят: «Узкоглаз — убьем, одинок — пристроим,
Крут — накормим тебя Ираком да Приднестровьем,
Заходи, поддавайся, делись нескромным,
И давай кого-нибудь всенародно повыбираем,
Погуляем, нажремся — да потихоньку повымираем».

Это вечная молодость: от МакДональдса до Стардогса,
От торгового комплекса до окружного загса,
Если и был какой-нибудь мозг — то спекся,
Чтобы ничем особенно не терзаться;
Если не спекся — лучше б ты поберегся,
Все отлично чуют тебя, мерзавца.

И так далее. В конце зимы 2012-го я услышал эти стихи на канале «Дождь». Но написаны они значительно раньше и давно уже ходят по инету. Уже в нулевые, таким образом, иной раз возникали у Полозковой слова и темы, которые приближали ее к той литературной супермагистральной, которая соединяла и в прозе сатиру с антиутопией. Возникали и уходили.

В этом есть диалектическая шутка жизни. Поколению нужен не политик, который всех объединит, а поэт, который просто поделится своим свободным дыханием. И Полозкова сама такая. Бездирективно-анархическая муза дауншифтеров.

⁷ Станилевский В. Вера Полозкова. Непознание. СПб., «Геликон Плюс», 2008 (<http://jig.ru/index4.php/2008/04/14/4ka-logiya.html>).

Вот кое-что разясняющая цитата из ее недавнего интервью: «Невозможно жить в мире, где радиация, и при этом ходить без скафандра и делать вид, что тебя это не задевает. Она разлита в воздухе, она на всех воздействует, не важно, смотришь ты на нее или не смотришь. Политика не может меня не интересовать, поскольку время от времени мне приходят смски, что кого-то из моих друзей на скорой увозят в травматологию избитыми в автозаке. Мои друзья ходят на митинг на Болотной, пишут об этом в фэйсбуке радостно — я сижу в этот момент в Нижнем Новгороде, и меня трясет. Я не могу быть аполитичным человеком просто потому, что сейчас такое время, что второй вопрос после “как тебя зовут?” — “ты за кого?”. Но меня расстраивает, как это все безвкусно в стране происходит. Если у нас тирания, все должно быть очень красиво: с маршами, с френчами, с призывами — а у нас все так ужасно гнило и тускло. Они даже не могут придумать никакой нормальной концепции для своей тирании, они какие-то очень условные, но при этом злые-злые. И реагируют они уныло, и иронии у них нет никакой. А когда они начинают шутить — это вообще страшно, когда чекисты шутят, мороз по коже пробирает. Наблюдать за этим неинтересно, вот что, все предсказуемо невероятно. Воевать с ними — делать их еще реальнее. Вообще, открыто конфликтовать, спорить, рвать на груди рубаху — это делать, и делать, и делать их еще реальнее. Они ужасно радуются, что их замечают. То есть я не вижу пока ни одной адекватной силы, способной противостоять»⁸.

Полозкова не претендует на привилегию, обусловленную даром и статусом. Она — «свой человек», «одна из нас», чуть ли не «товарищ Вера»: по всем приметам демократка, и даже больше — подруга.

Уходит или почти уже ушла та традиционная культурная среда, обычно отождествляемая с позднесоветской интеллигенцией, которая ценила и любила поэтов-небожителей со сложной и великой судьбой, производителей серьезного, ответственного слова, с отчетливым авторским Я, с острым чувством личностной идентичности. Где они, читатели Кушнера и Рейна? Впрочем, и сегодня за пережженными в поэтический укус уроками поражения можно иногда сходить к Гандлевскому, за трагическим историзмом — к Чухонцеву. Да хоть и к Бродскому, которым кончается все на свете. Однако ж, господа, когда этим зачастую живешь и сам, следует чем-то перебить или дополнить свинцовую тяжесть последних опытов. А главное — монологическая сосредоточенность, в сильной мере присущая нашим лучшим поэтам XX века, озабоченным тем, чтоб ни единой долькой не отступаться от лица, не всем уже кажется убедительной в ситуации тотального диалога, сквозной коммуникации, интенсивной общительности, ставшей нормой нашей жизни в XXI веке.

Наше время — это время, когда кончается эпоха добрых намерений и банальных приличий, эпоха больших, не слишком взыскательных масс. Но в ней слабо угадывается и трагическая нота.

Кто любит стихи Полозковой? Если прикинуть, кого связывают сообщества, посвященные ей «ВКонтакте», начинаешь находить что-то справедливое в утверждении некоторых недоброжелателей, объявляющих нашу героиню кумиром читателей «Космополитена». И да, есть некие довольно ощутимые общности — юные барышни, например, — которым без поэзии и живых поэтов отчего-то трудно, которые ждут и ищут в стихах какого-то созвучия личному опыту. Но собеседник Полозковой сложнее устроен, и стихи ее — отнюдь не витрина гламура. Читая, видя и слушая Полозкову, думаешь о том, что у людей ее поколения (и у нее самой) много неопределенности, невнятности, но немало честных намерений. Контурно наметим для начала хотя бы несколько таких жизненных ориентиров.

Это: смелость, свобода, откровенность, непринужденность, легкость, простота — без ужимок и кокетства. Полозкова живет неправильно, потому что впервые.

Это душевное здоровье, его ей отпущено с большим запасом. Вера говорит: «Надо быть счастливым, здоровым и радоваться всему, а если происходит что-то такое,

⁸ Исакова Ю. Вера Полозкова: «Я была бы не я, если бы мне хотелось только чего-то одного» (<http://drugoynsk.ru/ljudi/ljudi-literatury/item/1752-vera-polozkova-ya-by-la-by-ne-ja-esli-by-mne-hotelos-tolkochegoto-odnogo.html>).

чему трудно радоваться, надо это встречать с открытым лицом. Потому что: ну, а что, значит, надо это пережить»⁹. Тут вам не поэтический делириум, не душевная надтреснутость, не обаятельный излом Александра О'Шеннона, другого московского клубного соловья, замечательно выразившего пафос тупика 2000-х. Для Веры тупиков не существует. У нее установка на то, чтобы не сдаваться и даже побеждать (если получится). «Мое солнце, и это тоже ведь не тупик, это новый круг. Почву выбили из-под ног — так учись летать».

Впрочем и про поражение иногда она говорит — но как-то так, что лишь немного грустно. Кто-то скажет: Бродский; кто-то найдет другие отзвуки; но мне отчетливее слышится дыхание сегодняшнего дня, интонация современной жизни, современных отношений людей, слишком свободных для длинных историй и роковых обязательств. Здесь всегда что-то неокончательное, всегда есть другая возможность, новый вариант судьбы, любви и счастья. Она купается в возможностях, которых не было и уже не случится у нас, она наслаждается миром, который всеми своими далями раскрывается ей навстречу.

Ну вот, на пробу, — очень характерное, про девочек и мальчиков поколения нулевых, в лице двух героев: «Сним ужасно легко хохочется, говорится, пьется, дразнится; в нем мужчина не обретен еще; она смотрит ему в ресницы — почти тигрица, обнимающая детеныша. Он красивый, смешной, глаза у него фисташковые; замолкает всегда внезапно, всегда лирически; его хочется так, что даже слегка подташнивает; в пальцах колкое электричество. Он немножко нездеиный; взор у него сапфировый, как у Уайльда в той сказке; высокопарна речь его; его тянет снимать на пленку, фотографировать — ну, бессмертить, увековечивать. Он ничейный и всехний — эти зубами лязгают, те на шее висят, не сдерживая рыдания. Она жжет в себе эту детскую, эту блядскую жажду полного обладания, и ревнует — безосновательно, но отчаянно. Даже больше, осознавая свое бесправие. <...> Она всхлипывает — прости, что-то перенервничала. Перестиховала. Я ждала тебя, говорит, я знала же, как ты выглядишь, как смеешься, как прядь отбрасываешь со лба; у меня до тебя все что ни любовь — то выкидыш, я уж думала — все, не выношу, не судьба. Зачинаю — а через месяц проснусь и вою — изнутри хлещет будто черный горячий йод да смола. А вот тут, гляди, — родилось живое. Шуруется. Улыбается. Узнает. Он кивает; ему у грустно, и изнуряюще; трется носом в ее плечо, обнимает, ластится. Он не любит ее, наверное, с января еще — но томим виноватой нежностью старшеклассника. Она скоро исчезнет; оба сошлись на данности тупика; «я тебе случайная и чужая». Он проводит ее, поможет ей чемодан нести; она стиснет его в объятиях, уезжая»...

Современный человек у Полозковой не глубок, а широк и разнообразен, он меняет стратегии и прикиды, а не копает тоннель к центру бытия. Не твердость, а пластика. Нет неизбежных событий, непоправимых поступков, отчаянных жестов. Какой-то поток жизни, в котором случается все, кроме того, что меняет течение реки.

Полозкова, как и ее поколение, оказалась социально, исторически дискриминирована. И отсюда тоже инфантилизм и интимность ее лирики, в которых со временем проступал износ. Наивность достигала грани наивничанья. Сейчас она и сама говорит о себе так: «...мне было интересно сбегать, вместо того чтобы устранять проблемы. Я не умела встречаться лицом к лицу с проблемами, я ненавидела принимать решения, делать выбор»¹⁰...

Приторможенное обстоятельствами поколение, не умевшее и не желавшее реализовать себя слишком всерьез посредством тотальной адаптации к среде, тормозило и по своей доброй воле. Это были часто даже не подростки. Дети. С младенческой волей, с явно выраженным нежеланием родиться в социум. Они устраива-

9 Мирер П. (ред.). Вера, это Харьков. Харьков, это Вера. Как проходило знакомство поэта из поколения 50-х с родиной Бабкина? (<http://www.mediaport.ua/news/culture/63509>).

10 Маркелова М. Вера Полозкова: «Я не люблю, когда мужчина поет, особенно когда он поет годами».

лись семейно и дружески — кому как удавалось, строя себе партикулярный ковчег комфорта, где не нужно было прогибаться и кривить душой...

Тоже образ жизни, с трещинкой наивного декадана: *«Сейчас я занимаюсь тем, что живу одна в большой пустой квартире, очень высоко над городом, фотографирую город из окна, смотрю по ночам сериал про Хауса, пишу статьи и беру интервью для разных хороших журналов, собираюсь делать свою программу на музыкальном телевидении, скоро вот первые съемки; много езжу, много читаю и мало сплю; мой день проходит, как правило, в яростном недовольстве собой, и если это хороший день, то я делаю что-нибудь, что убеждает меня в собственной бессмысленности, а если обычный, то я иду в гости или в магазин, покупаю вина и прицельно надираюсь»*. Это в интервью Эльвире Барякиной, где слова значат не столько, сколько в стихе¹¹.

Я сталкивался в те годы с такими полудетскими дружескими компаниями, с прекрасными молодыми людьми в них — творческими, умными. Рефлекс социального действия и пафос преодоления себя у них отсутствовал напрочь. Это было инфантильной, иногда вполне безответственной молодостью, свободой, свежестью первых опытов жизни, остротой первых драм, почти невыносимой концентрацией счастья, попытками взрослеть, апеллируя к своей начитанности, но избегая послушной учебы у старших. Арт-существование, тотальный хэппенинг, посильный дауншифтинг, жизнь, слитая с песней, но как-то так, что все живы, никто не умер. Ты сам вот так же вполне-таки существуешь, несмотря на то, что иногда не находишь в этом большого смысла. Конечно, была тогда и другая молодежь. Но мне почему-то кажется, что аудитория Полозковой — это именно нежные дети городов, у которых не было даже площади. Те, кто начал вдруг заново осознавать себя в конце прошлого года. Она была голосом и душой этой культурной среды, этого поколения, от которого еще недавно никто ничего не ждал вообще.

Нечто предварительное и подготовительное замечал В. Станилевский, рассуждая о месте Бога в лирике Полозковой: «В мире непоэмания Б-г — не главный, как бы ни старалась автор свалить всю ответственность на него». И цитировал: *«Да впрочем, что тебе: лет-то двадцать, в груди пожар, в голове фокстрот; Б-г рад отечески издеваться, раз уж ты ждешь от Него острот; Он дал и страсти тебе, и мозга, и, в целом, зрелищ огреб сполна; пока, однако, ты только моська, что заливается на Слона; когда ты станешь не просто куклой, такой, подкованной прыткой вишой — тебя Он стащит с ладони смуглой и пообщается, как с большой»*.

Налицо эффект неполной востребованности, — времени не нужен был масштаб, сила голоса, внятность решительного жеста.

Но важное личное обстоятельство Полозковой (и, вероятно, не только ее) заключалось в том, что ей не доставало принципиально, феноменально, потрясающе нового в этом контексте. Его можно было добирать: путешествиями в Европу, в Индию, куда угодно. Крутить романы. Играть в театре и в жизни. Временами начиная себя ненавидеть, над собой иронизировать, хотя и не без самолюбования (тут нужно бы процитировать звучный и веселый полозковский «Проебол» с бодрим смешком над собой, но воздержусь, пожалуй).

Вообще Полозковой иногда все-таки неловко, что она так исповедально проста. Есть стихотворения, где она пытается убедить нас: я не проста, я перепахала гору опыта. Не держите меня за дурочку. И любовь у меня несчастливая...

Наверное, так оно и есть. Но опыт эпохи — повторяю — вообще не весьма-то продуктивен. Поколение зависло вне зрелости и мудрости. В ее стихах последних лет проблема решается за счет довольно эксцентрического проекта. Полозкова в компенсаторном порядке эпизирует, создает необычные микророманы в стихах, в основном из англо-американской жизни.

Ну да, казалось бы, где у нас москвичка Полозкова — а где эта девушка Тара Дьюли, которая любит египетского плейбоя Шикиню, или эта вдова миссис Кор-

11 Барякина Э. Вера Полозкова, поэт любимый мой. 2009. 5 февраля (<http://agentmarge.livejournal.com/207418.html>).

стон, которая надеется встретиться после смерти с мужем и боится, что тот попадет не в рай, а в ад, или эти отец и сын Кноллы, из которых младший бросает, а старший подбирает?.. Ну придумано ж это все! Даже увлеченный Полозковой Дмитрий Быков сурово судит: «Цикл, составляющий основу “Фотосинтеза”, — короткие стихотворные новеллы то ли на американском, то ли на европейском, в любом случае на очень литературном материале сделаны виртуозно, но ни психологической достоверности, ни фабульной увлекательности в них нет. Понятно, что все это иронические проекции на литературные и журналистские клише собственных биографических коллизий, на этой иронии держится весь эффект, и прием найден славный — пересказ русских драм под американскими топонимами и в гротескно-кинематографическом антураже — но мешает именно клишированность фабул: все эти персонажи немного целлулоидны»¹².

Пусть даже сама Полозкова знает, что ответить ее критикам: Эмма — это я. «Полюбому пишешь про себя, кем бы ты ни являлся в этот момент — стареющим грузином, эмигрировавшим в Америку, девочкой, влюбившейся в 41-летнего человека и страдающей по этому поводу. Все эти люди живут во мне. А если ты вдруг пишешь не про себя — получается удивительное, уникальное говно»¹³.

Или даже так: «Как минимум у половины героев есть реальные прототипы. Говард Кнолл и его отец, периодически встречающиеся за Кровавой Мэри — прямые отец и сын, живущие в Киеве. Некоторые из этих героев — мои друзья через тридцать лет, как миссис Корстон. Некоторые — абсолютно я, как Тара Дьюли. Все они так или иначе списаны с меня, в каждом есть по 30, 80, 50 процентов меня. И все они — реальные люди, я не сомневаюсь в их существовании»¹⁴.

Ну да, это отчасти Голливуд. «Фанфики на Голливуд» (К. Букша). Но не самый примитивный, далеко не самый. Иногда красиво придумано, согласитесь. И не вижу я там совсем никакой иронии. Ирония Полозковой вообще показана разве что лишь в гомеопатических дозах, что разительным образом отличает ее от поэтов второй половины минувшего века и также объединяет с поколением, где не то что ирония — и чувство юмора присутствует не всегда. Микророманы, в которых жизнь взаправду неизбежна и неискупима.

Не знаю, почему, но я вздрагиваю на словах, которые другим кажутся банальными.

Бернард пишет Эстер: «У меня есть семья и дом.
Я веду, и я сроду не был никем ведом.
По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом.
Но когда я вижу тебя — я даже дышу с трудом».
<...>
«Моя девочка, ты красивая, как банши.
Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши,
Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши.
Никакой души ведь не хватит,
Усталой моей души».

Кто-то говорит, что весь этот ворох деталей — только уловка для заманивания публики. Кому-то покажется смешным, а я примеряю к себе явно неподходящую мне роль этого самого невесть откуда взявшегося грубошерстно-ледникового Бернарда, тающего от слов и взгляда девочки Эстер. Или — роль московской барышни Кати из текста поэнного объема в манере Петрушевской, но с антипетрушевскими

12 Быков Д. Немаленькая Вера.

13 Цит. по: Идилс Юлия, Денисова Саша. Поэт, рапорт и гамаюн. Откуда берутся молодые русскоязычные писатели. — Русский репортер. 25 февраля 2009, № 7 (86). Здесь же взяты и список сюжетов.

14 Исакова Ю. Вера Полозкова: «Я была бы не я, если бы мне хотелось только чего-то одного».

акцентами. «И Господь подумал: “Что-то Катька моя плоха. Сделалась суха, ко всему глуха. Хоть бывает Катька моя лиха, но большого нету за ней греха. Я не лотерея, чтобы дарить айпод или там монитор ЖК. Даже вот мужика — днем с огнем не найдешь для нее хорошего мужика. Но Я не садист, чтобы вечно вспахивать ей дорогу, как миномет. Катерина моя не дура. Она поймет”»...

Пожалуй, Полозкова давно уже не только упрощает, но и — иногда — усложняет. Драматизирует в той манере, которой нужно подбирать социальный или экзистенциальный ключ. Однако вот здесь она уже оказывается на той территории, где обитают едва ли не все наши корифеи поэтического хора, сделавшие нормой и привычкой трудную, сложную, мучительную жизнь. И становится ясно, что это еще не последняя правда.

Смешно морализировать. Или пестовать на манер Виктора Топорова гордыню уходящих: «У нее нет школы: в том числе и школы смирения, в том числе и школы вычеркивания, в том числе и школы аскетической медитации посреди оргиастического разгула <...> И еще у нее нет времени. Есть времечко, <...> но никак не время. Потому что на смену застою безвременью пришло в поэзии (и не только в ней) не время, а времечко. <...> Время (не путать с времечком) теперь генерируется отдельными личными — и личностными — усилиями и транслируется от человека к человеку; и это, в отличие от жужжания в ЖЖ, процесс и в некотором роде героический, и едва ли не сакрально интимный. У Веро4ки — (пока?) времечко. И в это времечко к ней пришла славочка»¹⁵.

Ну да, в ее стихах нет ни позднесоветской сложности, ни концентрации ядов, ни парадоксально устроенного экзистанса — между стебом и скорбью, — ни героизма... Вообще никаких глубины, миссионизма и жертвенности. Может быть, есть что-то провиденциальное в том, что максималист Борис Рыжий, который вроде бы мог набрать силу голоса как раз к этому времени, ушел из жизни в преддверии бездарной эпохи — и мужское соло сменилось на женское... Железо и камень на влагу и нежность.

Однако в самом важном Полозкова совпала с этой эпохой в ее самом лучшем выражении. Да, это было время наглой лжи и грубой фальши. Время равнодушия, эгоцентрики, душевного покоя. Время гламура и глянца. Но в нем, как теперь видится, был и свой андеграунд с социальной темой. Звучит у нее она так, что мало не покажется; она и тут обошла многих ровесников. Ну, вот так, например, в последние годы, с характерными антиутопическими модуляциями и слегка все же, на мой вкус, абстрактно:

Хвала отчаявшимся. Если бы не мы,
То кто бы здесь работал на контрасте.
Пока живые избегают тьмы,
Дерутся, задыхаются от страсти,
Рожают новых и берут займы,
Мы городские сумрачные власти.
Любимые наместники зимы.

Хвала отчаянью. Оно имеет ген
И от отца передается к сыну.
Как ни пытались вывести вакцину —
То нитроглицерин, то гексоген.
В больницах собирают образцы, ну
И кто здоров и хвалит медицину —
Приезжий.
Кто умрет — абориген.

¹⁵ Топоров В. Поэтесса Веро4ка и программа «Времечко» (http://www.chaskor.ru/article/poetessa_vero4ka_i_programma_vremechko_10745) (30 сентября 2009).

Хвала отчалившим. Счастливого пути.
Погрузочный зашкаливает счетчик
На корабле — ко дну бы не пойти,
У океана слабый позвоночник.
В Ковчег не допускают одиночек,
И мы друг к другу в гости к десяти
Приходим с тортиком.
Нас некому спасти.

Хвала Отчизне. Что бы без нее
Мы знали о наркотиках и винах,
О холоде, дорогах, херувимах,
Родителях и ценах на сырье.

Отчаянье, плоды неуязвимых.
Мы доблестное воинство твое.

Здесь, на мой вкус, перебор с фатализмом. Но он исторически мотивирован. А есть и простая стойкость без жалобы. Нет даже намек на жалобу, чтоб пожалели, всплакнули. (Да и кто б это пожалел и всплакнул?) Твердый стоицизм без надежды на лучшее будущее. Я не уверен, что это самое продуктивное отношение к нашей геологии. Не знаю. В любом случае я не представляю себе крупного поэта без мысли о России, без мысли о человечестве. Мне кажется, что пустые нулевые — эпоха безвременья — притормозили движение Полозковой к какому-то новому качеству. Но перспектива не закрыта...

Но не многого ли я хочу? Ну а как же, если читаю:

Стиснув до белизны кулаки,
Я не чувствую боли.
Я играю лишь главные роли —
Пусть они не всегда велики,
Но зато в них всегда больше соли...

Если поэзия кончится и соль потеряет свою силу, то что же останется? Разве только нефть.

Алексей Конаков

Хорошо конспирированный кумир

взгляд на Андрея Родионова

Самое лаконичное описание «идиостиля» Андрея Родионова дал в свое время В. Курицын: «Он орет рэп про приключения пьяных мудаков на московских окраинах»¹. Несмотря на характерную для знаменитого критика развязность, точность данной формулировки — почти античная. И вот что важно отметить: практически все составляющие родионовской стилистики — и знаменитый «фоноцентризм», проявляющийся в пристрастии к слэму («орет»), и выбор необычной художественной тематики («московские окраины»), и явная склонность к развернутым эпическим полотнам («приключения пьяных мудаков»), и, наконец, сама поэтическая техника («рэп») — весьма трудно вписываются в формат «толстых» литературных журналов. В «Журнальном зале» всего пять публикаций Родионова за период с 2006 по 2012 год, при том что в это время у него вышли три книги в издательстве «НЛО» («Игрушки для окраин», «Люди безнадежно устаревших профессий», «Новая драматургия»), а еще три были изданы ранее. Самая известная из них — «Пельмени устрицы» — попала в 2005 году в шорт-лист премии Андрея Белого. Механизмы общественного признания устроены так, что субъект является производной собственных атрибутов, а потому ситуация с Родионовым крайне любопытна: несмотря на любые премии, читателю трудно помыслить крупного отечественного поэта без хорошего списка публикаций в «мейнстримном» списке журналов на www.magazines.russ.ru.

Озвученная проблема — является ли вообще Родионов «поэтом» для среднестатистического читателя «Знамени» или «Октября»? — может показаться несколько зауженной и локальной, но она хороша тем, что позволяет нам плавно войти в «ситуацию Родионова». Ведь суть дела вовсе не в сообществе читателей, а в том, с чего мы начали, — в «идиостиле» Родионова, который и по сей день ставит в тупик многих серьезных исследователей его творчества. Начать с того, что из внушительного количества статей и заметок, по большому счету, лишь одна пытается всерьез проанализировать поэтику Родионова. Это интереснейшее послесловие И. Кукулина к «Игрушкам для окраин», в котором он — через рэп-культуру и лианозовскую школу — проводит линию от Родионова к поэтам «Сатирикона»². Почти все остальные отказываются понимать Родионова как чисто литературный феномен, предпочитая обращение к социальным и массмедийным полям интерпретации. Так, например, О. Дарк вспоминает о киберпанке и компьютерных играх³, Е. Вежлян упирает на «функциональное место» поэта в литпроцессе⁴, а Н. Курчатова в принципе отказывается говорить о стихах Родионова: «“Стихов Родионова”, думаю, не существует. Есть Родионов — как феномен-франкенштейн, плюшевый мишка швами наружу, с пуговицей вместо носа, и даже вага кое-где торчит»⁵. Таким образом, и на уровне критики важнейшим остается простой вопрос: «А поэт ли он вообще, этот Андрей Родионов?»

Об авторе | Алексей Андреевич Конаков родился в 1985 году в Ленинграде, долгое время жил на Севере, в Республике Коми. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге, работает в сфере гидроэнергетики. Публикации в журналах «Звезда», «Дети Ра», «День и Ночь», «Запасник», «Трамвай». Предыдущая публикация в «Знамени» — 2012, № 12.

Специфика поставленного выше вопроса такова, что прежде разворачивания крупных общеэстетических теорий относительно Родионова требует прояснения простейших принципов работы его текстов. И потому весьма полезным будет проанализировать «устройство» родионовских стихов на их самых низких уровнях. Забегая немного вперед, рискну — на основании такого анализа — сделать предположение, что весь поэтический проект «зрелого» Родионова (книга «Игрушки для окраин» в этом смысле наиболее репрезентативна) строится на парадоксальной разработке наследия практически одного великого предшественника. Фраза В. Шкловского о литературном наследовании, идущем не от отца к сыну, а от дяди к племяннику, недаром была так популярна в девяностые годы двадцатого века — ибо казалась не описанием, но рецептом. Ее импликация с «эдиповым комплексом» были позднее развиты Х. Блумом в знаменитой теории «страха влияния», также весьма востребованной российскими литераторами. «Великий предшественник», о котором я упомянул применительно к Родионову, «вытеснялся» (со всеми фрейдистскими коннотациями) из поэтического сознания наследников как раз с помощью описанных методов. Ужас подражания маэстро, боязнь быть ославленным в качестве эпигона после первого же неосторожного переноса фразы достигали порой уровня паранойи. И тайна Родионова в том, что он — один из немногих! — оказался неподверженным этому всеобщему страху.

Думается, читатель уже догадался, о ком идет речь, кто так жестко и последовательно элиминировался из поэтического опыта целого поколения и к кому я пытаюсь возвести генеалогию всей поэтики Родионова. Это, разумеется, Иосиф Бродский. Ситуация с ним сложилась воистину драматичная и парадоксальная. Чтобы не быть голословным, приведу хотя бы крайне характерные наблюдения Б. Херсонского: «Я произнес имя Бродского в небольшой литературной тусовке. И узнал много интересного. В частности, что лучше Бродского Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Владимир Гандельсман и, конечно, Дмитрий Пригов. Пригов даже намного лучше. <...> И сегодня скажу: не хотите показаться невежей — молчите об Иосифе. Не поминайте. Провинциалом сочтут или от дома откажут. Мало кто из моих приятелей не декларировал нелюбовь к Бродскому в разных выражениях и с разной настойчивостью»⁶. Очевидно, в терминах В. Шкловского перед нами типичные поиски «дяди» — в противовес «отцу». Конечно же, в описанном процессе нет ничего дурного и предосудительного, он абсолютно нормален. Однако именно в силу сложившейся ситуации острый интерес вызывают как раз те авторы, которые так или иначе пытаются выйти на размеченные Бродским области и каким-то образом продолжить его работу по исследованию возможностей и границ определенного типа поэтики. Жест приятия в данном случае оказывается смелее жеста отрицания.

Но поскольку магнетическое обаяние Бродского способно завлечь и уничтожить любую индивидуальность, особую важность приобретает своего рода «техника безопасности» при работе с его наследием, система мер и контрприемов, позволяющих сохранять столь необходимую дистанцию. Тот же Б. Херсонский достигает равновесия на уровне книг, обильно разбавляя написанные под явным влиянием Бродского стихотворения верлибрами; популярная В. Павлова, взявшая у нобелиата дольники, анжамбеманы и сложный синтаксис, сознательно применяет их только на сверхмалых пространствах лирических восьмистиший, и т. п. Методика Родионова куда более агрессивна и заключается в перманентном снижении и вульгаризации поэтики Бродского практически на всех уровнях построения текста. Легче всего здесь отследить лексику, прямое полемическое цитирование-шаржирование: если у Бродского во рту «развалины почище Парфенона»⁷, то у Родионова «во рту <...> зубы, словно улица старого Норильска»⁸, если у Бродского находятся «подъезды, чье небо воспалено ангиной / лампочки», то и у Родионова отыщется «лампочка — раскаленный клитор подъездного срама»⁹, наконец, если у Бродского ветер, который «волосы шевелит на больной голове», возвещает лишь приход зимы, то у Родионова «ветер, который сейчас шевелит мои волосы»¹⁰, должен пригнать грозу, в которую убуьют деревенского идиота, укравшего рулон туалетной бумаги.

Обратим внимание, что Родионов практически ничего не придумывает «от себя». Так и вся его приснопамятная матерщина может быть понята как полемическое заострение принципа «недискриминированности лексики», царящего в стихах Бродского. Вспомним «ломиться на позоре», «глаз больше не бздюме», «валял дурака под кожу» — и густая родионовская похабщина «убейвайте нахуй отсюда бля»¹¹ сразу окажется вписана в понятную логику стилистического наследования. Гипербола маскирует генеалогию, но живописуемый Родионовым «запах говна из влагальца»¹² был бы невозможен без введенных в поэзию Бродским «злых корольков и визгливых сиповок» или «шахны еврейки, с которой был в молодости знаком». Не самая заметная стилистическая черта Бродского — вульгаризм — становится в исполнении Родионова кунштюком, призванным отвлечь читателя от факта литературного наследования. То же самое происходит, например, и с экзотизмами: обильные упоминания «Мериды», «Сан-Пьеро», «Арно» у нобелиата сменяются не менее частыми «Выхино», «Марфино» и «Медведково» у Родионова, а любимая Бродским Иския («У. Х. Оден вино глушил») неожиданно трансформируется в речку, «которая называлась Ичка»¹³, возле которой хлещут водку заколдованные алкоголики. Наконец, даже само знаменитое Время Бродского, древнегреческий Хронос, обнаруживает себя в смачном существительном «хронь» — еще одном обозначении Родионовым пьющих людей.

Точно так же продолжается вульгаризация Бродского и на уровне стихотворной техники. Стиль зрелого Родионова характеризуется длинной строкой раскованного тактовика («у одной девочки в вагоне папа билет потерял»¹⁴), применением больших безударных периодов («и противостояние влажной экспансии юга»¹⁵), изощреннейшими инверсиями («она — у нее была, чтоб все ее хотели, такая ма-ния»¹⁶) и анжамбеманами («и вырывается пар из чайника / гордого как у титаника носика»¹⁷) — вообще усложненным до пародии синтаксисом («глупо, конечно, что трогательно, что я запомнил, что он нес коробку»¹⁸). Что это, если не «устервленный» (по собственному выражению нобелиата) до карикатуры Бродский?! И, подобно предшественнику в его позднем периоде, Родионов компенсирует усложнение ритма упрощением строфики — почти все его вещи написаны простыми катренами. Здесь нужно отметить принципиальный момент — «заострению» подвергаются наиболее узнаваемые черты поэтического стиля Бродского, такие, как длинная строка и разболтанный ритм; более тонкие аспекты, вроде рифмовки, звукописи, иконичности и т. п., оставляются Родионовым без внимания. Автор словно бы специально создает из Бродского страшноватое чучело, малюет недобрый шарж — но именно такой жест отталкивания прячет в себе жест присвоения. Экспроприация для собственных нужд поэтики Бродского маскируется Родионовым с помощью ее максимального выпячивания.

Весьма характерной приметой описанного выше процесса может быть частое сравнение Родионова с другим великим поэтом — Маяковским. Сходство поэтик двух авторов отмечают и И. Кукулин, и Л. Вязмитинова, и другие. Однако между Маяковским и Родионовым — все тот же посредник. Л. Лосев недаром писал в 1998 году: «Бродского кое-кто не без эпатажа, но и не без проницательности сравнивал с Маяковским»¹⁹. В 1983 году эту гипотезу выдвигал Ю. Карабчиевский²⁰, в 1995 году на примере рифмы ее подтвердил М. Гаспаров²¹. Наконец, и сам Бродский признавался в знаменитых диалогах С. Волкову: «Уверю вас, что в плане чисто техническом Маяковский — чрезвычайно привлекательная фигура. Эти рифмы, эти паузы. И более всего, полагаю, громоздкость и раскрепощенность стиха Маяковского»²². Если прибегать к метафорам, то можно сказать, что Родионов — это очень сильно «провисший» Бродский: словно бы начисто удалили влияние Цветаевой и Мандельштама, английских и латинских поэтов, и остался только каркас из маяковской ритмики да знаменитая «трезвость взгляда», пародийно реализуемая в речах вечно пьяных родионовских персонажей. Поняв логику Родионова, мы уже не должны удивляться пристрастию его персонажей к глубокомысленным фразам: «Это миф, что сказочные герои не любят пить, / Просто они не умеют блевать»²³ и квазилитературским констатациям: «шел домой и думал с грустной улыбкою, / как над нами судьба хохочет»²⁴.

Наконец, нам нельзя обойти вниманием и самую знаменитую дефиницию родионовского стиля — «рэп». Кажется, такое указание способно в корне подорвать все спекуляции пишущего данные строки по возведению Родионова к Бродскому. Однако нужно просто остановиться и подумать о данном типе высказывания. Вспомним, например, старую шутку Б. Парамонова о том, что «рэп — это Джойс для бедных»²⁵. Перед нами — вовсе не снобизм, но четкое понимание самой природы современности, указание на тот факт, что она обязательно имеет две невозможные одна без другой стороны, что поп-культура является не паразитом, но необходимым следствием великих прорывов модернизма. Да и с точки зрения поэтики рэп — с его навязчивыми перечислениями слов, вещей, ситуаций и лиц, с его стремлением к бесконечному развертыванию во времени и пространстве, с его частой бессюжетностью, компенсируемой лишь движением стилистических фигур, с его критическим взглядом, осложненным порой романтизмом особого излома — не напоминает ли нам великого «Улисса»? Переноса эту логику с иностранной прозы в отечественную поэзию, мы неизбежно должны будем сделать вывод о наследовании русского рэпа — как раз Бродскому с его длинными каталогами и показной грубостью. Русский рэп, таким образом, — это модернистский, даже «бродкистский» проект в современной поэзии, а стилистическая генеалогия Родионова снова приходит все к тому же истоку.

Теперь, после длинной подготовительной работы — призванной показать, что Родионов, будучи главным «волитературенным» рэпером современной России, целиком опирается в своей поэтике на Бродского, попутно маскируя такое опирание осмеянием, — мне хотелось бы озвучить главный тезис. Удовольствие, которое мы испытываем, читая стихи Родионова, имеет довольно занимательную природу. Это не удовольствие от сюжетного повествования «про зайца Тухлятину» (хотя кто-то поспорит). Это и не удовольствие от риторических игр поэта, вроде мощной звукописи «вереск, верба, ржавые запорожцы»²⁶ (хотя кто-то и ценит). Подобно кощейвой смерти, оно находится вне объекта — не в самих стихах, но в контексте литературной эволюции. Вещи Родионова интересны в первую очередь потому, что являются своего рода магическим кристаллом, новым видом оптики, с помощью которой нам становится лучше виден Бродский. Конечно же, для поэта такое сведение всех продуктов его творчества к предшественнику является страшным оскорблением — но вспомним наш первый вопрос: «Поэт ли Родионов?» Я, как и многие, склонен отвечать на этот вопрос отрицательно, но и отрицание это будет несколько иным. Стандартные апелляции к образу а-ля Д. Пригов — массмедийного «артиста», не вмещающегося в формат, — стоит заменить апелляциями к образу а-ля Л. Лосев — «литературоведа» узкого профиля, для которого формат, напротив, слишком просторен.

Суть в том, что оба они — и Л. Лосев, и А. Родионов — не являются поэтами в традиционном понимании. Поэзия для них — продолжение литературоведения другими средствами, концептуально новый способ изучать наследие Бродского. Но если Л. Лосев, испытывавший к другу колоссальный пиетет, создавал из своих стихов развернутые трактаты о поэтике Бродского, то исследования куда менее почтительно-го Родионова выстроены совершенно иначе. Навскидку можно сказать, что его занимает этическая сторона личности Бродского. Ведь и до сих пор монолитный поэтический фасад нобелиата скрывает за собой множество отвратительных антиномий, решения которых не так-то легко отыскать. Все помнят знаменитые высказывания Бродского об эстетике, являющейся матерью этики: «В этике не “все позволено” потому, что в эстетике не “все позволено”, потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный». Но, в таком случае, не означает ли «амбивалентная» эстетика самого Бродского (с постоянными «муде», «бздюме», «бляди», «раком») «амбивалентность» его этики? И не влечет ли, например, употребление слова «быдло» в стихах — чудовищный шовинизм во взглядах (вспомнить хотя бы обращенное к украинцам стихотворение про «брехню Тараса»)?

Подобные «этико-эстетические парадоксы» Бродского в принципе не могли быть решены в рамках традиционного мышления. Друзья поэта, не сомневавшиеся в его нравственности, в то же самое время не умели объяснить себе вольностей стилистики — и задавались мучительными вопросами: «Чем мускулистей корни, тем осенью больше бздо» — ну что это такое?»²⁷ Именно поэтому и нов Родионов со своей «вулгаризацией Бродского» на уровне лексики, ритмики и синтаксиса — он смело эксплицирует эту темную двойственность позиции нобелиата, вытаскивает ее на яркий свет для лучшего изучения и препарирования. Благодаря Родионову высвечивается целый ряд сюжетных мотивов, бывших в поэзии Бродского подавленными или недоразвитыми. Вспомним, к примеру, тематику промышленных трущоб. Все знают Родионова как певца городских окраин, но он развивает и исследует, в том числе, и тайные интересы Бродского. Так, например, небрежно кинутая нобелиатом фраза про «черно-белый рай новостроек» уточняется Родионовым до важнейших архитектурных характеристик: «двенадцатизэтажные дома с одним подъездом»²⁸. «Я всегда торчал от индустриального пейзажа», — рассказывает Бродский тому же С. Волкову²⁹, но его брутальный урбанизм, начиная со знаменитого «От окраины к центру» и заканчивая «Я позабыл тебя, но помню шпугатурку», может быть, лучше осознан как отдельный текст именно после прочтения стихов Родионова.

Другой тематикой Бродского, также весьма занимающей Родионова, является «стоицизм» — тем более что он, будучи кодексом поведения, вплотную соприкасается со все теми же этико-эстетическими антиномиями. Никакого почтения к предшественнику нет и в данном случае. Персонажи родионовских стихов все на подбор говорят как стоики, являясь при этом бандитами и алкашами: «...это жизнь и никого и ни о чем жалеть не надо»³⁰. Иные стихи Родионова почти неотличимы от стандартных высказываний Бродского на темы приятия грядущей смерти и небытия: «И еще надежда, не об этом, другая, / Но уже сейчас бы надо себя тренировать, / Чтобы умереть тихо, не вереща и не ругая / Никого, не тревожа обступивших кровать»³¹. Но так ведь и у самого нобелиата есть множество строк, отлично подходящих самым опустившимся людям, взять знаменитое: «Пусть ты последняя рванина, / пыль под забором, / на джентльмена, дворянина / кладешь с прибором!» Близость — хотя бы на языковом уровне — босяцких и элитарных мировоззрений поражает, и хочется задавать все новые вопросы. Из какого таки сора произрастает прославленный стоицизм Бродского? Дело в чтении Сенеки и Марка Аврелия или в дворовом ленинградском воспитании, школе заводов и ПТУ? Где заносчивый юноша с грубыми манерами (запомнившийся, например, Л. Штерн³²) переходит в мужественного философа? И, быть может, лучшими стойками являются именно городские подонки?

Итак, парадоксальным образом Родионов оказывается интересным постольку, поскольку он не является поэтом. Кажется, его творческий проект правильнее всего понимать как странный извод бродсковедения, исследовательскую программу литературоведения. Эта стратегия, конечно же, бесконечно далека от серьезных изысканий В. Полухиной — но не беспрецедентна (о чем мы уже говорили выше, вспоминая Л. Лосева). При таком развороте проблемы перед нами предстает вовсе не предприимчивый «артист», преодолевающий, по одному из рецептов Х. Блума, влияние великого предшественника, но своеобразный ученый-гуманитарий, пристально рассматривающий наиболее спорные и противоречивые черты творческого портрета Бродского. В этом смысле притворяющиеся стихами тексты Родионова следовало бы помещать в толстых литературных журналах под рубриками «литературоведение», «критика», «прочтение» и т. п. — но не «поэзия». И, конечно же, проект Родионова должен подталкивать читателя к очередному пересмотру старинной оппозиции поэт / филолог. Хайдеггер предлагал понимать поэзию не в плане банального сочинения все новых историй и мифов, но как «раскрытие потаенного» в бытии. В таком случае и раскрывающий потаенные стороны чьего-то поэтического мира литературовед оказывается поэтом — причем большим, нежели иной слагатель побасенок из жизни обыкновенных людей, чудесных зверей или риторических фигур.

В чем же главное достижение Родионова-исследователя, каков итог его многолетней работы? Как известно, каждая эпоха на свой манер перечитывает гениев —

вспомним хоть трактовки Пушкина В. Белинским, Д. Писаревым, М. Гершензоном и А. Синявским. Родионов подарил поколению девяностых и нулевых собственного Бродского. До сих пор Бродский был один — аристократ в «монастыре собственного духа» (по С. Довлатову), стойчески противостоящий «натиску ширпотреб» и селевым потокам пошлости. Этот образ очевидно служил нуждам советской интеллигенции эпохи застоя, был инспирирован и конституирован ее запросом. Детям новой России требовался совсем другой герой, и «прикладное бродсковедение» Родионова породило его — едкого ерника и матерщинника, наблюдающего преимущественно жизнь городских окраин и, разумеется, всегда помнящего о смерти. Это был Бродский, мутировавший в веселом воздухе девяностых и описанный литературоведом, который настолько проникся задачей, что сумел совместить язык исследующего с языком исследуемого, добиться полной конгенности своему герою. Посещая выступления Родионова, мы словно бы видим современного Бродского — очищенного от комплексов прошлого, но обремененного множеством комплексов настоящего; давно знакомая фигура оказывается вдруг поразительно новой, «остраненной» — и радость от такой новизны заслуживает слов настоящей благодарности.

Примечания

- 1 В. Курицын. Часы остановились (<http://www.belyprize.ru/>).
- 2 И. Кукулин. Работник городской закулись, послесловие в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*. М.: НЛО, 2008.
- 3 О. Дарк. Изобретение Родионова // *Русский журнал*, 29.08.2007.
- 4 Книжная полка Евгении Вежлян // *Новый мир*, 2007, № 10.
- 5 Н. Курчатова. О стихах Андрея Родионова // *Критическая масса*, 2004, № 4.
- 6 Б. Херсонский. Не быть, как Бродский // *Крещатик*, 2007, № 2.
- 7 Все цитаты из И. Бродского даются по изд.: *Сочинения Иосифа Бродского. В 7 томах*. М.: Издательство Пушкинского фонда, 2001.
- 8 «Новая драматургия», в кн.: А. Родионов. *Новая драматургия*. М.: НЛО, 2010.
- 9 «Прыщи пятиэтажек, фурункул супермаркета», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 10 «Иногда в пригородах Москвы», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 11 «Синий эльф», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 12 «Меж черной копоти и окон, лотерей», в кн.: А. Родионов. *Люди безнадежно устаревших профессий*. М.: НЛО, 2008.
- 13 «Синий эльф», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 14 «Поэзия — часть праздника», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 15 «Около ВДНХ в день зарплат», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 16 «Меж черной копоти и окон, лотерей», в кн.: А. Родионов. *Люди безнадежно устаревших профессий*.
- 17 «В маленьких игровых залах, согласно объявлению», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 18 «Лицо краснотеревика мускулатура», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 19 Л. Лосев. *Послесловие*. СПб.: Пушкинский фонд, 1998.
- 20 Ю. Карабчиевский. *Воскресение Маяковского*, 1983.
- 21 «Рифма Бродского», в кн.: М.Л. Гаспаров. *Избранные статьи*. М.: НЛО, 1995.
- 22 С. Волков. *Диалоги с Иосифом Бродским*. М.: Независимая газета, 1998.
- 23 «В электричке — капли на оконном стекле...», в кн.: А. Родионов. *Портрет с натуры*. Екатеринбург: Ультра-Культура, 2005.
- 24 «Правда, он уже был пьян», в кн.: А. Родионов. *Портрет с натуры*.
- 25 Б. Парамонов. *Конец стиля*. СПб. — Москва: Аграф, 1997.
- 26 «Синий эльф», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 27 А. Кушнер. *Здесь, на земле*. Цит. по кн.: «Иосиф Бродский: труды и дни». М.: Независимая газета, 1999.
- 28 «Под яблонями севера Москвы корявыми», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 29 С. Волков. *Диалоги с Иосифом Бродским*.
- 30 «Букеты в метро у девушек одиноких», в кн.: А. Родионов. *Игрушки для окраин*.
- 31 «Я уже давно не делал правильных выводов», в кн.: А. Родионов. *Люди безнадежно устаревших профессий*.
- 32 Л. Штерн. *Бродский: Ося, Иосиф, Joseph*. М.: Независимая газета, 2002.

Иван Гончаров в контексте XXI века

Осенью минувшего года в редакции журнала «Знамя» состоялась конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова. В ней приняли участие прозаики и критики С. Кузнецов, В. Губайловский, А. Рубанов, В. Пустовая, И. Ковалева, а также сотрудники редакции Е. Вежлян, К. Степанян, Е. Холмогорова. Вел заседание главный редактор журнала «Знамя» С. Чупринин. Предлагаем читателю материалы состоявшегося разговора.

Сергей Чупринин: Юбилей такого классика, как Гончаров, всегда не только праздник для любителей российской словесности, но и прекрасный рабочий повод поговорить о сегодняшнем состоянии современной литературы. Как выглядит она в свете культурного предания? Помнит ли о своей ответственности перед временем и традицией? Открывает ли новые мировоззренческие и художественные смыслы в сравнении с теми, что были завещаны XIX веком?

В июне, в день юбилейного торжества, «Знамя» собирало преимущественно филологов, поэтому и разговор шел главным образом о том, живо ли наследие Гончарова в нашем сознании. Материалы той встречи на страницах журнала уже публикуются (№№9, 10 и 12 за 2012 год) и, я надеюсь, послужат отправной точкой для новой дискуссии, на которую мы сейчас пригласили прозаиков и критиков, занятых освоением сегодняшней литературной реальности. А сюжеты для наших размышлений — традиции и новаторство, место литературы в обществе, искусство слова перед вызовами рынка — все те же, что и всегда. Видимо, сколько будет существовать словесность, столько мы и будем об этом спорить. Прибавляя что-то новое, свое, как все мы верим, к тому, что уже было сказано и будет сказано.

Итак...

Валерия Пустовая: Этот «круглый стол», на самом деле, начался у меня еще вчера в журнале «Октябрь», где я работаю. Мы глубоко задумались о Гончарове и, конечно, договорились до животрепещущих тем дивана и революции. Но критик Мария Ремизова, которая принимала участие в разговоре, вывела нас к сюжету отношений мужчины и женщины в русской литературе. На материале романов Гончарова она предложила рассмотреть образ женщины как жизни и отношение героя к женщине трактовать как отношение героя к жизни.

Мужчины и женщины нас при этом интересовали, конечно, не гончаровские, а современные.

И пришлось нам прийти к тому выводу, что смысловые матрицы русской литературы воспроизводят себя в русской жизни до сих пор. Например, в свое время у меня была статья, сопоставляющая Захара Прилепина и Романа Сенчина как апологетов «рахметовщины» и «обломовщины» — разрушительного действия и разрушительно-го недеяния. Эта матрица русского бунта, русского нежелания жить как-то частно, обычно, мелко, желание русского литературного героя прорваться к чему-то большому, чем какая-то видимая, повседневная жизнь, в этих двух направлениях, собственно, и продолжает в литературе и в жизни осуществляться. Новые Рахметовы появляются в прозе Прилепина, и новые Обломовы появляются в прозе Сенчина.

Так, главный герой вышедшего в «Знамени» романа Сенчина «Лед под ногами» отсылает нас к образу Обломова. Он даже умирает для того, чтобы не принимать

участия в общей политической борьбе, в коллективных иллюзиях людей с, как сейчас говорят, активной жизненной позицией. Это диванный обломовский бунт в его предельном выражении.

И Михаил Шишкин в эссе о Гончарове для учебника «Литературная матрица» пишет о бунте Обломова, что, мол, Обломов — чистый душой человек и что он просто не мог свою душу продать за такие мелкие цели, как штольцевская нажива. Шишкин спрашивает: ради чего Обломов встал бы с дивана? И отвечает: например, если была бы война, если бы к нему, как к богатырю Илье... Потому что, по Шишкину, героя назвали Ильей в честь спавшего богатыря. И вот Обломов, спавший на диване богатырь, если бы случилась война, встал бы и пошел, он бы родину свою защитил, — считает Михаил Шишкин.

А мне кажется, что даже война мелка была бы для русского героя, для идеала этой русской медитации на диване. Русская медитация на диване ищет ни много ни мало Бога — что-то такое абсолютное, по сравнению с чем ни революция, ни война не могут иметь никакой ценности. В этом смысле герои Прилепина как бы уступают героям Сенчина: Рахметов уступает Обломову, как Болконский — Безухову. Абсолютная ценность, ради которой русский герой может встать с дивана, не может быть социальна. Именно поэтому русские писатели до сих пор ищут разрыв установившегося социального порядка. Ведь и Пьер Безухов настоящую жизнь смог обрести только тогда, когда все социальные связи рухнули — именно так, а не для героического боя, пригодились ему война.

И вот альтернатива, которую предлагал Гончаров и которую вслед за ним предлагает нам Шишкин, анализируя творчество Гончарова: полужизнь ради наживы, ради тщеславия — или антижизнь на диване. Но это какая-то ложная альтернатива: в русской литературе не хватает именно жизни самой по себе. Шишкин употребляет это выражение в своей статье о Гончарове — «жизнь сама по себе». Мол, русский человек не ценит жизнь саму по себе. Но что это за «жизнь сама по себе»? И может ли сам Шишкин изобразить ее? Ведь Шишкин тоже немного, извините, некрофил в литературе. О смерти самой по себе Шишкин умеет очень хорошо писать, но о жизни самой по себе — нет. Попытки приблизиться к жизни в ее существе, в ее природе, к жизни не социальной, не внутри социума, не ради каких-то социальных целей, а к жизни как ценности божественной, жизни как душе мира — делается очень редко.

Тут мы приходим к тому, что сказала вчера Мария Ремизова в редакции «Октябрь»: о герое и женщине, о том, что вечный наш спор — кому достанется Ольга. Штольцу, Обломову или вообще кому-то совершенно другому — идеалу? Вот эта огромная плодородная сила жизни — кем может быть ухвачена?

Пользуясь тем, что здесь присутствуют наши знаменитые и уважаемые прозаики, я бы хотела сказать, что в их последних произведениях есть такие довольно штольцевские герои. И меня очень волнует, что эти современные штольцевские, деловые герои подчеркнута бесплодны. У Сергея Кузнецова в «Хороводе воды» это одна из главных сюжетных линий: жена преуспевающего владельца фирмы по дизайну аквариумов в депрессии оттого, что никак не может забеременеть, и автор в виде компенсации наделяет ее мистическими способностями. Сейчас новый роман Александра Архангельского выходит — он печатается в «Октябре», а под другим названием выйдет книгой, — и вот у него то же самое: деловой герой, с некой даже осмысленностью в жизни, но почему-то опять с ним рядом какая-то постоянно несчастная жена, какая-то бесплодная постоянно жизнь. В общем-то и Ольга у Гончарова немножко несчастная жена, чего-то в ней все время не хватает, что-то в ней все время не рождается. И оплодотворить современную жизнь Штольц до сих пор не может. И русская литература до сих пор к жизни не пришла.

Сейчас, конечно, время маленьких Штольцев настало в обществе, и обломовский бездействующий, умирающий для общей жизни идеал отошел, мне кажется, на второй план. Сейчас очень важно быть таким малым Штольцем на своем маленьком участке, в своем районе. И насколько это все продуктивно, насколько это будет питать и нашу литературу и наше искусство — это большой вопрос. Или ждет нас после маленьких Штольцев откат к вот этой русской медитации на диване — но

не будет ли это связано с какими-то опять глобальными разрушениями всех социальных связей?

Сергей Кузнецов: Надо сказать, что я довольно редко участвую в подобного рода «круглых столах» про литературу, тем более — про русскую классическую литературу. Когда я был литературным критиком, занимался другим, и сейчас для меня это очень важный и интересный опыт.

Если бы два дня назад кто-нибудь сказал, что сегодня я буду сидеть и обсуждать, что такое русский человек, то я бы просто не поверил. Но вот сейчас это происходит. Потому что, когда мы начинаем говорить о русской классической литературе... даже и не успеваем начать говорить, а только обозначаем тему... как тут же перестаем говорить о литературе и начинаем говорить, что значит быть русским человеком. И в этом смысле тоже русская матрица, как справедливо было сказано, воспроизводит себя с пугающей регулярностью.

Русский человек, человек русской культуры, столь многогранен, что он, конечно, бежит любых определений. Но если искать что-то, что объединяет русских людей, то я бы сказал, что это установка на максимализм. В чем и есть корень того противопоставления, о котором говорила Валерия.

И в этом смысле нет никакой разницы, проявляется ли этот максимализм в том, что русский человек лежит на диване и не встанет даже, если случится война или революция, или в том, что он идет и решительно строит какой-нибудь бизнес. Все любят говорить о том, что в России не очень хорошо с малым бизнесом, потому что коррупция, менты, государство не поддерживает, и так далее. Но на самом деле в России плохо с малым бизнесом прежде всего потому, что ни один человек, начинающий малый бизнес, не хочет сделать малый бизнес. Он хочет сделать большой. А малый — это так, это старт. Если у него все хорошо пошло в первый год и во второй год, то он считает, что и дальше все должно расти по экспоненте. И вот потому в России трудно встретить человека, у которого, скажем, свое маленькое кафе, и нет идеи сделать из этого большую сеть на весь город или продать его за безумные деньги и на полученные деньги ничего не делать, как Обломов. В Европе и Америке я видел множество таких людей, а в России мне такой вариант, наверное, почти никогда не встречался. Всякий человек, который делает бизнес, хочет, чтобы он бесконечно рос по экспоненте. Ну, он и растет, пока не рухнет, потому что не всякий способен растить свой бизнес по экспоненте. Мне кажется, то, что мы мало видим этих микроштольцев, время которых должно было прийти, связано ровно с тем, что никто не хочет построить маленький паровозик, а хочет сразу оказаться владельцем РЖД. И это — проявление того самого русского максимализма. Если лежать на диване, то чтобы уж ничто тебя не стронуло, а если заняться обустройством, то сразу обустройством всей страны, не размениваясь на свой микрорайон. А если, упаси господи, писать книжку, то великий роман. И так далее. Мне кажется, это важное качество русских людей, которое действительно у Гончарова довольно хорошо подмечено, и оно, видимо, никуда не денется и с нами останется вовек.

Евгения Вежлян: Я бы хотела обратить внимание, что обе прозвучавшие реплики выводятся из некоторой общей, и довольно странной, установки. Русская литература в рамках нашего разговора сразу оказывается инструментом для спонтанного социологического анализа действительности. Вспоминается программная статья Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», где он говорит, естественно, не про некоторого героя Сервантеса и не про некоторого героя Шекспира.

Герои Сервантеса и Шекспира помогают Тургеневу задать объяснительные схемы определенных процессов, идеологических и, если хотите, антропологических, которые происходили в России его времени, и тем самым научить литературу схватывать те изменения, которые произошли с человеком во второй половине девятнадцатого века. С Гончаровым мы сейчас продельваем то же самое, что Тургенев с Сервантесом и Шекспиром. И, мне кажется, это неслучайно.

С Гончаровым произошла замечательная история, в которой, может быть, отчасти он и сам виноват, его литературное поведение, его литературная стратегия.

Его тексты перестали быть текстами. То есть Гончаров-писатель для нас — будто прозрачное стекло. Мы его не видим. Мы видим его персонажей как бы «мимо текста» — напрямую, непосредственно. И, похоже, писательская техника Гончарова как-то содействует именно такому их восприятию.

Карен Степанян: А с другими классиками это не так? Скажем, с Толстым?

Евгения Вежлян: Нет, с Толстым — не совсем так. И во многом в этом «виновато» литературоведение. Шкловский строил свою теорию прозы на анализе толстовских текстов. И — изменил оптику читательского восприятия. Мы уже не можем забыть о том, как «сделаны» тексты Толстого, как и о самом факте этой «сделанности». Но на это были потрачены огромные теоретические усилия. С Гончаровым такого не произошло.

И Гончаров-писатель до сих пор выскальзывает из нашего восприятия. Мы начали говорить про Гончарова и соскользнули из разговора о литературе сразу в жизнь. Мне хотелось бы внести в наш разговор еще одну тему — тему Гончарова-художника и тему самой классической традиции. Именно в связи с Гончаровым хорошо было бы вопрос о классической традиции как бы «перепоставить». Проза как особого рода словесное искусство (о чем у нас любят забывать) не создается из пустого, некоторого безвоздушного пространства. Проза тоже, как и поэзия, соотносится с тем, что она чувствует и считает своей традицией. Мне кажется, что слова «чувствует» и «считает» здесь принципиальны. Литературоведение часто навязывает литературной «практике» свое обобщенное представление о том, что есть традиционное, свое обобщенное представление о классическом. Между тем, в отношении литературной современности было бы интересно пойти от практики, попытаться понять, из чего складывается само ощущение традиции, есть ли оно у современной прозы. И в этом отношении Гончаров интересен именно тем, что его тексты воспринимаются, как мне кажется, как такая «суперклассика», классика в квадрате.

Я хочу вбросить в аудиторию такой вопрос: а как мы чувствуем «гончаровскую традицию»? Именно, может быть, в стилистическом смысле, в каком-то прозаически-техническом смысле — что это такое? И насколько данная традиция для нас актуальна?

Андрей Рубанов: Создать и родить персонажей — это одно из достижений. То есть если я, сочинитель, придумал персонажа, и родил его, и он запомнился читателю, то в этом смысле я состоялся. Даже если я плохо пишу. Придумать своего Обломова, безусловно, мечтает каждый сочинитель. Если это — традиция, тогда я — приверженец традиций. Ценность Обломова для меня не в том, что он лежал на диване и олицетворял собой некую идею. Тот или иной персонаж всегда выражает ту или иную идею. Иначе он не персонаж. Но я против того, чтобы персонажи занимались только олицетворением идей. Ценность Обломова для меня в том, что он получился невероятно обаятельным в этой своей приверженности каким-то принципам. Обломова невозможно не любить. Это милое существо, окруженное любовью. Читаешь — и сам попадаешь в облако любви. «Не подходите ко мне, вы с холода!» — помните? Плакать хочется от этой фразы. Это взрослый человек произносит... Придумать Обломова — колоссальная честь для любого сочинителя. Это, конечно, не чисто русская традиция. Я вообще не знаю, что такое русские литературные традиции, чем они отличаются от французских или английских. Наверное, чем-то отличаются. Юрий Поляков сказал, что в России через литературу отправлялись все общественные дискуссии. Как в Англии — через парламент или во Франции — через салон. Именно литература была в России транспортером, поставляющим бурление идей в головы граждан. Наверное, это и есть русская традиция. То есть Лев Николаевич не просто художник слова, но еще и мыслитель, и создатель духовного учения, общественный деятель, граф и отец детей. Или, допустим, Федор Михайлович: мученик, принадлежащий к некой трагической традиции. Или Аввакум... То же самое: трагедия, духовные ученики и так далее. Посмертная слава, страшная смерть. Но будут ли эти традиции жить дальше, мы не знаем.

Сергей Чупринин: Вы сказали о том, что это традиция русской литературы: общественная жизнь отправляла себя через литературу. Это живо сейчас?

Андрей Рубанов: Да, безусловно. Я сейчас обнаруживаю с изумлением, что нация, то есть общность людей, которая говорит на одном языке (в нашем случае — на русском), не может существовать без морального авторитета. Я готов увидеть моральный авторитет для себя только среди литераторов. Не среди политиков, не среди кандидатов в президенты, не среди новоявленных Штольцев, не среди священнослужителей. Почему-то на все эти Болотные площади в массе своей приходят, кроме литераторов, какие-то профессиональные политиканы либо случайные люди. Я обнаруживаю, что свой голос возвышают в защиту несправедливо осужденных и прочих в основном литераторы. Я обнаруживаю, что литераторы — тот же Прилепин, тот же Сенчин или Шаргунов — прекрасно организованы, они действуют согласованно и оперативно. И они морально чисты. Это я вижу по их книгам. Им не надо доказывать гражданам, что они не верблюды. Достаточно прочесть любую книгу Сенчина, Прилепина, Шаргунова, Елизарова, Данилова, ребят, которым сейчас тридцать пять — сорок лет, чтобы понять, что они чрезвычайно нравственно чистые люди. Я им верю. Потому что все их движения продиктованы какими-то идеалистическими соображениями. Не материальными, не шкурными, не финансовыми.

Сергей Кузнецов: Мне представляется, что действительно литература по-прежнему остается в России в статусе, о котором Андрей говорит. И здесь мне кажутся более характерными анекдотические случаи. Григорий Ревзин в последнем номере «Citizen K» заметил, что довольно трудно представить, чтобы Жорж Сименон или Агата Кристи вывели людей на площадь, а вот Борис Акунин собирает прогулку на двадцать тысяч читателей, и это выглядит нормально. Потому что высокий статус писателя в России высок так, что даже Борис Акунин, автор относительно низкого жанра, который, в общем, не претендовал никогда на великую литературу, тут же автоматом получает гораздо более высокий социально-общественный статус, чем получил бы в любой стране.

Ирина Ковалева: К слову, о митингах и о необходимости обращения к писателю как выразителю каких-то дум. Здесь явлена традиция русской литературы. Творческие люди почему-то всегда особенно преклонялись перед пишущей братией. Надо полагать, связано это с тем, что у писателя лучше получается выразить словами свою мысль. Это ему привычнее. И поэтому все остальные люди, те, что на площади, в библиотеке или еще где, ищут в чужих речах именно выражение или подтверждение своих мыслей. Я думаю, что писателю еще и потому проще выходить к людям и что-то им говорить, что-то формулировать, к чему-то призывать, что он одинок как всегда за своим письменным столом и ответствен он только перед самим собой и своей совестью. И самое худшее, что его ждет, — его не будут печатать. Но есть сейчас и Интернет, и прочие уже привычные нам самиздаты.

Сергей Кузнецов: Читать не будут, печатать — еще поддела.

Ирина Ковалева: Читать еще как будут, когда он будет запрещен для издания. Когда наши известные режиссеры подписываются под совершенно другими словами, и других идей придерживаются, и ссылаются при этом на ответственность перед коллективом, который за ними, — с натяжкой, но в какой-то степени это даже понять можно. У писателя более свободны и развязаны руки в этом смысле. И тем не менее реальность такова: не далее как в прошедшую субботу на очередном народном собрании лучшим было все-таки не писательское выступление, а человека, я бы сказала, абсолютного дела и подвига, космонавта-исследователя Сергея Нефедова. Во всех смыслах лучшее. Лучше сформулированное, лучше задуманное, лучше прожитое. Явилась личность. И личности есть что сказать. Вот проблема личности, на мой взгляд, одна из центральных в современной общественной жизни и, как след-

стве, в современной литературе. Отсюда и отсутствие героя в литературе и прочие проявления непопулярности литературного дела.

Евгения Вежлян: Опять наш разговор ушел в общественные проблемы, в политику. И это, как мне кажется — симптом. Симптом того, что в каком-то новом, пока еще непонятном виде вернулось традиционное (подчеркнем это слово) представление о литературе как миссии. А мы было уже подумали, что у нас наконец все уже стало нормально, как везде на Западе...

Карен Степанян: На Западе нормально?

Евгения Вежлян: Тут вообще непонятно, что нормально, а что — ненормально, но мы говорили о том, что все стало, как у них.

Но теперь литератор снова больше чем просто литератор. Как во времена классической русской литературы. Однако смотрите: у нас из разговора опять «улетел» Гончаров. И понятно почему. Он как-то не вписывается в эту «литературу-миссию», мне кажется. Он, в общем-то, эстет. Стилист. Он как такой русский Флобер...

Сергей Кузнецов: Если отвечать на вопрос, заданный мне как писателю, то у меня с русской классической традицией все очень плохо. До того, как стать писателем, я много лет был кем угодно, литературным критиком, кинокритиком, занимался всякой семиотикой, и я, конечно, в большой степени воспринимаю всю литературу, и русскую, и нерусскую, через то, что увидели в ней те, кто смотрел до меня. На меня как на писателя некое влияние оказал Достоевский, но это не Достоевский школьной программы и не Достоевский Бахтина, а Достоевский, полученный через Шестова, Батая, Камю и вообще французскую традицию. Если мы говорим о Толстом, то для меня Толстой важен как писатель, прочитанный формалистами. И в этом смысле Гончаров не Флобер, потому что, когда говорят Флобер, я сразу вспоминаю, что про него писал Ролан Барт. А никакой условный русский Ролан Барт ничего про Гончарова такого не писал. И для меня как для автора конечно, проигрышность позиций Гончарова, такого классического реализма, в том, что я не вижу здесь *письма*. Да, я помню, про персонажей, да, я помню про сюжет, да, я помню про проблематику. Формалисты, как мы знаем, все больше упирали на «как это сделано», и они показывали это «как» применительно и к Гоголю, и к Пушкину, и к Толстому — но не к Гончарову. И поэтому в этом смысле для меня не существует русской классической традиции, а существует ее модернистская или постмодернистская рецепция, из которой я исхожу, когда что-то делаю. Не важно, это Достоевский, полученный через Клоссовски и Батая, или это «Евгений Онегин», полученный через Тынянова, но это не «классическая реалистическая литература». Все, что я слышал о русской литературе XIX века как о классической русской литературе, я слышал в школе. Уже потом, после школы, формалисты и те, кто развивал формалистов, открыли передо мной как перед читателем куда более головокружительные горизонты интерпретаций. Благодаря этому я фактически забыл о том, что можно воспринимать литературу так, как ее воспринимали люди, способные говорить слово «реализм» серьезно, как Белинский, а не добавляя к нему слов «магический», или «без берегов», или еще каких-нибудь.

Евгения Вежлян: Да, и Гончаров мне сейчас интересен именно с этой точки зрения. Как писатель, который выпал из рецепции.

Сергей Кузнецов: Мне кажется, что тут надо начать с того, что вообще-то литературные критики гораздо важнее, чем писатели. Потому что я же неслучайно ссылаюсь все время на критическую рецепцию. То есть, если нашелся хороший критик, который написал бы про Гончарова интересно...

Евгения Вежлян: Я бы сказала, тут даже не критик, а какой-то новый Тынянов...

Сергей Кузнецов: Да, способный его перепрочитать. Я Тынянова про «Евгения Онегина» пошел читать, потому что мне про Пушкина было интересно? Нет, мне было про Тынянова интересно. К сожалению, таких людей, как Тынянов, не случилось не только для Гончарова. По большому счету последние 50—70 лет таким людям русская классическая литература была вообще не очень интересна: все-таки и формалисты, и Бахтин реально написали основные работы в первой половине XX века. А во второй его половине новая критическая рецепция классической русской литературы не случилась, а если и случилась, то осталась мною не замечена.

Владимир Губайловский: Гончаровым действительно занимались несравнимо меньше, чем Достоевским или Толстым. Нельзя сказать, чтобы его обижали. Да нет, большевики его издавали. Школьная программа — этот мощнейший промоушн — его тоже поддерживала. Тем не менее, он остался как-то в тени. Можно поразмышлять, почему так случилось. Что мы помним о романах Гончарова? В первую очередь, персонажей. Мы помним не автора, не его лирические отступления, как в «Евгении Онегине», не философские построения Достоевского и Толстого, мы помним, что Обломов боялся простудиться. Когда мы читаем Гончарова, у нас нет всеобъемлющей конструкции, в которую вписаны герои. Гончаров выстраивает свои отношения с ними на условиях какого-то паритета. Персонаж может вести себя «хорошо», как Обломов, или «плохо», как Штольц. Автор своего отношения к ним не скрывает, но они ведут себя так, как считают нужным, как это соответствует их природе, они — равные с автором, они — свободны. Не Гончаров дает слово героям, он у них, скорее, просит слово. Он говорит: «Может, все было так?» А герой ему отвечает: «Нет, не так». И писатель соглашается: «Значит, не так». И думает: а как же это было на самом деле. Это равенство автора и героя, которое я вижу у Гончарова, очень современно. В сегодняшней литературной ситуации писатель, претендующий на исключительное, высокое положение, по-моему, просто обречен. Как только эти его претензии станут ясны — его затопчут. Современное общество — сетевое. И мне кажется, что та парадигма, в которой существуют Гончаров и его герои, именно сетевая. Гончаров описывает мир, каким он его видит, и согласен с тем, что он этот мир не понимает. В отличие, например, от Толстого. И это непонимание собственных персонажей невероятно современно, на мой взгляд. И то, что Гончаров до сих пор не прочитан, связано, может быть, с тем, что и XIX и даже XX век — времена преимущественно иерархические, и сетевая парадигма Гончарова просто до сих пор оставалась невостребованной. Может быть, как раз в наши дни появится серьезный критик, который задумается и скажет: смотрите-ка, есть писатель, который все про нас рассказал. Может быть, время Гончарова еще только приходит.

Сергей Кузнецов: Хочу еще раз вернуться к тому, что сказал. Я все пытался понять, почему же Гончаров для меня отсутствующая фигура. А чем дольше слушал, тем больше понимал, что это, конечно, не только связано с отсутствием рецепции, а с тем, что те ценности, о которых говорите вы, мне не очень интересны. Мне кажется, что создать живого персонажа дело нехитрое. Не в том смысле, что я это очень хорошо умею, а просто потому, что мне кажется, будто в средней руки массовой литературе, русской и зарубежной, живые персонажи бродят стадами. Мне кажется, что большая проблема с классической литературной традицией, не только с русской, но и с западной, представленной, скажем, Бальзаком и Золя, заключается в том, что сейчас в рамках этой традиции пишет подавляющее большинство авторов, делающих массовую беллетристику. Мы понимаем, что они пишут хуже, чем Бальзак и Золя, но персонажи там у них все равно очень живенькие. Нужно обладать очень точным внутренним камертоном, чтобы отличить по-настоящему живого персонажа у Гончарова и псевдоживого персонажа у какого-нибудь Стига Ларссона. Они одинаковой степени живости с точки зрения примерно девяноста пяти процентов читателей, в число которых, боюсь, вхожу и я. А вот отличить модернистски воспринятую прозу Толстого от Стига Ларссона довольно просто.

Сергей Чупринин: Я бы хотел обратить ваше внимание, как слушатель, на два момента. Первый момент. Поскольку я действительно второй раз веду конференцию, связанную с Гончаровым, в отличие от той конференции никто и словечка не проронил про то, что Иван Александрович написал еще «Обрыв» и «Фрегат “Паллада”». Второе. Весь разговор пока, несмотря на ваши легкие усилия, все-таки идет, как говорили мы в советской средней школе, в плоскости содержания.

Карен Степанян: Я попробую три-четыре вопроса участникам нашей конференции сформулировать. В свое время Достоевский писал: «“Сон Обломова” с восхищением прочла вся Россия» («Сон Обломова», напомним, печатался раньше, чем сам роман «Обломов», где-то в конце сороковых годов, отдельной главой). Возможно ли сейчас такое произведение, которое с восхищением (или с негодованием) прочтет вся Россия? Художественное произведение. Потому что, скажем, публицистику, может быть, действительно все читающие прочтут. Письмо Прилепина Сталину, я думаю, все прочитали. А художественный текст — возможно ли, чтобы прочитала хотя бы вся читающая Россия? Если нет, то чем это вызвано? Тем, что литература сейчас, несмотря на оптимистические сегодняшние заявления наши, все-таки в загоне находится, либо потому что нет такой силы таланта, который бы заставил прочитать себя всю Россию? Или сейчас действительно возвращается такое время — исходя из того, что говорил Сергей Кузнецов, Акунин может вывести за собой тысячи людей на улицу, что невозможно было представить себе в девяностые годы? И действительно приближается то время, когда все будут читать художественную литературу именно потому, что она будет выразителем идей? Пусть сейчас только публицистика, интернетовская публицистика, является такой площадкой, объединяющей всех читающих, а потом и литература станет. Может ли это быть? Это первый вопрос. Второй вопрос, опять же исходя из Достоевского. Когда он еще только задумывал «Братьев Карамазовых», то писал о том, что хочет вывести наконец «наш русский *положительный* тип, который ищет наша современная литература», и что это будет «не немец (забыл фамилию) в “Обломове”, и не Лопухины, не Рахметовы», а новый «величавый» тип, который он хочет предложить в своем будущем романе. Ищет ли сейчас русская литература вот такой положительный тип, и возможно ли это вообще, какой-то общий положительный тип найти в современной литературе, тип современного человека? Третий вопрос. Очень меня заинтересовало высказывание Андрея Рубанова о том, что читающий человек видит действительность, — я так его понял мысль, частично глазами Чехова, частично глазами Толстого, частично глазами Достоевского, в каком-то таком процентном соотношении. Это очень интересная мысль, потому что, действительно, в общем, банально звучит, что войну 1812 года мы знаем не так, как она реально происходила, а по роману «Война и мир», что русских помещиков мы большей частью представляем не такими, какими они были на самом деле, а такими, какими они описаны в «Мертвых душах» — каких, вообще, я думаю, не существовало в России, памятник Петру Первому в Питере называем Медным Всадником, хотя он из бронзы на самом деле (об этом в свое время писала Марина Новикова). И так далее. Я уж не говорю о Достоевском и Чехове. И тут встает интересный вопрос о реализме. Владимир Губайловский говорил о том, как ему нравится Гончаров, который дает свободу и который не навязывает своей личности читателю. Все остальные русские классики навязывали. И Тургенев, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, и Чехов. В этой связи что мы можем назвать реализмом? Сергей Кузнецов говорил о том, что он не принимает никакого реализма без определения соответствующего — магический, метафизический и так далее. Но такой реализм, магический, метафизический, — есть следствие навязывания своей концепции мира читателю, как я понимаю. Что же тогда такое реализм? То, что у Гончарова, который, может быть, единственный из русских классиков не навязывал своей личности читателю? Или реализм — это, скажем, Достоевский (я уверен, что у Достоевского самый глубокий реализм, реализм в высшем смысле, как он говорил). Либо реалист тот, кто навязывает свою писательскую личность читателю? И четвертое. Когда-то в «Знамени», в 1997 году, публиковалось эссе Ю. Лотмана, которое называлось «Современность между Востоком и Западом». И там Лотман как раз пишет о «Фрегате “Паллада”», о том, что это произведение Гончарова декларирует

интерес к разнообразию культур, доказывает, что открытость «чужому» есть реальная специфика русского сознания. Действительно ли так? Действительно ли реальная специфика русского сознания есть открытость чужому? И сейчас она присутствует или нет?

Валерия Пустовая: Эти вопросы как-то соответствуют тому, что Евгения Вежлян говорила насчет возможности сейчас отозваться на традицию Гончарова. Я хотела бы сказать в связи с этим и про «Большую книгу». Вообще про большой роман, про большую идею, про что-то большое в литературе сейчас.

Большое, как мне кажется, рождается из безусловного самоумаления писателя. То, что сказал Владимир Губайловский про невероятную современность отношения Гончарова к своим персонажам и создаваемому миру — когда автор не выше того, что создает, — мне кажется скорее ретроутопией. Именно сейчас писатель гораздо больше и выше — и героя своего, и текста. И является каким-то совершенно неизбежным и мучительным для себя источником литературы. Писателю сегодня от себя никуда не деться. Гончаров в такой ситуации видится кем-то вроде большого, бородатого, немножко ветхого бога, который создает большой, непротиворечивый, действительно очень живой мир. Очень связанный мир, в котором все перетекает одно в другое и само движется помимо воли автора. Мне понравилось, как нежно Владимир об этом говорил.

Хочется снова обратиться к опыту участника нашей дискуссии Сергея Кузнецова, к его «Хороводу воды» и псевдобольшой книге Марины Степновой «Женщины Лазаря».

Сергей Чупринин: Почему псевдо?

Валерия Пустовая: Потому что я считаю, что современные большие книги — это всегда псевдо. Если сравнивать их с, условно, Гончаровым и считать попыткой создать большой, традиционный, спокойный, эпически размахнувшийся роман, — окажется, что такие книги себе противоречат и изнутри сами себя взрывают. К сожалению, Марины здесь нет, не могу с ней поговорить, но, мне кажется, ее книга большая — это прежде всего три повести. Книга на эти три части разваливается. Более того, к концу книги Марины Степновой ее самой — ее прямого голоса — становится все больше. Так что заканчивается книга, по сути, эссе о мучительном детстве в балете. Я не знаю, насколько это автобиографично для нее, но такое ощущение, что это какая-то уже идет эссеистика и публицистика: очень много прямой, личной эмоции автора.

А как написан «Хоровод воды» Сергея Кузнецова? Повествователь как будто постоянно говорит себе: не делай вид, что ты пишешь большую книгу, не делай вид, что ты говоришь от имени героя. А уж если ты говоришь от имени героя, не забывай, что этого героя на самом деле нет, и не думай, что этот герой способен хоть что-то твоими глазами увидеть. Потому что, мол, ни героя нет, ни этого повествования нет.

Большая книга Сергея Кузнецова «Хоровод воды», в общем, тоже распадается на очень легкие, классные эссе, на диалоги, на драматургические сценки. Нет ее как большой книги. То есть то, что увидела критика в этом «Хороводе воды», — тоже ретроутопия. Критикам книга понравилась как попытка большой книги: долгого дыхания, большой семьи, большой истории. Но перехода из советской в современную историю в романе не получилось. Не получилось связать времена, не получилось связать семью, и автор это осознает и не делает вида, что у него получится. Это очень важный и очень оригинальный момент. Сергей Кузнецов как бы сам себе сказал: я напишу такую книгу, которая у меня не получится, — и постоянно дает читателю это почувствовать. Читателю становится гораздо легче, и он гораздо больше согласен с автором в этом случае.

Автор сегодня — такой бог, который уверен только в существовании себя самого. Я сам для себя несомненен, я сам для себя ценен, — говорит себе автор, — так создам же я живой мир, в котором буду только я и только то, что я непосредственно пережил. И тогда из этого «я» может родиться какая-то непротиворечивая, очень

живая проза с живым героем. Допустим, это будет Обломов, но Обломовым этим буду я. И пока я не полежу на диване, — могли бы сказать писатели, как мне кажется, вроде присутствующего здесь Андрея Рубанова, — я, в общем-то, не смогу создать этого лежащего на диване Обломова. Это сильно отличается от позиции и Гончарова, и многих русских классиков.

Традиция Гончарова сейчас невозможна потому, что это архаика. Это глубокая архаика в литературе, архаика, по которой мы все тоскуем, как по сказке, как по мифу, как по какому-то детскому богу. И нам очень хочется воспроизвести это, но все попытки притвориться сегодня, что мы создадим живого героя, создадим непротиворечивый живой мир, оканчиваются беллетристикой. Например, я очень уважаю Марию Ахмедову из «Русского репортера», которая создает очень живые произведения. Когда она намеренно не забирается в абстракции, она умеет создавать очень живые произведения, такие, что слезы текут, я сама рыдала в метро над ее книгой. Но когда я дочитываю ее роман, я понимаю, что это беллетристика. Современный условный Гончаров — непротиворечивый, живой, большой — дешево дается.

Может быть, неслучайно вы, Сергей, сказали, что очень легко создать героя? Именно потому, что дешево дается Гончаров. И автор рушит Гончарова — как, например, Дмитрий Данилов, который разрушил в себе автора вместе с героем. То есть весь этот беллетризм, этот героизм, это согретое личным чувством повествование — все это было разрушено. Пусть, мол, не будет ничего личного, пусть будет просто мир объектов, которые существуют помимо нас.

Евгения Вежлян: Я согласна, что та конфигурация литературы, о которой говорил Карен Степанян, сейчас абсолютно невозможна. Но я хотела бы реабилитировать Гончарова. И хочу вернуться к реплике Владимира Губайловского. Там же дело было не в том, что Гончаров создает некую иллюзию реальности, — речь шла о том, что в наше время смыслы возникают не в ходе иерархических, а в ходе сетевых взаимодействий. И в этом смысле гончаровский способ создания содержания (назовем его так) оказывается удивительно современен. Потому что автор действительно минимизируется. Романы Гончарова — это пространство равноправных смыслов.

А та беллетристика, о которой говорил Сергей Кузнецов, как мне кажется, в эту схему не складывается. Именно ввиду своей вторичности. Мы сейчас не можем вернуться к классике, с ее живыми персонажами, к этой булгаковской коробочке из «Театрального романа» — напрямую. Коробочка как раз закрылась, и закрылась навсегда.

Но мы можем задуматься о том, каким невозможным образом из этой словесной ткани возникает всякий раз заново то, что мы почему-то, по какой-то непонятной совершенно причине начинаем видеть и начинаем считать действительностью. Хотя оно действительностью не является. И мы это раз и навсегда поняли. И вот как только мы это поняли — деконструкция произошла. И с этой позицией, когда она уже произошла, мы либо считаемся, либо не считаемся. Если мы с нею не считаемся и делаем вид, что ничего не происходит, возникает вот это беллетристическое письмо, которое совершенно понятно, как делается. А если считаемся, то начинаем с этим как-то работать. Мне кажется, Дмитрий Данилов как раз показал такой пример. Пример такого «невозможного» письма. Собственно, эта невозможность и составляет главный сюжет его произведений.

С другой стороны, мне могут возразить, что такие штуки русская литература в двадцатые годы уже проделывала. И проделывала неоднократно.

Но здесь, мне кажется, нужно понять, что, в отличие от поэтического модернизма, русский прозаический модернизм был оборван почти в самом зародыше. И русская проза не прошла многие необходимые этапы своего пути. Она только сейчас начала проживать тот травматический опыт обрыва, который у нее получился вследствие исторических причин.

Поэтому мне кажется, что та модель, когда есть литература, у литературы есть месседж, у этого месседжа есть те, кто его считывает, и впрямь устарела. Сейчас какая-то другая должна быть модель. С другой стороны, а чем не месседж, если он

чисто эстетический и чисто стилевой? Это же тоже месседж. Просто та аудитория, которая этот месседж считывает, она сильно уже. Но это же тоже читатели, они же тоже есть. Я не думаю, что это плохо.

Андрей Рубанов: Я вернусь к вопросу по поводу «Фрегата “Паллада”». Мне кажется, что в отдельно взятом произведении матрицу сознания нельзя ни проанализировать, ни каким-то образом отрефлексировать. Это одному человеку не по силам. Каким бы хорошим и ярким ни был тот же Илья Ильич, он не исчерпывает всего многообразия нашего национального сознания. Притом что мы уже договорились, что Гончаров — мастер создания персонажей... По поводу большого героя — возвращаясь к тому, что сказала Валерия — мне нравится, когда критики пытаются сформировать заказ для сочинителя. Наверное, это их прямая функция — формировать заказ. На большой роман, на большого героя... Я могу поделиться своим личным опытом. Я несколько лет потратил на то, чтобы создать некоего положительного персонажа. Я сознательно пытался это сделать. Почти все мои герои были предпринимателями того или иного масштаба. Но ни один предприниматель Штольц, в кавычках, современный Штольц — а я именно такими их и делал — читателя не заинтересовал.

Карен Степанян: Не есть ли это специфика именно русского сознания читательского?

Андрей Рубанов: Мне кажется, что современное русское общество предпринимателей ненавидит. И эта ненависть носит какой-то совершенно мещанский, обывательский характер. Наверное, предприниматели виноваты сами, и я не собираюсь выступать от имени всех. Но я понял, что моих Штольцев не хотят, потому что их в принципе считают врагами.

Книги продались скромными тиражами. Пресса была сдержанной, прохладно приняли критики и читатели. Большая идея сейчас... Ей очень трудно. В мире произошла информационная революция. Мы все пользуемся Интернетом, лавина информации обрушивается на людей со всех сторон. Что нам дал Интернет, социальные сети? Возможность каждого высказаться бесконтрольно, безграмотно, на любую тему, на любую аудиторию. Специалисты говорят, что общество разбегается по так называемым «информационным деревням». Когда ты существуешь в личном информационном пространстве, внутри собственной небольшой группы единомышленников, которые согласны с тобой по всем вопросам, которые говорят: «Да, ты прав, мы думаем точно так же, давай будем дружить на основе того, что дважды два — это пять»... — в такой ситуации большой идее родиться трудно. Мы все разбежались по этим деревням. Каждый из нас читает свою ленту новостей. Каждый смотрит свои и только свои фильмы, полностью соответствующие его вкусовым пристрастиям. Каждый слушает свою и только свою музыку, читает своих и только своих публицистов. Белые, красные, зеленые — все это прекратилось. Я не знаю, кто сейчас демократ, кто либерал, кто красный, кто черный, все маневрируют. Как будет появляться большая идея? И каков будет герой, который эту большую идею принесет? Насколько героическими будут его поступки? Лично я сказать не готов. Мой профессиональный опыт говорит о том, что это очень трудно сделать. Что будет дальше, я не знаю.

Сергей Кузнецов: Я тоже готов ответить. Первый вопрос был о том, может ли сейчас появиться такая книга, которую прочтет вся Россия. Я, естественно, соглашусь, что такая появиться не может. Мне кажется, что это связано даже не с Интернетом, не с тем, что говорил Андрей. Мне кажется, что это связано с тем, что наши дети и мы сами сегодня живем в гораздо более насыщенном информационном поле (в поле доставки смыслов), чем мы жили много лет назад. В XIX веке из нарративов, умевших доставлять смыслы, были только литература и театр. (Живопись и музыка все-таки не очень нарратив, да и со смыслами там сложнее.) А потом появилось кино, потом появилось телевидение, а потом мультимедиа, включая игры. И все они стали захва-

тывать место литературы. Сегодня мы можем сказать: «Этот фильм увидела вся Россия». Особенно если это сериал и его показали по телевизору. Мне кажется, литература оказалась в очень конкурентной среде. И в этой среде — проиграла, по крайней мере в массовом восприятии. В чем здесь некоторая логика? Чтение — это персональное занятие. Мы проиграли в тот момент, когда стали читать про себя, а не вслух, то есть где-то на исходе Средневековья, если я правильно помню. Мы, литераторы, проиграли людям, способным сделать продукт, который можно употребить всей семьей: посмотреть в театре, на телеэкране или в кинозале. Я хочу напомнить, что феномен блокбастера появился в Америке в тот момент, когда крупные студии догадались одновременно выпустить фильм на все экраны страны. Такой эффект, когда все сразу идут смотреть. Мне кажется, это тоже важная история, вообще относящаяся к массовой перцепции, а не к тому, что мы делаем, как писатели или как режиссеры. То есть если нас зачем-то интересует доставка смыслов потребителю, то надо выбирать эффективный массовый канал. Через кино, через игры, через сериалы. А если нас интересует что-то другое, если мы занимаемся литературой для чего-то другого, тогда надо продолжать дальше этим заниматься, потому что тогда нас не должно беспокоить, как много людей это прочтут. Какой второй вопрос был?

Карен Степанян: Второй вопрос был о реализме, что называть реализмом. То, что у Гончарова, или то, что, скажем, у Достоевского, Толстого, Гоголя.

Сергей Кузнецов: Для меня это действительно сложный вопрос. Я бы от него убежал и перешел к вопросу о герое и тут бы ответил Андрею, который сказал, что его попытки создать положительного героя-предпринимателя провалились. Я, в первых, скажу, что герой в тех его книгах, которые я читал, очень хорошо получился. Я это отдельно ценил, когда читал. В этом смысле я не знаю, почему Андрей считает, что широкие массы не приняли этого героя, но если они его и не приняли, то не потому, что не любят предпринимателей. Они их действительно не любят. Но если мы возьмем нишу массовой литературы, то мы обнаружим там много книжек о любовном романе девушки с крутым, богатым чуваком. Не просто предпринимателем, а почти олигархом. И вся нелюбовь к олигархам, которая даже выше, чем нелюбовь к предпринимателям, не мешает успеху таких книг. Мне кажется, если мы говорим про Россию, то это опять о том, что русскому человеку мелкий масштаб узок. И герои историй, которые могут написать авторы, представляющие реальный мелкий бизнес в России, все эти торговцы автолаками или аквариумами, будут читателю неинтересны. А вот персонаж «Пятидесяти оттенков серого» — это тот самый формат, который всем по душе. И в России его богатство никому не мешает. Крутой, богатый, влиятельный.

Что касается положительных героев в целом, то я думаю, что положительный герой — это из области социологии. На самом деле интересны не положительные герои, а симпатичные. Когда Андрей говорит: Обломова трудно не любить, — то это понятная история. Неважно, положительный герой Обломов или это такая злосчастная мерзость в истории моей страны. Понятно, что, так или иначе, это герой огромного обаяния. И мое читательское отношение к нему, как к символической фигуре, — то есть ответ на вопрос, является ли Обломов положительным героем — совершенно не важно. Обаяние — вне этики и вне деления на положительный/отрицательный. Вот Свидригайлов, тоже персонаж огромного обаяния, хотя говорить о нем как о положительном герое довольно трудно.

Дальше мне хотелось бы вернуться к тому, о чем говорила Валерия, к вопросу о том, возможна ли сегодня большая книга, большой роман. Прежде всего мне кажется, что никакого «сегодня» у нас нет. Классический текст Мандельштама, в котором он объясняет про конец психологического романа, написан в 1922 году, примерно в то же время, когда формалисты анализировали Толстого, доказывая, что Толстой — не реалистический роман. В этом смысле классический большой роман невозможен уже почти сто лет.

Лично я ни в какой момент не считал написание такого романа своей целью... да что там целью! У меня не было даже желания или даже тайной мечты написать большой семейный роман девятнадцатого века. Мне не кажется, что это трудно сделать. Мне кажется, что это делать неинтересно. Потому что эту задачу ставит себе Полина Дашкова или, скажем, поздняя Александра Маринина. И среди так называемых «настоящих писателей» есть желающие работать в традиционном жанре «история семьи» и, более того, прекрасно решающих эту задачу.

Но для меня образцом большого романа является модернистский, постмодернистский большой роман — «В поисках утраченного времени», «Улисс», «Жизнь: инструкция пользователя» Жоржа Перека, «Радуга тяготения» Пинчона, «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Из русских — «Петербург» Андрея Белого, «Пушкинский дом» Битова или «Ожог» Аксенова. Это такие книги, применительно к которым на ум приходят слова Сьюзен Зонтаг — «героическая неудача». Эти книги не дочитывает до конца большинство их читателей. Вот та традиция большого романа, которая мне интересна.

Да, я действительно согласен с невозможностью традиционного большого реалистического романа. Тем не менее, отвечая на первый вопрос, возможна ли вообще сегодня книжка, которую все прочтут, я скажу: «Конечно». Эта книга называется «Гарри Поттер», «Девушка с татуировкой дракона» или «Пятьдесят оттенков серого». Можно ли написать такую книгу на русском языке, чтобы она так же выстрелила во всем мире или хотя бы в России? Понятия не имею. Может быть, да, может быть — нет. Вот, с одним шведским прозаиком случилось такое-то маленькое чудо, — ну, может, господь со свойственной ему иронией сотворит такое чудо и с русской литературой. Всякое может случиться. Но если не брать в расчет коммерческий аспект этой истории, то у меня, в общем, нет никаких оснований желать, чтобы на русском языке появилась книга, которую прочтут все.

Владимир Губайловский: Да, сегодня существует только «Я» писателя, которое он строит для себя из себя. Он придумывает мир и в нем живет.

В давней статье «Литературные современники и потомки» Лидия Гинзбург пишет: когда появляется новый писатель, его принимает в первую очередь его же поколение. Читатель открывает писателя-современника и говорит: «Надо же, как похоже на мою жизнь». Вроде бы это полный абсурд — если похоже, значит, я и так знаю, что мне про меня напишут. Ан, нет. Оказывается, когда человек живет, он как раз себя-то и не видит, а ему необходимо себя увидеть и понять. И отражение, например, в романе, ему очень нужно.

Но как раз сегодня ситуация меняется. Она меняется из-за той информационной плотности, в которой оказался современный человек, в частности, из-за социальных сетей. Если у человека во френдленте множество френдов, он постоянно видит свои маленькие отражения в самых разных записях — своих и чужих. Он как бы сталкивается с отражающей мозаичной зеркальной сферой, вроде той, которой раньше для него был роман. А когда картина, сложившаяся из записей в социальной сети, становится чем-то цельным, человек может понять, что он собой представляет. Ему уже не так и нужен роман про современную жизнь, тот самый роман про него самого. Нужен какой-то другой роман.

Чем люди могут поделиться друг с другом? Они могут поделиться только какими-то закоулками собственного «я». Больше ведь нет ничего, что один человек может открыть другому. Все остальное — внешние контексты. То есть, когда писатель представляет свой солипсический, берклианский мир, он оказывается тогда-то и интересен. Тогда-то он и вытаскивает наружу то единственное, что, может быть, и важно. Вот только должен быть шанс, чтобы это единственное могло быть понято. А понятнее всего как раз персонажи.

Гончаровские герои вышли из романов. Они тысячу раз сменили свои контексты. Они живут в каких-то совершенно других мирах. А мы их чувствуем, узнаем. О чем они нам говорят? В первую очередь о самом Гончарове.

Карен Степанян: То есть вы считаете, что задача писателя — вербализовать для читателя себя или мир для читателя?

Владимир Губайловский: Себя. Он больше ничего не может вербализовать. Он бы рад, может, рассказать читателю про читателя, но он не знает про него ничего. Писатель только про себя что-то немножко знает. А вот если ему очень повезет, может быть, получится сказать что-то такое, что разделит с ним другие люди, что войдет в общее коммуникативное поле. Собственно, это и есть то единственное, к чему стоит стремиться.

Ирина Ковалева: Я думаю, что как раз эти сетевые возможности сейчас в каком-то смысле возвращают интерес к литературе, ибо восстанавливают общение написанными словами. Конкуренции, о которой сегодня говорили, у литературы с кино нет. Потому что кино — это картинка. Это бусы из картинок. А литература — это прежде всего смыслы. Пока ничто с ней в этом не может соперничать. Может быть, продвижение и самовыражение множества пишущих в Фейсбуке или в другой сети, может быть, это и есть стремление к той привычной требуемой литературе — к поиску общего смысла. Вернется ли такая нужная всем книга, появится ли она? Появится, если она явится. Если это будет хорошая книга, которая будет говорить многим о многом. Пока такой книги, видимо, нет. Не будем сейчас говорить о «Гарри Поттере» или прочем, потому что мы все прекрасно понимаем: подобное — это еще и/или прежде всего — издательский проект. И это большая проблема для литературы, для читателей сегодня. Продвижение работы издателя заключается в том, чтобы найти что-то такое особенное и это что-то выгодно продать. Хорошо бы, чтобы в этом проекте еще все бы удачно совпало — и профессиональный совестливый издатель, и хорошая актуальная книга, и общественная потребность, но, боюсь, что, скажем, новоявленную «Войну и мир» продать выгодно издатель не сможет.

Что для меня загадка, может быть, не только для меня, в Гончарове? Говорили сегодня: формалисты, обсуждая Толстого и Достоевского, вывели Гончарова за рамки обсуждения, за рамки его представления личности для читателя. Вероятно, их интерес был прежде всего к крупным писателям-мыслителям, писателям, условно говоря, «первого ряда». К сожалению, или к счастью, русская литература в девятнадцатом веке была такова, что даже такие писатели, как Тургенев и Гончаров, оказывались во втором ряду. Все внимание было обращено на Достоевского и Толстого. И до сих пор это сохраняется. Загадка еще в чем: писатели первого ряда создали живые образы, сегодня говорилось о том, что нетрудно создать живой образ. Может, и нетрудно, но в наши дни попытки не увенчались успехом. А вот создать образ, который так прочно вошел бы в общественное сознание, в том числе и нечитающей публики, не удалось писателям первого ряда. А вот Тургеневу с его образом «тургеневской девушки» и Гончарову с обломовщиной и Обломовым удалось.

Карен Степанян. Наташа Ростова.

Ирина Ковалева: Наташа Ростова — это не системный образ. Почему это произошло, не знаю, но так оно есть.

Что касается того, как сейчас литература современная воспринимается: я вижу успехи тех молодых прозаиков, которые вошли в литературу в первом десятилетии этого века, — Дмитрий Новиков, Захар Прилепин, Герман Садулаев, Роман Сенчин, Илья Кочергин, Денис Гуцко, Сергей Шаргунов и другие. Читали ли их? Их читали. Потому что их тексты пульсировали животрепещущими темами. Это и война в Чечне (Садулаев и Прилепин), современное состояние городского общества, то, что сейчас с ним происходит (Сенчин очень адекватен времени). Много читателей было у Дениса Гуцко, потому что «Русскоговорящий» была книгой о развале Союза, это было многим интересно и многих волновало; тиражи росли, издательство радовалось и делало допечатки. Но вот, например, Дмитрий Новиков, который именно как настоящий писатель — словами, образами, средствами литературы — рассказал о том, что было с его поколением, как оно жило, что чувствовало. Его знают, но на дискус-

сионные трибуны нарасхват, как иных, не зовут, журналисты не мучают вопросами, что он думает о том, о сем, не тиражируют его мнение о том или ином персонаже или тексте. Почему это происходит? Не знаю, но почему-то происходит. Непрямолинейное художественное высказывание не в моде, не в чести? Ориентироваться на читателя, видимо, нельзя. Поэтому остается разговаривать и пытаться продвинуть к читателю, к самим себе, может быть, те идеи, которые хотелось бы, чтобы стали понятными и зазвучали для всех. Горизонт события еще не пройден, и народ, я вижу по общественным собраниям, очень хочет это услышать. Услышать это от тех, кто умеет, как им кажется, формулировать.

Сергей Кузнецов: Мне кажется, то, с чего мы начали, к тому же и пришли. Мы говорили о свойстве русского человека, человека русской культуры, стремиться к каким-то абсолютам. Будь это абсолют Обломова, или Раскольникова, или Штольца. И здесь, на нашем «круглом столе», мы наблюдаем то же самое. Что нам уперлось, чтобы книжку все прочитали? Зачем нам это нужно? Ладно бы такой судьбы желал своей книге коммерческий писатель: в конце концов, если его книгу все прочитают, то он закроет свои финансовые проблемы. Но на эту тему беспокоятся отнюдь не одни только писатели. А зачем нам нужно, чтобы была огромная книга, которую прочтут все? Пусть все прочтут пятьдесят разных книг. А книгу, которую напишет каждый из нас как писатель, прочтет какое-то количество тех читателей, которым она нужна. Сто лет назад все тот же Мандельштам цитировал строчки Баратынского: «и как нашел я друга в поколеньи, читателя найду в потомстве я» — и, мне кажется, этот принцип до сих пор работает. Почему мы все время забываем себе голову тем, что мы должны какие-то смыслы транслировать широким народным массам, и народ от нас чего-то ждет? Подождет дальше. Пусть читает свои «Пятьдесят оттенков серого». Не в смысле что мелкие, недостойные людишки читают недостойную ерунду, а в смысле, что они все разные, мы все разные. Кто-то будет читать меня, кто-то будет читать хорошего современного писателя, кто-то будет перечитывать классику, и при этом все они будут читать какую-нибудь лабуду. Ну и что? Но я тоже читаю лабуду, я люблю лабуду. Мне кажется, что это нормальная ситуация, и нам на эту тему можно смело не беспокоиться.

Елена Холмогорова: У меня маленькая реплика по поводу «читателя найду в потомстве я». Мы говорили, что в современной литературе человек, читая, видит некую систему зеркал, которая ему позволяет взглянуть на себя, но мое наблюдение совершенно о другом. Вот мои студенты, будущие журналисты. Они не смотрят уже советские фильмы, не читают советской литературы, кроме как по учебной программе. И мало что знают о советской жизни. Но они вполне осведомлены о жизни образованного сословия в девятнадцатом веке, поскольку читали русскую классику. Девятнадцатый век, на самом деле, останется и в двадцать первом веке, и, наверное, дальше только по классической литературе. Она уже этим свою функцию выполнила.

Сергей Боровиков

В русском жанре-45

* * *

В комедии Булгакова «Блаженство» (1934) есть персонаж Михельсон (превратившийся в новом варианте пьесы — «Иване Васильевиче» — в Шпака). Со времен выстрела в Ленина на заводе Михельсона в литературе эта фамилия возникла, насколько я знаю, только в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (1927) — Бендер снабжает Воробьянинова удостоверением на имя Конрада Карловича Михельсона.

* * *

Сейчас расплодился жанр, форму которого я в силу устарелости определить не могу и не помню, как именуют его продвинутые молодые критики, но эти сочинения кажутся мне написанными по лекалу, предложенному Остапом Бендером:

«Я — эмир-динамит! — кричал он, покачиваясь на высоком хребте. — Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-либо племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок — они любят продавать огнестрельное оружие племенам — и марш-марш в Данию. Германия пропустит — в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех — я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! Ему бы датского гуся!..»

* * *

Уже отмечалось, кажется, М. Золотоносовым, что Булгаков использует своеобразный портрет-эвфемизм, обозначающий делягу-еврея. Таков псевдоиностронец в магазине Торгсина в романе «Мастер и Маргарита»: «Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках...». В том же романе — «арамей», которого ударил обезумевший Иван Бездомный: «Мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках» и др.

Но, кажется, никто еще не заметил, что Булгаков здесь буквально следует Алексею Толстому.

«Откуда, из каких чертополохов, после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве? Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра и до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги...» («Гиперболоид инженера Гарина»). «Она действительно разорила дюжину ско-

робогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками» (там же).

«...иссиня бритых, сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных...» («Хмурое утро»). И др.

* * *

В статье Михаила Золотоносова «Сатана в нестерпимом блеске...» («Литературное обозрение», 1991, № 5) читаем о вероятном влиянии на автора «Мастера и Маргариты» книг Е.А. Шабельской, сотрудницы откровенно антисемитских изданий, и узнаем, что «гражданским мужем Шабельской стал доктор Алексей Н. Борк, также сотрудник антисемитских изданий и активный член Союза русского народа».

А я вспомнил, что в самой, по-моему, загадочной из чеховских пьес «Иванов» есть два персонажа, оба родственники главного героя — граф Шабельский и управляющий именем Боркин, пьяницы, шуты и бездельники. Причем Шабельский грубо вышучивает жену Иванова Анну Петровну на предмет ее еврейского происхождения, а она не только не оскорблена, но смеется с ним вместе.

Чехов знал Шабельскую: «Мне снилось, будто я прикладывал припарку на живот Шабельской. Она очень симпатична, и я рад, что был полезен ей хотя во сне» (Письмо А. Суворину от 12 дек. 1894).

В воспоминаниях Александра Амфитеатрова есть «зернистый», по выражению Бунина, портрет Шабельской (псевдоним Александры Станиславовны Монтвид). Женщина из рода классических авантюристок, нечистая на руку морфинистка и алкоголичка, умевшая сводить с ума мужчин. Неслучаен и ее союз с д-ром Борком, тоже алкоголиком, которого по силе магнетизма Амфитеатров сравнивает с Гр. Распутиным. Также любопытно и характерно, что эти, далекие, скажем так, от проблем и бедствий русского народа личности сделали активными функционерами «Союза русского народа». Это я к тому, что столичный воинственный литературный национал-патриотизм, докатившись до наших дней, зачастую обнаруживает среди своих адептов вовсе не людей от сохи, но вполне изломанных в декадентском стиле личностей.

Сюжет с Шабельской имеет еще одно литературное продолжение. Ее крестный сын участвовал в покушении на Милюкова, в результате которого погиб отец другого знаменитого русского писателя — Владимира Набокова.

* * *

У Булгакова в «Самоцветном быте» в главе «Сколько Брокгауза может вынести организм» лентяй-библиотекарь на просьбу рабочего парня посоветовать, что ему читать, адресовал его к словарю Брокгауза. И «что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.

— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав, и хоть убей не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан. Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал...»

А у Чехова есть рассказ «Чтение» о том, как антрепренер порекомендовал знакомому начальнику канцелярии Семипалатову приучать своих чиновников к чтению и раздал им книги.

«Мердяев завернул книгу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны... На другой день пришел он на службу заплаканный.

— Четыре раза уже начинал, — сказал он, — но ничего не разберу... Какие-то иностранцы... <...> Бедный Мердяев похудел, осунулся, стал пить. <...> Однажды,

придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!»

И начальник наконец понимает, что чиновникам чтение только во вред, и антрепренера велит не принимать.

* * *

Перечитывая «Дом на набережной», я впервые обратил внимание на то, что мать Шулепы охотно соглашалась, когда сын называл ее ведьмой: «Алина Федоровна кивала с важностью: “Да, ведьма. И горжусь, что ведьма”. Ее сестра соглашалась: да ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали».

Мне пришло в голову, что сразу две известные литературные дамы могут быть уподоблены Алине Федоровне. Или — она им.

Нет, я буду не о Серебряном веке, когда на ведьм была мода, и они размножались в литературных салонах. Мои дамы — гражданки СССР.

Собственно, одна из них ведьма как бы опосредованная: ведьма как прототип ведьмы. Я имею в виду, конечно, Елену Сергеевну Нюрнберг-Шиловскую-Булгакову. Коли она общепризнанный прототип Маргариты, то и ведьминских признаков ей не миновать. Ведьмой назвал ее таинственный старик, к которому привел Булгаков. Колдуньей нарекла Ахматова. Сюда же надо добавить уменьше Елены Сергеевны, очаровывая, делать людей зависимыми, и то, наконец, что в ряду ее мужей и любовников не было, скажем, бухгалтеров или рядовых литераторов.

«Наконец, Е.С., по нашему мнению, была предполагаемым посредником между писателем и властью. Ее воздействие на некоторые его шаги и важные решения несомненно. Особенно велика роль Е.С. в решении писать пьесу о Сталине.

Булгаков в жизни и творчестве искал *сильную женщину* (напомним его упрек первой жене, о котором она помнила всю жизнь и рассказывала нам более чем полвека спустя: “Ты слабая женщина — не могла меня вывести [из Владикавказа]!”). Такой казалась ему в середине 1920-х Л.Е. Белозерская — сумевшая в юном возрасте покинуть страну, выжить в эмиграции — и принять решение о возвращении. Для него вряд ли были загадкой обстоятельства жизни в Париже кафешантанной танцовщицы. В конце 1920-х идеальный тип был найден им в Е.С. и дорисован в Маргарите романа» — пишет М.О. Чудакова («Материалы к биографии Е.С. Булгаковой, Тыннинский сб-ник, М., Вып. 10, 1998, с. 607—643).

Вторая же дама нашего сюжета — это, понятно, Лиля Брик. Ведьмой первым, кажется, ее назвал Пришвин. Но статус ведьмы был очевиден многим ее современникам. Среди прочих свойств ее было привлекать и завлекать мужчин только высокого социального статуса.

Алина Федоровна легко переходит от одного высокопоставленного «бати» Левки к другому, не только не разделив их печальных финалов, но и не снижая в новом браке своего благополучия. Ну, для полного сходства, еще и к сестре в Париж ездит.

И все они никогда не работали, не служили, не зарабатывали себе на кусок хлеба.

* * *

Подумал, что в советской литературе сама поэтика повествования напрямую зависела от кубатуры жилища персонажей. В зарубежной не то. Да и в русской дореволюционной.

Вот, скажем, повествование с каморки Раскольниковова естественно переходит вместе с ним в уютную квартирку старухи-процентщицы. И различие комнаты Мыш-

кина у Иволгиных с огромным мрачным домом Рогожина или покоями генерала Епанчина не сказывается на поэтике повествования, как и пребывание дворян Толстого в кавказской хате. А вот тексты советских писателей, где герои обитают в коммуналке или подвале, словно бы художественно разделены с теми, действие которых происходит на изрядной жилплощади.

Порой автор через героя рисовал пропасть между сознанием жильца коммуналки и обитателя большой отдельной квартиры, что очень наглядно в «Доме на Набережной».

Но не в буквальных описаниях жилья дело. Самый текст Андрея Платонова или Зощенко пребывает в другом эстетическом измерении, чем Пастернака или Алексея Толстого. Впервые подумал об этом над строками Пастернака «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин». В подвале или коммуналке такого не напишешь.

* * *

Как страшны «Сентиментальные повести» Зощенко, как там силен и заразителен ужас перед жизнью *вообще*. От года в год мне становится все очевиднее его трагическое мироощущение, которое принимали — кто за юмор, кто за социальный протест.

* * *

Каждый год, вновь и вновь поражаясь, перечитываю «Сентиментальные повести», и по степени новых открытий могу сравнить только с перечитыванием Гоголя.

И — каждый раз, открывая, вновь и вновь испытываю любопытство и страх: чем-то он сейчас меня — удивит? — озадачит? — напугает?

И еще волнение от того, как это сделано, каким воздушным инструментом на каком малом пространстве. Из каких простых слов, часто давно мертвых слов, которые у него начинают трепетать.

* * *

Чехов и Зощенко. Завязка фабулы «Страшной ночи» почти повторяет рассказ Чехова «Упразднили!», но что́ у одного — и что́ у другого.

Получается, что Зощенко выше Чехова? Здесь — да.

* * *

Зощенко и Гоголь — общий внутренний механизм. Булгаков же — стилевое подражание Гоголю.

* * *

Как мне ненавистен розановский взгляд на Гоголя, продолженный в «Вехах» Бердяевым и продолжаемый и поныне.

Но Розанов был, есть и остается, а вот антигоголевская эстафета от него к Бердяеву все-таки, слава Богу, не выдерживала «темпа»: Бердяев был из холоднокровных, а способность Розанова воодушевляться ненавистью к предмету, будь то Гоголь или евреи, непостижима, неприятна и, что там говорить, в силу таланта Василия Васильевича заразна.

* * *

К разгадке причин, по которым Горький вернулся.

Он всегда любил власть (не чужую, а собственную) и во все времена своего восхождения брал ее на себя — в качестве ли основателя «Знания», каприйской ли школы, послереволюционных затей — «Всемирная литература» и проч.

Здесь же была возможность полной литературной диктатуры под присмотром лишь Сталина, да и то, скорее всего, Горький на расстоянии не мог вполне оценить, точнее примерить на себя, его силу. И — как важный штрих — почему он так снюхался с рапповской шпаной, прежде всего с Авербахом? Неужели они могли быть ему симпатичны? Нет, просто они главенствовали. Горький очень чувствовал соотношение времени и власти. Всегда. Потому и мог при Николае II так разнудаться, что тогда властвовал не царь, а антицаризм. В другую эпоху он бы не позволил себе революционности.

Дело не в личной храбрости, он был человеком, разумеется, мужественным, а в постоянном компасе успеха, эквilibре востребованности. После злосчастного выстрела в грудь, которого он всю жизнь стыдился, Горький сделался твердокаменным карьеристом, заточенным, как нынче выражаются, на успех, на моду. Быть эмигрантским брюзгой — фи! А тут: целая страна, целая литература падает пред ним ниц: «Я знаю, Вас ценит и власть и партия, Вам дали б все — от любви до квартир. Прозаики сели пред Вами на парте б: — Учи! Верти!». И т.д. и т.п.

* * *

Почти все письма советских писателей Горькому подлы. Да что там «почти»: можно бы классифицировать их по уровню заложенной и выраженной подлости.

* * *

В 1946 году на местах велено было искать своих Зощенко и Ахматову. В Саратове на роль Ахматовой никого не нашли, а вот на место Зощенко определили Александра Матвеевко. Вот газетный отчет о собрании писателей и литературного актива Саратова.

«Наиболее интересным и самокритичным было выступление поэта тов. Тобольского. Он отметил, что саратовские писатели, и он сам в том же числе, не работают над повышением своего идейно-политического уровня, не изучают марксистско-ленинскую теорию. По мнению тов. Тобольского, оторванность от жизни у тов. Матвеевко привела его к ошибкам зощенковского порядка. Тов. Матвеевко не знает наших людей, плохо знает нашу советскую действительность. Остановившись на недостатках критики, тов. Тобольский признал, что среди местных писателей существовали приятельские отношения, мешающие работе. Профессор Гуковский из приятельских побуждений хвалил произведения Матвеевко, а Матвеевко не воспринимал критически эти суждения» (Газета «Коммунист», 16 октября 1946 г.).

Да-да, это о великом русском филологе Григории Гуковском, уже пережившем и арест, и блокадную зиму, и эвакуированном с ЛГУ в Саратов. Известно, что предстояло Григорию Александровичу, — повторный арест как космополита и смерть в Лефортове. В Саратове в том году Гуковский издал книгу «Пушкин и русские романтики». Его обличитель тоже не сидел сложа руки:

И русской земле
Посылают привет
Вздохнувшие вольно народы.
Да здравствует Сталин!
Да здравствует свет!
Да здравствует солнце свободы!

Или:

Гриша, Нина, я и Света
Провели в колхозе лето,
И работой как могли
Мы колхозу помогли.

Выступал на том собрании и мой отец Григорий Боровиков, чему нашлось место в отчете: «В прениях выступали также писатели т.т. Розанов и Боровиков. Выступление последнего было крайне путаным, свидетельствующим о том, что тов. Боровиков все еще не понял указаний ЦК ВКП (б). Тов. Боровиков заявил, например, что он, как писатель, не знает и не может заранее знать идеи произведения, которое собирается написать. Это выясняется, по его мнению, лишь впоследствии, когда произведение уже написано».

* * *

Дело не в том, что Симонов преклонялся перед Сталиным. Он ведь, к его достоинству, так и не сделался яростным разоблачителем культа, чем разгневал Хрущева. Впрочем, людям, напрямую общавшимся со Сталиным, я думаю, не так уж сложно психологически было дерзить Хрущу.

Дело в явно пьянящем Симонова властолюбии и сознании вседозволенности. Нравственные нормы, разумеется, существовали для него, но преимущественно в рамках мужских, дружеских, офицерских контактов. Разумеется, немало, и не мне, человеку штатскому и послевоенному, это судить, но размышлять-то я смею.

Говорят, что советским Хемингуэем ощущал себя Юлиан Семенов.

Но много раньше его, думаю, Симонов.

Конечно, он и на 10% в первые послевоенные годы не заслуживал той славы и успеха, которые имел. Единственная более-менее стоящая проза — роман «Живые и мертвые» (который он напрасно продолжил еще двумя томами), написан много позже.

Драматургия — нулевая.

Поэзия? Здесь точка его славы — «Жди меня». Феноменальный успех этого стихотворения рожден прежде всего и почти исключительно тем, что, нарушая традиции, Симонов обратился от имени бойца не к матери, а к жене. И оказалось, что был в своей почти невозможной смелости прав. Культ материнства в военные годы мало что мог дать бойцу, кроме теплых воспоминаний, к тому же верность матери и не подлежала сомнению. Тогда как тоска по жене и мучительные сомнения в ее верности были неизбежны и неизбывны.

К тому же, если оглянуться, — традиция истового поклонения матери в русской поэзии не столь уж давняя. Много ли стихов о матери от Державина до Блока, от Пушкина до Некрасова? Да, «Внимая ужасам войны...», и наверняка я что-то упустил, но в основном уверен: в русской поэзии был культ любимой женщины, но не матери.

Культ матери в нашей поэзии начался, скорее всего, с крестьянских поэтов и был доведен до абсолюта Есениным. Родство его стихов с каторжным вскриком по единственно уважаемой женщине — матери — ядовито высмеял Бунин.

Не помню, кто очень верно выделил чужеродность знаменитых «желтых дождей» в знаменитом стихотворении. Я это знал с первого чтения и, когда встретил у Эренбурга похвалу «дождям» как единственной поэтической строке в стихотворении, удивился. Это цветное определение резко выпадает из стилистического контекста.

Впрочем, на этот чужеродный образ обращали внимание такие разные читатели, как главный редактор газеты «Правда» П. Пospelов и А. Твардовский.

«— А что? По-моему, хорошие стихи, — сказал он (Пospelов. — С.Б.). — Давайте напечатаем в «Правде». Почему бы нет? Только вот у вас там есть строчка “желтые дожди”... Ну-ка, повторите мне эту строчку.

Я повторил:

— “Жди, когда наведут грусть

Желтые дожди...”

— Почему “желтые”? — спросил Пospelов.

Мне было трудно логически объяснить ему, почему “желтые”. Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску»

Твардовский: «Мне кажется, что и “желтые дожди” плохо, ибо взято из чужого поэтического арсенала» (цит. по: М.О. Чудакова “Военное” (июль 1941 г.) стихотво-

рение Симонова “Жди меня” в литературном процессе советского времени», НЛЮ, вып. 58).

Когда умер Симонов, я был в Москве. Узнал о случившемся, не сумев пройти в ЦДЛ, закрытый для подготовки к траурной церемонии, и там уже шептались о завещанных покойным «открытых поминках». Тогда же я услышал слова известного критика из «русской партии» Л.: «Для них это большая потеря. Другого такого эластичного не скоро найдут».

Слова его меня не то что удивили (находясь в непосредственной близости к той среде, я ко многому уже прислушался, а точнее, принохался), удивило противоречие сказанного с очевидным для меня «нееврейством» Симонова.

Можно предположить, что Сталин метил контактного, раскованного, исполнительного «без соплей» Симонова на роль вечного Эренбурга. Отсюда бесконечные зарубежные послевоенные командировки Симонова, самая важная из которых, в США, была в компании с Эренбургом. Эренбург представлял для Сталина штучную неповторимую ценность, а он незаменимых людей не любил, тем более такого, как Эренбург. Размышляя об этом, я вдруг, кажется, набрел на источник старого мифа о мнимом еврейском происхождении Симонова. Миф вполне мог родиться в Кремле и распространяться Лубянской с целью создать для Запада образ, подобный образу Эренбурга, — либеральный еврей на службе сталинской диктатуры.

Репатриантка Наталия Ильина, которой посоветовали для поступления в Литинститут «заручиться поддержкой писателя с именем», обратилась к Вертинскому, которого хорошо знала по Шанхаю. И Александр Николаевич исполнил просьбу, «написал письмо своим хорошо мне знакомым крупным и острым почерком». Кого же просит 59-летний Вертинский? Всемогущего 33-летнего Симонова. Прямо-таки XVIII век, век фаворитизма. Шел 1948 год.

Помните из «Золотого тельца»: да кто ты такой?

А вот кто:

Сталинская премия первой степени (1942) — за пьесу «Парень из нашего города»,
 Сталинская премия второй степени (1943) — за пьесу «Русские люди»,
 Сталинская премия второй степени (1946) — за роман «Дни и ночи»,
 Сталинская премия первой степени (1947) — за пьесу «Русский вопрос»,
 Сталинская премия первой степени (1949) — за сборник стихов «Друзья и враги»,
 Сталинская премия второй степени (1950) — за пьесу «Чужая тень».

И — должности, должности, должности...

Твардовский о Симонове: «...что же тогда сказать о Симонове, которому без войны не видать бы своего литературного “Клондайка”. Но и война не сделала из него художника». — А. Твардовский. Из рабочих тетрадей. 23.6.65.

* * *

О большой и тайной власти Петра Павленко говорили много. Самая растиражированная, но, кажется, не вполне подтвержденная история о том, как он присутствовал на Лубянке во время допроса Мандельштама и пристыдил поэта за малодушие. Я же слышал в Крыму восхищенную беседу двух провинциальных писателей о том времени, когда там поселился Павленко.

— На пленуме сказал первому секретарю: вы не соответствуете занимаемой должности, и скоро я вам это докажу. Уехал в Москву, вернулся, и сразу новый пленум — вопрос об освобождении товарища такого-то. Вот так!

Да... Вот времена были! Симонов тоже из тех времен, а не из 60-х.

* * *

Чекисты убили Есенина?

А «До свиданья, друг мой, до свиданья» тоже чекисты написали? И «Слушай, поганое сердце...» и «На рукаве своем повешусь...».

* * *

Не люблю «традиционных сборов» и возгласов: «а помнишь?».

Помню.

Но вспоминать не хочу.

Ведь то было с теми, совсем другими, 20—30—40—50 лет назад, а какими они-мы стали сейчас? И как их-нас соотнести друг с другом заново? И уж вовсе нестерпимо неискренне умиляться фото чужих детей и внуков, лоя меж тем взгляды на себя и отвечая взглядом: да, украсило тебя-меня время!

* * *

...Было четыре часа утра, час, когда уже окончательно сгинуло вчера (в три оно еще было живо) и не началось сегодня (в пять оно уже есть); час пробуждения младенцев, котов и пьяниц, час ухода умирающих.

2012

рецензии

Аккомодация магического хрусталика

Владимир Гандельсман. *Читающий расписание (Жизнь собственного сочинения).* Книга стихотворений. — СПб.: Пушкинский фонд, 2012;

Владимир Гандельсман. *Видение.* Книга новых стихотворений. — СПб.: Пушкинский фонд, 2012.

В двух новых книгах Владимира Гандельсмана, вышедших в свет практически одновременно, работают три разные поэтики. Одна, резко новая для этого поэта, строит поэму «Видение»; наведем *свою* резкость на нее, но сначала рассмотрим «Читающего расписание», который в некоем сюжете, связывающем две книжки (недаром они равнограничны), идет первым.

Из двух поэтик «Читающего» — одна давняя, ни при каких погодах в литературе не стесняющая лирическую сердцевину авторского «я» («свободней говори, пожалуйста, / вот так, вслепую, наизусть, / хребтом уходит рыбьим шпалистый / трамвайный путь, / трамвайным пустится, не сетуя, / пусть бесподобная душа, / по снегу тающему спетая / в сердцах, левша»). В другой — явную маску на «я» надел не так давно цикл «Жизнь моего соседа» в «Ладейном эндшпиле» (2010). Материя стиха как символ веры, как сама вера, «грандиозней Святого писанья», соседствует с голым словом позитивизма, жизнью, как она есть, поэзией, как ее разделы обэриуты.

В «Читающем», однако, эти поэтики сплавляются в новую уже на уровне breaking news. Непредсказуемый эстетический сюжет (неотделимый от этического, окажется) просто требует поместить его в *книгу стихотворений*: здесь этот термин не самозванец, как это случается нередко с вполне доброкачественными сборниками стихов. А есть ли самозванство в подзаголовке книги «Жизнь собственного сочинения»? Во всяком случае, о подзаголовке стоит помнить, читая эту жизнь. Или ее «расписание»: метафора названия книги, раскрываемая уже в стихотворении-прологе, сводит жизнь к автобусному расписанию маршрутов, все менее желанных, цели которых нам не постичь, и насколько колким пером написано это «расписание» жизни, не сравнить с «расписанием камышинской ветки» в «Сестре моей жизни», родной матери гандельсмановской музыки...

В «Читающем» автор совершает довольно серьезный поступок: сплавляет два разнокачественных «я» в одно. С одним «я» Гандельсмана читатель хорошо знаком, сорок лет без малого бродит оно по памяти-поэзии с намерением постоянно обновлять построенный им ДОМ. На мой взгляд, не было и нет в русской поэзии более «домашнего» поэта, для которого дом детства (фундамент его — внеразумная цельность восприятия мира как аксиома счастья) остался основным поставщиком энергии в строительстве дома поэтического. Смысл поэзии (и жизни) Гандельсман видит в обретении цельности, сравнимой только с данной в детстве. Как после разрушений войны (взрослой жизни) восстанавливается мирная жизнь, так действие поэта восстанавливает «*детствие*». (Не путать действие-детствие Гандельсмана с поэтикой инфантилизма, взятой на вооружение рядом современных авторов: его «детствие» не прием, а первореальность, онтология).

Неожиданно поэт подселяет в свой ДОМ «соседа», и все бы ничего, если теперь с «соседом» не делился бы он не только жилплощадью, но и «я». И если в «Ладейном эндшпиле» дележ происходил на отдельной территории цикла (цирка, можно сказать, где авторское «я» надевает отчетливо травестииную маску), а на остальной площади ДОМА звучала узнаваемая гандельсмановская симфоника, то в «Читающем» она перемежается

легкой музыкой, которую заводит «сосед». Для уха сомнений нет: музыки объединяются контрапунктно в цельное произведение. Сосед — это я, маска прирастает к лицу. И, похоже, автор (в отличие от мима Марселя Марсо в знаменитом номере) далек от отчаяния.

Можно себе представить, как происходила аккомодация хрусталика поэтического глаза, магического кристалла, сквозь который автор смотрел на жизни этих двух «я», как жизнь «соседа» оказалась не слишком далеко отстоящей от своей собственной по ряду параметров универсальной человеческой участи. Или ее «расписания», с неминуемым отбытием «автобуса» из молодости.

«Так жизнь сворачивается не сразу, / так тяжелые остановки духа / превращают любви совершенный разум / в жили-были старик со старухой» — этот сезон жизни поэт пережил за родителей (как позже многократно пережил их смерти) в своей родовой лирике (он ее родоначальник, по большому счету). Пусть по «расписанию» жизнь доставила пока не в старость, а на ее предместья — неразумные превращения любви налицо. И как когда-то он положил начало «детствию» в нашей поэзии, опять он делает нечто необычное: начинает разрабатывать тему супружества на склоне лет — тему для прозы расхожую, но поэзией (серьезной, высокой) избегаемую. Почему — вопрос отдельный.

В плане языка эпоха зрелого супружества — время «постмодернистское»: эстетика преобразившейся любви склонна больше к иронии (не романтической), чем к пафосу личной уникальности. Опыт языка обэриутской поэзии, особенно Олейникова, тут незаменим, и Гандельсман его учитывает, как и более поздний опыт опрощения поэзии ради ее выживания. Однопланный синтаксис и многопланная семантика (формула поэтики обэриутов, согласно Лидии Гинзбург) в стихах от опрощенного, семейного «я» соседствуют в едином эстетическом сюжете с до(пост)обэриутской поэтикой сокровенного «я» в других стихах, все чаще сливаясь уже внутри одной вещи. Словно поэт жонглирует маской! А виртуозность его действий вся направлена на то, чтобы сохранять равновесие на круто пересеченной местности супружества.

Загнанность в абсурд института брака (ставшие чужими друг другу — в абсолютных смыслах «модернизма»-молодости — живут вместе), смирение перед неумолимым ходом жизни и отсутствием выхода (нравственного, социального, биологического — какого угодно), сострадание к товарищу по несчастью, безумная любовь не в переносном смысле, эмоции самые неопределенные — эти и многие другие душевные «флюиды» выявлены в динамике stogy (жанр от фарса до трагедии):

«Дома Лида моя ходит в шерстяных / тапочках по ковру, и у Лиды / накапливается электричество, тронет — вспых / между нами, искры летят. Флюиды. // Даже комната освещается. Может быть / (мой сосед-ученый говорит «может статься»), / подсознательно она хочет меня убить. / Но сознательно — приласкаться. // Иногда сильнейший проходит ток. / Я кричу ей: «Господи, больно, Лида! / Мы ведь жизнь отбываем, а не тюремный срок, / мы ведь два человека, а не болида. // Что за странное, Лида, высекновенье огня!» / Но в ее глазах не злой огонь — неизвестный. / Может статься, она полюбит меня / хочет для оправданья совместной».

Опростившиеся стихи «с Лидой» так непредсказуемо, резво ворвались в поэтический дом Гандельсмана, что немедленно стало ясно: тепла их человечности, неяркого, неровного света «единой плоти» там не хватало, и эта простая на вид, но внутри мастерски укрепленная пристройка парадоксальным образом украшает объемное и гармоничное здание. Нижеследующее стихотворение «Перельман, Лида и я» дает пример сближения двух авторских «я» в «единую плоть» внутри одного стихотворения:

Он вычисляет объем пустот,
он, как коров, их пасет,
не помышляя о выгодах
на галактических выгонах,
гений Григорий
Яковлевич, царь теорий.

Вижу смиренного пастуха,
солнц польхают стога,

тьма между ними пустотная...
 Лида сказала, штопая:
 «“Правлю Вселенной”, —
 говорит твой смиренный».

Но я не слышал ее уже.
 Остановясь на меже,
 схлопнулось время скверное.
 Лида моя трехмерная!
 Ты иллюзорна?
 Истинна? Нерукотворна?

Два «я» — бытовое, присутствующее лишь в названии, и бытийное, метафизическое, истинно гандельсмановское, здесь сливаются в «я», принимающее несовместимость для него иных сущностей мира и так обретающее еще одно измерение на пути обретения цельности. Но прорывается ли эта симбиозная поэтика к Другому, точнее, к Другой, к ее лирической сердцевине? Задача, трудно решаемая в координатах лирики, здесь знает один мощный прорыв — в «Обороне»:

Раз в году или даже два
 мы сидим в гостях или гости
 к нам приходят, жена едва
 их выносит, но терпит в злости.
 Не двужильна. Душестоянье ей
 тяжело дается, я слышу,
 как она арматурой всей
 скрипит, держит крышу.
 Если ж спор у меня зайдет
 с собеседником (я в подпитье
 жарок и говорлив), а тот
 обладает встречною прытью,
 и меня пытается одолеть,
 и меня в ответ расплывает,
 тут жена всю грудную клетку
 напрягает и громко лает.
 Унижать меня ей одной
 позволяется, а на прочих
 лает остервенело, я ей родной,
 из трущоб ее чернорабочих.
 Разбегается по четырем ветрам
 люд застольный, двужильный,
 и разносится лай по дворам,
 настигающий, сильный.

Гениальный прорыв в Другую совершается «из трущоб ее чернорабочих». Кстати, не два ли здесь прочтения? Пожалуй, не меньше трех. 1) Жена лает из чернорабочих трущоб (смысл антропологический): среди архетипов женщины, homo sapiens рожающего, кроме матери и любовницы, в черном углу копошится серая уборщица (в разных обличьях), женский труд черней, поскольку серей, рутиннее: «она на чулочной фабрике двумя руками / девять часов шьет целый день». 2) Я ей родной в тяжелой, черной работе продолжения рода (смысл экзистенциальный). 3) Я ей родной, из тех же трущоб жизни (смысл социальный): «Ранним, ранним утром бредется / то по снегу серому, то по лужам, / где, жена, мы с тобою служим? — / где придется, помнится, где придется» (1997).

Эпилог «Техника расставания» с его мотивом приближения к конечному пункту жизненного путешествия оказывается... прологом к другой книге — поэме «Видение». Ударение двойное; с точки зрения сюжета поэмы — на Е; с точки зрения поэтики — на И: поэт приходит к видению пройденного пути через новую поэтику.

Лирический герой (здесь зазор между автором и героем минимальный) видит свою жизнь завершившейся по какому-то своему счету, готов к смерти настолько, что то видение, какое возникает, согласно поверью, перед мысленным взором умирающего, посещает его еще при жизни. Мы читаем то, что автор видит перед смертью (я так читаю). Мы видим ряд картин как своего рода КОДУ к музыкальному произведению, которое автор исполнял в сокровенных стихах всей жизни. Коду, конечно, услышит лишь тот, кто прослушал все произведение — если не целиком, то в лейтмотивах: чудо появления собственной колыбели в мире; данность крепости родительского дома; «младенчества сада»; первая детская любовь (смертельная: видение умершей в детстве одноклассницы не оставляет всю жизнь: «Твое исчезновение раннее / все безответнее. / Что для тебя здесь-небывание / сорокалетнее?» («Тихое пальто»); здесь-бытие на пике «детствия»; смена «детского дионисийства» на «чинность взрослого уродства»; дионисийство Города; обретение братства на пути стихотворческого становления; смерть друга-брата; обмеление реки жизни и, наконец, ранее немыслимое: отчуждение от счастья воспоминаний, готовность оставить их без надежды на там-бытие. То, что мотивы звучат пунктирно, в коде не удивляет, такова музыкальная форма. Непривычен сверхсерьезный, порой дидактичный даже тон повествования. Свобода, скорее, выговаривания, чем говорения. Неужели торжественность переживания — готовность принять спокойно собственное исчезновение — диктует прямолинейность высказывания? Гандельсмановская стиховая «душа-левша» поправила:

Трепет марлевый, сачок,
 Карповка, баржа притопленная,
 по ветвям пробежка почек
 до-ре-ми-фа-сольная,
 человек-родничок
 родниковой крови полон,
 ветра воля вольная,
 божественный почерк.

В чем прямолинейности (как в двух завершающих строфу строках) нет, однако, так это в форме строфы-октавы, которой написана поэма. Среди стихотворцев бытует предрассудок (родившийся от успеха онегинской строфы), что коли взялся за поэму в наши дни, изволь изобрести собственную поэтику строфы. Ахматова, глубоко удовлетворенная строфой «Поэмы без героя», разделяла этот предрассудок. Гандельсман, оставаясь «левой» в мастерстве рифмовки, подковыывает строфу неровной чересполосицей разноударной (впервые употребленной им обильно в «Новых рифмах», о чем критики писали немало) и ударной рифмы (рифмы, как она есть). Самое оригинальное в небывалой гандельсмановской строфе: одни и те же рифмы работают и как ударные, и как разноударные! В вышеприведенной строфе звук О в рифмах то безударен, то попадает под ударение; так же звук А. Подобная рифмовка (с вариациями в строках поэмы) приводит к определенной гармонизации звука, разлаженного благодаря разноударной рифме. Получается классика и авангард в одном флаконе. Что и есть фундаментальный принцип стихотворной деятельности Гандельсмана, протекающей столь разнообразно.

Хитрых этих строф всего 36 на «Видение», по 12 на каждую из трех частей поэмы, вызывающей и видение ахматовских «Северных элегий» («Есть три эпохи у воспоминаний...»). Каждая октава занимает центр отдельной страницы, и где-то около середины поэмы, на переломе воспоминаний дионисийства жизни — когда жизнь надевает трагическую маску, — у читателя может возникнуть видение поэмы как сцен на греческих амфорах. Вот когда разноударная, или графическая рифма вносит дополнительный вклад — не только в атональную музыку, но и в живопись «Видения»:

Так в Истории следы
 исчезают человеческие, —
 росписью на вазе беды
 с торжествами венчаны,

а младенчества сады —
те же древнегреческие
мифы, безупречные
в истинности бреды.

Лиля Панин

Очень разная проза

Евгений Сулес. *Сто грамм мечты.* — М.: Книжный Клуб Книговек, 2012.

Начнем с очевидного. Перед нами не просто книга рассказов, а сборник очень разных — по стилистике, по принципу устройства, по настроению — рассказов. Пожалуй, настолько разнообразную малую прозу до сих пор я встречал только в антологиях; под одной фамилией — не приходилось.

Внутренняя структура книги, собирающая эти разнородные элементы в циклы, убеждает «от противного» — и внутри циклов сохраняется чудесная широта диапазона; открывая очередной рассказ, ты и предположить не можешь, с чем встретишься, и поводов удивиться у читателя всегда хватает.

Впрочем, в любом многообразии все же прослеживаются некие закономерности. Я выделил бы у Евгения Сулеса три столбовые линии.

Первая (условно) — *реалистически-ностальгическая*. Читатели со стажем усмехнутся: где, мол, основания для ностальгии, когда автору и сейчас тридцать пять лет, а на время написания отдельных произведений было и того меньше? Отвечу: есть нечто ценное в молодой ностальгии, как в молодом вине, некоторое острое, раннее ощущение растущей дистанции времени и безвозвратной потери, и именно оно уловлено и передано автором.

Вторую линию столь же условно можно назвать *фольклорной*. Тут и добавить что-то трудно: едва ли не любому прозаику хотелось бы написать фольклорную по характеру вещь. Именно не стилизацию, не псевдофольклор, не ироническую прозу в фольклорных декорациях, а угадать какие-то важные архетипы в понятных, в общем-то, координатных осях. Евгению Сулесу удается — и это, возможно, главная удача книги. Хотелось бы добавить здесь пару слов — когда автор остается в рамках реализма, к его услугам много вспомогательных средств для того, чтобы завоевать доверие читателя. Например, узнаваемая деталь. Характерная речевая пауза. Описание. Здесь же автор движется по некоторому гладкому пространству, сочетающему свойства шахматной доски и минного поля. Один неверный шаг — и новелла (притча?) погибает.

Третья линия (условно, условно!) — *абсурдно-постмодернистски-цитатная*. Лично мне она была наименее интересна, несмотря на известное качество исполнения. Помимо прочего, этого материала (в том числе неплохой выделки) с избытком хватает внутри литературного цеха, и здесь сама частотность жанра играет против автора. С реалистической прозой, заметим, этого эффекта не происходит: некачественной ее, конечно, тонны, а вот хорошей — недостаток.

Отдельно стоит рассказ «Кипяток», продолжающий линию русской (+ советской) сатиры скорее первой половины XX века, а может быть, и газетного фельетона. Очевидно, если почва простояла под паром несколько десятилетий, она вновь плодородна.

Эти стилевые линии лучше и ярче проявлены у автора именно в чистом виде и именно на небольших пространствах. «Сто грамм мечты» — настоящее торжество малой (и сверхмалой) прозы.

Вернемся к очевидным соображениям. Автор — режиссер, сценарист, киновед. Тут к гадалке не ходи — отметь кинематографический характер прозы Евгения Сулеса. Логика настолько неумолима, что укладывается даже в прокрустово ложе аннотации. Присмотримся внимательнее: да или нет? Ответим максимально точно: и да, и нет.

То есть, конечно, прозаик с опытом хотя бы любви к кино (оставим созидательную часть) на интуитивном уровне усваивает некоторые абсолютно выигранные ходы: монотажную стремительность, зрительную выверенность кадра, например. Если видишь, нельзя

и незачем заставить себя не видеть. Если знаешь прямую дорогу, зачем идти окольной? На таком уровне, можно сказать, вся мировая проза начиная со второй половины XX века впитывает опыт кинематографа, и, разумеется, к Евгению Сулесу это относится в полной мере. Но есть и *обратный эффект*, о котором мне хотелось бы поговорить подробнее.

Представим себе двух прозаиков, один из которых пишет стихи, другой — нет. Вполне может статься, что проза как раз второго более пропитана (или отравлена) веществом поэзии. Исходно поэтический импульс первый прозаик направляет в поэтическое русло, то есть пишет стихотворение. Второй же вынужден как-то реализовывать свои (возможно, скрытые) поэтические амбиции в прозе — потому что все свои амбиции реализует в прозе. Если здесь нужны хрестоматийные примеры, то проза Гоголя поэтичнее прозы Пушкина и Лермонтова.

Евгений Сулес свои сценарные амбиции реализует в сценарном деле, поэтому его проза совсем не сводится к диалогу и действию. Наоборот, в большинстве лучших вещей это, скорее, формула «проза минус сценарий», то, что формат сценария неумолимо отсекает.

Частное замечание: в некоторых вещах (например, в рассказе «Лебеф») Евгений Сулес необыкновенно близок в стилистическом плане к любимому мной Михаилу Новикову. Это не может быть влиянием в стандартном смысле этого слова: первая книга рассказов Новикова вышла, когда Сулесу было двенадцать лет, и быстро стала библиографической редкостью; вторая же — буквально только что, когда корпус «Ста грамм мечты» был уже написан. Я бы объяснил эту близость так: через чутких авторов городская проза резонирует с некоторым нервом городской жизни. Точнее, с нервом отчуждения от этой жизни, отслоения от нее — а формы этого отслоения мало изменились за четверть века. Вот, кстати, еще одна характеристика прозы Евгения Сулеса — это решительное, ни в одной строке, *не офисная* проза. Городская — но не офисная.

Еще — это проза нескучная, немного концертная, располагающая к устному чтению. Не стану лукавить — я был на презентации книги, где чтение рассказов было доверено талантливым актерам. Насколько поэзия проигрывает (если не умирает) в актерском чтении, настолько эта проза выиграла.

Здесь мы подходим к сердцевинному свойству прозы Сулеса — она часто бывает радостной. Независимо от фабулы, радостной — по краскам, по музыкальному ладу. Это редко случается в наших широтах: у нас прозу, как правило, пишет интеллигенция, а интеллигент гораздо чаще хмур и раздражен, нежели светел и весел. Непонятно, где Евгению Сулесу удалось обмануть эти статистические выкладки, но ему это удалось.

Придя в книжный магазин, вы вряд ли найдете двухтомник рассказов — даже Моэма, Мопассана или О'Генри. Касательно малой прозы — каждый писатель улучшает томик избранных. Первая книга автора — и «Ста грамм мечты» здесь не исключение — смотрит в будущее. Она несет в себе первые твердые элементы. Рискну предположить, что среди них будут «Иван-да-Марья», «Как солдатик с войны возвращался», «Вино из Кишинева», «Кипяток», «Гадательно сквозь тусклое стекло». Думаю, читатели с удовольствием расширят и дополнят этот список. Может быть, важнее, что практически вся книга жива и энергична. Хочется пожелать автору сохранить эту энергетику в своих будущих вещах.

Леонид Костюков

Способ жизни в расколотом мире

Владимир Казаков. Мадлон: проза, стихи, пьесы. Послесловие А. Еременко. — М.: Гилея, 2012.

«Признаться, когда я слышу стихи, я всегда чувствую себя несколько неловко. Но когда я слышу прозу, то чувствую себя еще более неловко. И уж совсем неловко я чувствую себя, когда вообще ничего не слышу».

Личность и творчество Владимира Казакова, поэта, прозаика, драматурга, художника, пока еще во многом остается загадкой. Родился в Москве в 1938 году, учился в военном училище и педагогическом институте, из обоих был исключен. После встречи с

Алексеем Крученых начал писать странную прозу. Считается преемником футуристов и обэриутов. Тексты Казакова сначала издавались на Западе, и только после его смерти в 1988-м году в России вышло несколько книг, подготовленных вдовой писателя.

В книге «Мадлон» собраны по большей части неизданные тексты Казакова или другие варианты ранее опубликованных. Кроме того, книга представляет читателю не только Казакова — поэта и прозаика, но и Казакова-художника.

Любая книга Казакова начинается с молчания. «столько и молчания в ответ на все и даже не в ответ. вот, например: душа, а за ней — другая. даже мосты ржавее. столько сомнений вслух, что даже не знаешь, чем же отличается молчание от ничего». Но это молчание, в котором накоплено слишком много, чтобы не опасаться начать говорить. Молчание текстов Владимира Казакова обусловлено их разговором. У Казакова почти нет авторской речи, почти нет монологов — сплошные внутренние диалоги, или, скорее, один диалог, к которому подключаются все участники разговора.

«Мадлон» — это еще и разговор с помощью цвета и линий. Книга иллюстрирована коллажами и монотипиями автора. Монотипии — это особый вид графики, когда краски наносятся прямо на гладкую печатную форму (стекло или металл), с которой можно сделать только один оттиск. Казаков-художник разговаривает в том же стиле, что и Казаков-поэт. И в коллажах, и в монотипиях для Казакова важна разорванность линий, расплывчатость или неопределенность контуров. Фигуры и лица на его монотипиях будто бы собраны из разноокрашенных частиц воздуха, темноты и света. Фигуры почти прозрачны, проницаемы, призрачны и непрочны, готовы распадаться и собираться в другие фигуры или лица, столь же зыбкие и непостоянные. Лица — почти вселенные с безумным кружением звезд и взрывами в самом центре лица — рождением нового мира.

Собственно, на монотипиях Казакова у лиц нет самого лица — их нельзя узнать или запомнить. Они нематериальны. Они почти отсутствуют. Они почти призраки, сквозь них просвечивают предметы. Эта размытость и неопределенность компенсируется четкостью и колкостью казаковских коллажей, их весомостью, твердостью и хрупкостью. Коллажи — это мир расколотого молчания. Именно того затвердевшего молчания, с которого все и начинается. Молчания, которое нужно разбить, чтобы начать говорить. Разговор — это осколки молчания. Но Казаков разговаривает осколками настолько острыми, что в разговоре приходится двигаться с осторожностью, чтобы не пораниться самому и не ранить другого. Отсюда и недоговоренность, слова-осколки приходится окружать новым молчанием, которое непременно будет разбито, и следующее — тоже. Такая пунктирная речь, вспыхивающая и угасающая, проявляющая бережность к собеседнику, и нужна-то для отбора тех собеседников, которые способны ответить на такую речь. Например, деревья: «У них нужно учиться жестам, особенно во время бури. У них нужно учиться молчанию, особенно всегда».

В текстах Владимира Казакова почти нет посторонних голосов и предметов, внешних необязательных звуков. Разговор всегда содержателен. Ливень приходит, чтобы «глаза начинали различать звуки, ставшие невидимыми для слуха». Секунда, которая «в виде сверкающего окна взлетела с каменной неподвижной стены», начинает разговор в тот миг, когда «дневные стены никак не могли смениться ночными». У Казакова события происходят в момент «между», когда одно состояние уже ушло, а следующее еще не появилось. Персонаж оказывается в том промежутке, где вроде бы ничего не должно происходить — в том самом молчании, окружающем осколки. Но именно здесь, в отсутствии всего, все и начинает происходить. «Вода расступилась, чтобы пропустить тишину. Слово вся она тишиной называлась. Отражения вздрагивали своими каменными этажами, струились. Никто не мог сказать о себе, кто он, — ибо никого не было. Только этажи — с их каменными отражениями, только ветер — с его стальной водой».

Время тоже меняется, иначе невозможно было бы прожить целую жизнь в тот момент, когда одна секунда сменяется другой. «Время, казалось, отступило за черту собственной неизбежности».

Мир расколот, и автор понимает, что склеить не удастся, швы еще хуже, чем осколки, и нужно пытаться не воссоздавать то, что когда-то было целым, а расшифровать его с помощью фрагментов. Но получается так, что каждый фрагмент теперь становится отдельной сущностью и сопротивляется объединению с другими сущностями-осколками.

Мир, раскалываясь, творит новые миры, и так — до бесконечности. «здесь участились случаи. например, пауза, упавшая с крыши, разбившаяся на тысячи местных осколков». Тексты и коллажи Казакова — не соединение, а распадение. Его вселенная постоянно взрывается, автор — в эпицентре взрыва. И Казаков не собирается складывать этот разломанный мир заново. Ему гораздо интереснее жить в таком — с разорванными связями и неопределенными отношениями. Нравится жить без опоры, в этом неустойчивом и пока еще чужом мире. Отсюда постоянный мотив холода и пустоты. «Холод — лучшая защита от холода». Холод — спутник предметного мира: стены, окна, отражения, карнизы, дождевые капли, стрелки часов. Практически все, окружающие персонажа предметы, обладают собственным сознанием, голосом и молчанием. Иногда молчание предметов становится многозначнее их речи. «Поцелуй весь состоит из молчания и самого себя»

Все персонажи Казакова одиноки и самодостаточны. И даже если они вдвоем, то каждый сохраняет свою обособленность и отдельность. Взаимодействие возможно только с предметами, состояниями или понятиями. «А полковник, бросившийся на темноту, скоро был ею отброшен с необыкновенной ночной силой». Разговор на языках предметов, разговор предметами становится для персонажей единственно возможным способом общения. «Общаться с темнотой можно и в устном, и в письменном виде — мною это давно замечено».

Предметы становятся посредниками между людьми. Окруженные тем же молчанием, что и другие осколки мира, предметы, тем не менее, несут в себе самих некий универсальный язык, разговор на котором возможен, если знаешь его слова. Казаков этими словами владеет. «Я пошатнулся и заговорил на языке ливня».

Отсюда же многозначность смыслов. Освоение языка предметов происходит на глазах читающего. И, по большому счету, нет разницы: предмет учится говорить или персонаж учится понимать, взаимообучение происходит в обе стороны, предметы порой находятся в такой же растерянности, как и персонажи. «столько и молчания в ответ на все и даже не в ответ. вот, например, душа, а за ней — другая. даже мосты ржавее. столько сомнений вслух, что даже не знаешь, чем же отличается молчание от ничего». Но разговор не прерывается, даже если он происходит в молчании. «ответу наугад молчанием».

Драматургия (а в книгу включены несколько пьес) Казакова стилистически почти не отличается от его романов. Реплики действующих лиц неотличимы от диалогов персонажей: они также направлены в никуда, в расколотое пространство. И сами фразы — тоже осколки, разбивающиеся прямо в процессе произнесения. Тексты Казакова не монолитны, в них множество сквозных отверстий, сквозь которые с легкостью движется время. В одной фразе могут смешаться века и секунды, вечер и ночь сменяются в зависимости от угла взгляда. А связано все молчанием, окружающим фразы. Или тем, что Мандельштам называл брюссельским кружевом — пробелы, проколы, пустота, связывающая несвязуемое или кажущееся бессвязным.

нет, дождь еще не сталь, но в этом юном сходстве
участвуют окна февральское стекло
и весь прозрачный час с своим мгновенным ростом,
гарцующий опять столь конно и светло.
нет, дождь еще не стал и никогда не станет,
а если я неправ, то вот мои века:
то вот мои клинки из полуночной стали,
которая навек безумна и легка.
прощай, мое дитя! из всех несходств февральских
прекрасней всех одно: которое не здесь —
и дождь его и сталь откликнутся едва ли
в австрийской тишине на собственную весть

Галина Ермошина

Город прекрасный, город счастливый

Жители Бостона отличаются утонченностью интеллекта и на голову выше обитателей других городов...

Чарльз Диккенс

Бостон. Город и люди. Составители: Леонид Спивак, Женя Павловская, Марк Чульский. — Бостон: M-Graphics Publishing, 2012.

В заглавии этой заметки — начало «Песни венецкого гостя» из оперы «Садко», в которой прославляется «царица морей» Венеция. Кто бывал в Венеции, знает, что ее жителям приходится нелегко: сырость, грибок, высокая вода. Однако миф о прекрасной счастливой Венеции жив и будет жить.

В Америке, точнее, в Новой Англии есть свой «прекрасный и счастливый город» Бостон. Все сходятся на том, что это самый европейский из всех американских городов. Под боком у высоколобого Гарварда с некоторым высокомерием взирает он на прочие города Америки. Не знаю, каков здесь процент русскоязычного населения, выходцев из бывшего Советского Союза и России, но число их велико. Место они хорошо освоили, полюбили, и плодом этой любви стала книга.

Название «Бостон. Город и люди» может поначалу ввести в заблуждение, ибо речь в сборнике идет не о городе вообще, а о таком удивительном явлении, как «Русский Бостон». И даже там, где говорится об американской истории, о первопоселенцах, в 1630 году положивших начало городу, взгляд на события, оценки и, самое главное, язык, на котором ведется рассказ, — узнаваемо русские. Первоначально книга задумана как историко-краеведческая, мысль о ней, как мне известно, впервые зародилась у писателя и краеведа, знатока бостонских «уголков» Леонида Спивака. Однако в конечном итоге получилась маленькая энциклопедия «Русского Бостона», включившая в себя историко-краеведческий материал, фотографии старинных церквей и новейших бостонских зданий, стихи и прозу живущих здесь русских авторов.

Главный герой книги — город. О нем любовно и со знанием дела пишут Женя Павловская и Леонид Спивак, Элла Горлова и Анна Ушомирская, Анисим Берман и Ефим Железов, Олег Сулькин и Иосиф Богуславский...

Вот из Жени Павловской: «Бостон — уникальный город США. Здесь много всего «самого первого». Первая публичная библиотека и первая линия метро в Америке. Первое высшее учебное заведение — Гарвардский университет. Первый маяк для кораблей... Первый общедоступный парк — Boston Common. Даже первая в Америке поздравительная открытка к Рождеству была отпечатана в Бостоне» («На трех холмах»).

От Эллы Горловой можно узнать, почему и у каких зданий на старейшей городской улице Бикон Хилл окна розового цвета (случайно добавленная в стекло окись марганца), сколько галлонов или литров вмещает знаменитый «Кипящий чайник», висящий на одном из старинных зданий (862 литра), когда и по какой причине в городе случилось «Паточное наводнение» (в 1919 году из-за морозов прорвало башню-цистерну для хранения патоки).

У Анисима Бермана читаем, что первым американским кораблем под звездно-полосатым флагом, вошедшим в Санкт-Петербургский порт, был «Буканир», и случилось сие в 1783 году. Корабли везли в Россию тростниковый сахар, ямайский перец, хлопок, мускатный орех, вина, специи, табак... Назад, в родной Массачусетс, кроме полотна и птичьего пуха, американцы часто привозили «русские печи», ставшие в прибрежных домах обыденным явлением. А уж какие названия были у тех кораблей — не поверите: «St.Petersburg», «Cronstadt», «Tzar», «Neva»... («В эту гавань из России возвращались корабли»).

У него же можно прочесть, что известный американский художник Джеймс Уистлер первоначальное художественное образование получил в Петербургской академии художеств, учась не у кого-нибудь, а у самого Павла Федотова. Был маленький «Яша» сыном массачусетского инженера-путейца Джорджа Уистлера, с 1842 по 1847-й проектировавшего и строившего железную дорогу Санкт-Петербург — Москва («Строитель дороги из Петербурга в Москву»). Большое эссе писатель посвятил судьбе Алексея Евстафьева, первого российского консула в Бостоне, а затем и в Нью-Йорке («Консул Его Императорского Величества»).

Переключку судеб русских и американцев, связь Бостона и его уроженцев с историей и культурой России встречаем и в интереснейших очерках Леонида Спивака. Особенно занимательными мне показались такие его «маленькие исследования», как «Апология Хлестакова» о дипломате и издателе Павле Свиныне, «Лица Ваттемара» о чревоушателе и собирателе редких автографов Александре Ваттемаре, в свое время поразившем нашего Пушкина, а также «Ангелы над городом» о Статуе Свободы, детище француза Бартольди и американца Ричардсона, после невероятных приключений установленной-таки в Нью-Йорке 28 октября 1886 года. Называю очерки Леонида Спивака «исследованиями», так как для их написания, как мне представляется, потребовалось серьезное погружение в научную литературу, умение искать и находить нужные сведения и факты. Только указаний на источники не хватает этим очеркам, чтобы выглядеть исследованиями в полной мере.

Никак не могу пропустить эссе того же автора, посвященное судьбе Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского («Первый концерт»). Не могу его пропустить, потому как в этом тексте отчасти объясняется поразительный феномен: наш Петр Ильич Чайковский стал в Соединенных Штатах чуть ли не национальным композитором. День Независимости, 4 июля, здесь непредставим без обязательного — под гром пушек и всполохи фейерверка — исполнения увертюры «1812 год», Рождество — без таинственного сказочного «Щелкунчика», исполняемого балетными труппами и на детских утренниках, и на вечерних представлениях по всей стране. Знали ли вы, что начало всему этому положил критика Николаем Рубинштейном посвященного ему Первого концерта? Нет, не понравился Рубинштейну концерт, сочиненный другом-композитором: «плохо, пошло...», исполнять его он отказался. И тогда оскорбленный Чайковский перепосвятил свое сочинение пианисту Гансу фон Бюлову, который и сыграл его в Бостоне 25 октября 1875 года. Премьера прошла столь успешно, что вызвала быстрый рост популярности среди американцев как Первого концерта, так и самого композитора. Оказавшись в 1891 году в США, Петр Ильич с удивлением констатировал: «...я в Америке *вдесятеро* известнее, чем в Европе...».

Что касается прозы бостонских авторов, то она, как и стихи, перемежается в сборнике материалами о «старых камнях Бостона» и — к чести составителей — разнообразна и хорошо подобрана. Слово дано и москвичке-переводчице Юне Родман с рассказом, обращенным в прошлое, в память об ушедшем отце («Осенний день»), и лингвисту Анжеле Шпюльберг с ее попыткой проанализировать, как наш «великий и могучий» порождает словосочетания типа «взять душ» и «порезать не писиком, а слайсиками» («Русский по-американски: размышление о «Великом и Могучем»), и ученому Эдуарду Амбарцумяну с его тягой к афоризмам, например, такому: «Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос чаще задают, находясь в эмиграции» (из книги афоризмов «Америка, Бог, Любовь»).

Старожил бостонской русской общины Марина Хазанова поместила в сборнике живые, написанные «с близкого расстояния» портретные зарисовки писателя Феликса Розинера, поэтов Александра Есенина-Вольпина, Михаила Крепса и Наума Коржавина¹. Рассказала она и о «Муле», Маргарите Ивановне Фриман, — «легенде третьей эмиграции», дожившей почти до ста лет и помнившей работавшего в Гарварде Набокова. В рассказе о Феликсе Розинере меня заинтересовало упоминание о грандиозном проекте «Краткой энциклопедии советской цивилизации», доведенном Розинером и его коллегами (Ефим Эткинд и Вячеслав Вс. Иванов) до фазы издания: «Все было подготовлено на английском языке, и право на издание этого тома купило большое американское издательство». Что стало дальше с этим бесценным томом, писательница не сообщает, но от неутомимого архивиста Иосифа Богуславского, в свое время участвовавшего в создании этой книги, я слышала, что она так никогда и не вышла². А жаль, энциклопедия поднимала на поверхность огромные и многообразные пласты советской жизни, слепки ушедшего на дно быта и культуры. На мой взгляд, потеря неопределимая.

Диана Виньковецкая описывает жизнь литературно-художественной гостиной, расположившейся в их доме, «на самом высоком холме Бостона», месте «встреч, художе-

1 О двух последних читайте также в книге Валентины Синкевич «Мои встречи: русская литература Америки», Рубеж, Владивосток, 2010.

2 См. Ирина Чайковская. Интервью с Иосифом Богуславским. Чайка, 2008, № 12.

ственных выставок, выступлений, споров, обсуждений». Там выступали Игорь Губерман и Михаил Крепс, Олег Чухонцев, Семен Липкин и Инна Лиснянская... «...У Перловских-Виньковецких — рай для русских и советских!» — кратко сформулировал Евгений Рейн свои впечатления об этом месте («Дом на Jordan Road»).

Александр Генис, живущий в Нью-Йорке, в «Письмах из Новой Англии» поведал непосвященным о расположенном неподалеку от Бостона Тресковом мысе (Кейп Код), где каждый уважающий себя «русский бостонец» имеет свои любимые уголки; разнообразный ландшафт позволяет представить себя то в Подмоскovie, то в дюнах Прибалтики, то на гальке Черного моря. Тот же автор напомнил читателю о бостонском Робинзоне — выпускнике Гарварда Генри Торо, в 40-х годах позапрошлого века ушедшем от мира в лес, на берега озера Уолден. Причина ухода — самая простая и чем-то напоминающая бессмертное «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»: «Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни... чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил».

Людмила Штерн. Из трех симпатичных отрывков из ее книг, помещенных в сборнике, остановлюсь на одном. Называется он «Десять минут о любви» (из книги «Под знаком четырех»), и рассказывается в нем довольно известная, хотя и удивительная история. Американец и русская встретились в конце войны, на Эльбе. Крис пришел в русский клуб и встретил там переводчицу Тасю Воробьеву. Они тут же влюбились друг в друга, и Крис предложил Тасе выйти за него замуж. В тот же день девушку отправили военным самолетом в Россию. Дальше история становится почти неправдоподобной. Летчик Крис, не получая ответа на вопрос, где находится его невеста, отправился на трофейном истребителе на ее поиски. Его задержали в Белоруссии, судили за шпионаж, дали пять лет тюрьмы и десять лет лагерей строгого режима. Освободившись в 1955 году, Крис снова попал в лагерь, так как, следуя своей сумасшедшей идее найти Тасю, оказался в «закрытой зоне». Адрес Крису дали фальшивый — Тася жила в другом месте. Когда в 1958 году хрущевский указ разрешил браки с иностранцами, к ней в Новгород прибыли три агента КГБ, чтобы узнать, знает ли незамужняя учительница английского языка Таисия Воробьева американца Криса Харингтона и хочет ли его увидеть. «Войдя в ее комнату в новгородской коммуналке, кагэбэшники обомлели. Все стены были завешаны портретами Криса, увеличенными с одной-единственной фотокарточки, которую он ей подарил в те далекие годы на Эльбе». Эту историю я когда-то читала в каком-то популярном журнале. Но в рассказе Людмилы Штерн есть одна важная деталь: она сама, собственными глазами, видела эту пару, «стройную седую даму в голубом шелковом платье с ниткой жемчуга на шее», и коренастого невысокого господина, «в джинсах, клетчатой рубашке и спортивной куртке», — пару, воплотившую в своей судьбе современный миф о Ромео и Джульетте...

Удивилась, не найдя в сборнике широко публикующейся в России бостонки Ирины Муравьевой, думаю, что следующие выпуски без нее не обойдутся.

И напоследок — о поэзии. В Бостоне — много поэтов, гораздо больше, чем попало в книгу. А попали в нее рано умерший и недооцененный Михаил Крепс, маститые Наум Коржавин (ему посвящена отдельная статья) и Александр Есенин-Вольпин, давно и заслуженно любимые русской общиной Марина Эскина и Леопольд Эпштейн (пора бы о них узнать и в России), талантливые Александр Габриэль, Григорий Марговский и Катя Капович, плетущая венки сонетов Нина Басанина, поэт со своей лирической темой Михаил Герштейн.

Поэзия, как и следовало ожидать, добавила в сборник тревожную ноту, дабы не думали читатели, что в славном городе Бостоне для бывших россиян реки текут молоком и медом. И, хотя в «Письме в Москву» повторяет Наум Коржавин как заклинание «We will be happy!», в тоне его не чувствуется веселья, а уж собратья по цеху добавляют к этому свои «растравы».

Мама, мне тошно; мама, мне путь открыт
Только в края, где счастье сошло на ноль...
(А. Габриэль. «Бостонский блюз 2»).

Обильный край, куда ни посмотри.
Жаль, что не мой! И потому внутри
Скрипит, увы, отнюдь не музыкально...

(Нина Басанина. «Письма из эмиграции. Венок сонетов»)

Англосаксонскому уху до фени
Русише дактиль, а идише сны.

(Катя Капович. «Люди, которых не вижу годами...»)

Успокаивает последняя строчка из «Рождественских стихов» Леопольда Эпштейна: «С тобою — твой опыт, и боль, и слова». («Бруклайн. Массачусетс. Канун Рождества»).

Я насчитала в сборнике сорок три автора, включая фотохудожников Юлию Орлову и Владимира Машатина, проиллюстрировавших книгу.

Мне не хватило в ней развернутого вступления, в котором составители сформулировали бы свои задачи и обрисовали дальнейшие планы. Судя по анонсу, на *первой книге* они не остановятся, вот и хотелось бы знать, что нас ждет в следующем томе. Кроме того, почему-то не указаны авторы раздела «Старые камни Бостона» и очерков о художниках Литинском и Хассаме. Что до художников, то тема «художественного Бостона», слегка затронутая в сборнике, бесспорно ждет своего продолжения.

Не могу не упомянуть издателя книги, бывшего москвича Михаила Минаева, поддерживающего проект, широко публикующего бостонских авторов. Кто знает, может быть, в свой срок станут эти имена известны и славны в России. Во всяком случае, антология «Бостон. Город и люди» — один из заметных шагов на этом пути.

Ирина Чайковская

Слово на весах культуры

Борис Голлер. *Девятая глава.* — СПб.: Алетейя, 2012.

Автор не нуждается в представлении. Его пьесы о декабристах «Сто братьев Бестужевых» и «Вокруг площади» еще в 70—80-е годы украшали сцены «продвинутых» советских театров. Его «пушкинский» роман «Возвращение в Михайловское» совсем недавно обрел заслуженный успех не у одних только пушкинистов...

Новая книга Голлера включает в себя, главным образом, плоды его многолетних литературоведческих штудий. И сразу же неожиданность: открывается том художественной прозой — повестью «Петербургские флейты». Почему? Оценивая композицию книги после прочтения, понимаешь: проза здесь — род предисловия, образное «введение» в эпоху, о которой дальше говорится языком анализа. Впрочем, язык этот, с его словарной и интонационной изощренностью, очень далек от академической сухости.

Повесть, воссоздающая события 14 декабря 1825 года, рельефно выявляет основной принцип книги: доскональное знание реалий и «флюидов» исторического времени обосновывает авторское право на догадки и содержательные реконструкции. Не пускаясь в подробный разговор о ней, отмечу лишь, что, например, главы «Дворец и площадь» и «Елена, сестра своих братьев» — суть образцы психологической прозы, с филигранной детализацией, тонкими и убедительными проникновениями в характеры исторических персонажей.

Главный корпус «Девятой главы» образован тремя опусами о центральных фигурах и произведениях «Золотого века русской литературы». Все они проникнуты общим пафосом пристального и в то же время «остраняющего» чтения. Б. Голлер приглашает взглянуть на знакомые с детства тексты словно впервые, глазами, промытыми удивлением, любопытством. И это позволяет ему ближе подступиться к загадкам замыслов и реализаций, под хрестоматийным глянцем обнаружить еще недостаточно осмысленные глубины и повороты.

Первая часть триптиха — «Драма одной комедии» — посвящена личности Грибоедова и его гениальному «Горю от ума». Здесь автор полнее всего проявляет себя в качестве

борца с шаблонами, с разношенными, как шапка, моделями восприятия. Предлагаемое Голлером прочтение «Горя» — не провокация, на которые так падко наше время, а проверка привычных схем на историческую и логическую консистентность.

Исходный тезис состоит в том, что главная героиня «Горя» — Софья, а любовь ее к Молчалину служит источником смыслового и сюжетного движения. Настоящий — и почти революционный — вызов условностям и привычному жизненному порядку бросает не пылкий говорун Чацкий, а именно Софья, засиживающаяся до утра наедине с милым. А из этого уже вытекает иная оценка многих персонажей, мизансцен и общих установок пьесы.

Минюя подробную аргументацию Голлера, приведу лишь ее итог. «Горе от ума» — вовсе не инвектива против социального строя или высшего света России, а пьеса об иррациональности нашей жизни, где все происходит невпопад и не вовремя, где любят не тех и не за то, где намерения безнадежно искажаются результатами. Грибоедов предстает здесь опередившим свою эпоху художником и мыслителем, провозвестником трагикомической абсурдности бытия. К тому же постигшим сомнительность утопизма и продиктованного им радикального социально-политического действия.

Соответственно в эссе пересматривается традиционное мнение о кризисе, творческом и психологическом, постигшем автора «Горя» после декабрьского восстания. По мнению Голлера, Грибоедову просто не хватило времени, не хватило судьбы отыскать художественную форму для своих новых замыслов и прозрений.

Спорно? Конечно. Интересно? Чрезвычайно, тем более что Голлер отстаивает свое видение убежденно и страстно, подтверждая его скрупулезным анализом текста и исторического фона.

«Контрапункт, или Роман романа», — пространное и проникновенное рассуждение о «Евгении Онегине», о его новаторстве, о творческих принципах и философии жизни Пушкина, об особом психологизме романа, растворенном в его композиции.

Здесь тоже, хоть и более приглушенно, чем в «Драме одной комедии», звучит полемическая нота. Голлер спорит с излишне морализирующими трактовками «Евгения Онегина» и авторской позиции в нем, в частности, с мнениями известного пушкиниста В. Непомнящего. Но главное для него — взгляд на произведение как на особую, ранее не встречавшуюся в отечественной литературе художественную структуру, с драматургической и «музыкальной» разработкой главных тем, открывшую новые пути русскому роману.

Эссе полнится тонкими наблюдениями над поэтикой и семантикой «Онегина». Очень плодотворна, например, идея о центральной позиции в романе фигуры Автора, то сливающегося с А.С. Пушкиным, то отделяющегося от него, то отождествляющегося с Онегиным или Ленским, то дистанцирующегося от обоих. По ходу развертывания сюжета Автор постоянно меняется: он спорит с собой, от чего-то отказывается, что-то в себе пересматривает, преодолевает. Противоречивость, чуть ли не ртутная подвижность образа Автора, интенсивность отношений и переходов между ним и другими персонажами создают в романе удивительный контрапункт голосов и точек зрения.

Голлер приходит к заключению: Пушкин вовсе не собирался критически судить главных героев романа, принижать или возвышать одного из них за счет другого. Ленский и Онегин у него — суть олицетворения разных фаз единого жизненного цикла, разных начал, которые сменяют друг друга — а иногда сосуществуют и борются — в духовном пространстве личности. Ленский — юность, возраст любви и поэзии, верность мечте, идеалам. Образ Онегина знаменует собой не просто зрелость, с присущими ей опытом, искусностью, но и наступление прозы жизни на человеческую душу, почти неизбежную «амортизацию» последней в борьбе с обыденностью. Неслучайно дуэль героев трактуется в «Контрапункте» как «убийство юности в себе».

Вообще мотивы «времени, вынашивающего перемены», мотивы возрастных стадий жизни, с ее «прологами» и «эпилогами», с борениями, страстями и разочаровывающим итогом, равно как и доминантная тема смерти — по Голлеру, важнейшие смысловые составляющие романа.

Главное достоинство «Контрапункта», на мой взгляд, в том, что здесь подробно и предметно анализируется тот атрибут пушкинского творчества, который расплывчато именуют протеизмом. На всем движении художественной мысли «Онегина» выявляется устремленность Пушкина к «общему жизни» в разных ее фазах, ипостасях, превращениях. Голлер подчеркивает поразительное умение поэта отождествляться с отдельными

«бытийными проекциями», выявлять их с исчерпывающей полнотой и выразительностью — и тут же или вскоре обнаруживать относительность данного состояния, данной истины, возможность иных, дополняющих или альтернативных вариантов.

Завершающий фрагмент триптиха — работа «Лермонтов и Пушкин», в свою очередь сложносоставная. В собственно литературной ее части автор весьма проникательно прослеживает отношение Лермонтова к личности и творчеству великого предшественника, которое, разумеется, вовсе не укладывается в схему почтительного ученичества.

Опираясь на анализ ряда стихотворений, «Тамбовской казначейши» и, конечно же, «Героя нашего времени», Б. Голлер показывает, как Лермонтов формировал и утверждал собственную эстетику, отталкиваясь от найденного Пушкиным, пародируя его, вырываясь из гравитационного поля пушкинского гения. Цель Лермонтова — изображение дисгармоничного внутреннего мира человека постромантической поры, эпохи рефлексии и «безочарования». И он находил для этого — и в поэзии, и в прозе — принципиально новые средства выразительности, ракурсы и инструменты анализа. При постоянном диалоге, параллелях и переключках с Пушкиным Лермонтов отстаивал правоту собственного мировидения — гораздо более горького и трагичного, нежели пушкинское. Голлер формулирует вызывающий тезис: Лермонтов — первый экзистенциалист в русской литературе, он — «антинищепанец до Ницше».

Вторая, биографическая часть этого исследования, озаглавленная «Две дуэли», является очередной попыткой разобраться в запутанных обстоятельствах, приведших великих поэтов к трагическому концу. Основной посыл тут следующий: между дуэлями Пушкина и Лермонтова очевидна корреляция, хотя «агентами зла» в обоих случаях могли выступать не «правящие круги», а вполне определенные группировки аристократического общества, например, компания блестящих кавалергардов братьев Трубецких. И мотивы их могли быть не столько идеологическими, намеренно «антипрогрессистскими», сколько частными, личностными, хотя от этого ничуть не более приглядными. Автор «Двух дуэлей» убежден: Лермонтова подвели под пулю Мартынова те же люди, которые послали Пушкину пресловутый «пасквиль». И мстили они Лермонтову за слишком прозрачный, «адресный» намек в последних шестнадцати строках его знаменитого «На смерть поэта».

Завершают книгу два эссе на более близкие нам хронологически темы. «Послание от Феллини» — дань памяти и восхищения великому магистру кинематографа и культуры. «Парадокс об авторе и театре» развивает давнюю и выношенную мысль Голлера о кризисе современного театра, источник которого в разрыве между сценическим действием и текстом, между режиссером и драматургом, в торжестве Образа над Словом, что особо резко проявилось в XX веке.

В заключение скажу, что, читая «Девятую главу», я часто ловил себя на давно забытом побуждении — отмечать карандашом на полях знаки своего отношения к прочитанному: знаки согласия, несогласия, удивления, одобрения, восхищения! Следовать за мыслями автора оказывается занятием необычайно занимательным. Книга эта покоряет, заражает сконцентрированной в ней интеллектуальной энергией и любовью к литературе. И я желаю максимальному числу читателей подвергнуться этой благодетельной инфекции.

Марк Амусин

Свидетели и делатели

Архимандрит Тихон. «Несвятые святые» и другие рассказы. — М.: Издательство Сретенского монастыря и ОЛМА медиа групп, 2012;

Владимир Мартынов. Автоархеология (1978—1998). — М.: Классика-XXI, 2012.

Отец Тихон Шевкунов — один из самых популярных сегодня священников. Он появляется в телевизионных передачах, снимает фильмы, занимается просвещением в широком смысле слова, поэтому естественно, что выход его книги стал событием и среди людей «церковного круга», и среди читающей публики вообще. Точно выбранный стиль, на первый взгляд легкий, доверительный, без изысков и усложненностей, с интонацией живо-

го разговора, сделал книгу легко читаемой. Этот язык точно соответствует задаче о. Тихона — написать современный патерик, понятный любому человеку и фиксирующий различные проявления духовного опыта: от самых строгих монахов и пустынников, чья жизнь — с понятными поправками — почти воспроизводит древний опыт, до обычных людей, которые ошупью бредут в поисках смысла и веры. И эта задача — куда более серьезная и широкая, чем просто собрание благочестивых рассказов и исторических анекдотов. Книга, рассчитанная в первую очередь на воцерковленного православного читателя, который воспринимает эти рассказы как часть своего опыта, оказалась интересной и вне церковной среды. Случай едва ли не уникальный, его можно сопоставить, пожалуй, только с Дневниками о. Александра Шмемана. Появление «Несвятых святых» в коротком списке «Большой книги» делает книгу и участником литературного процесса, выводя тему из маргинальной закрытости, включая ее в общий поток жизни, делая ей прививку новых смыслов.

Композитор Владимир Мартынов пишет культурологические и философские эссе, в которых увязывает уровень и особенности современной религиозности как с общим движением истории и культуры, так и с метаисторическими их проявлениями. Его книги «Пестрые прутья Иакова», «Зона OPUS POSTH, или Рождение новой реальности», «Казус Vita nova», интервью, статьи читаются и ценятся его единомышленниками. Как композитор Владимир Мартынов начинал с авангардных поисков в композиторском искусстве, со временем пришел к изучению и сочинению богослужебной музыки, ориентированной назад, как он сам выражается. Его категорический отход от современной культуры, от сочинения музыки, углубление в историю богослужебной музыкальной традиции, преподавание в Московской духовной семинарии и академии, написание теоретических работ по богослужебному пению, возвращение к сочинению светской музыки на основе его поисков — все это делает В. Мартынова человеком, чей собственный культурный опыт стал духовным. Случай чуть ли не уникальный в современной жизни.

Его новая книга «Автоархеология» несопоставима с книгой о. Тихона ни по тиражу, ни по популярности. Название обозначает движение к осмыслению своего жизненного, культурного и духовного пути: раскопать все то, что обусловило его теперешнее состояние, очистить, систематизировать и оставить как свидетельство, в котором, несмотря на подчеркнутую индивидуальность, многие узнают и свой поиск: хоть от «паломничества в страну Востока», как у Мартынова, хоть от «паломничества» в других направлениях — от увлечения западным искусством, которое воспринималось как более свободное по сравнению с советским, — к неподвластному временным изменениям евангельскому началу.

Размышления о прошлом, если это не дневниковые записи, всегда читаются с некоторым недоверием. Почти неизбежная редукция, переосмысление прошлого, коррекция на себя сегодняшнего, на потребу сегодняшнему дню лишает прошлую жизнь непосредственности, а значит, и документальной ценности. Но Мартынова нельзя в этом упрекнуть. Его интеллектуальная честность обусловлена первой же записью. Текст, начатый с евангельской цитаты о том, как Иисус сказал ученикам, восхитившимся зданием Храма, что «не останется здесь камня на камне», управляется этой интонацией, этим смыслом. Собственно книга и написана о «разрушении» этих «зданий». «Подобная ситуация, в которой возникает дилемма между кажущейся незыблемой величественностью привычного и возможностью покинуть эту незыблемость ради некоего неясного обетования, переживалась, переживается и будет переживаться, по всей видимости, многими еще не раз. Что же касается меня, то мне довелось пережить некую схожую ситуацию в конце 1970-х годов, но, если в Евангелии речь шла об исходе из Храма Ветхого Завета и вступлении на путь Нового Завета, то в моем случае речь должна была идти об исходе из пространства культуры в пространство Церкви. <...> Именно в этот момент слова Христа: «Се оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: Благословен грядый во имя Господне!» — обрели для меня живой конкретный смысл. Я вдруг понял, что они обращены лично ко мне и что они указывают мне на то, что пространство культуры, то есть дом, в котором я жил, на поверку оказался пустым домом, ибо его давным-давно покинул Христос». И молодой удачливый известный композитор Владимир Мартынов коренным образом изменил свою жизнь, несмотря на все неизбежные социальные и политические последствия этого шага, которых он тоже не побоялся.

Важнейшую часть книги составляет Трактат о богослужебном пении, где оно в соответствии со святоотеческой традицией приравнивается к аскетической дисциплине, обуславливающей необходимое преобразование ума, без чего невозможна преобразующая мир молитва. (Трактат этот, на наш непросвещенный взгляд, должен изучаться всеми регентами, участниками церковных хоров, да и священниками, чтобы на службах звучало именно «богослужебное пение», а не церковная музыка, которая, по мысли Мартынова, будучи давно и повсеместно исполняемой, не просто размывает стройность богослужения, но вообще лишает мирян осмысленного участия в молитве.) Чередование размышлений и воспоминаний с главами Трактата придает композиции книги не только музыкальную полифоничность (музыканты смогут выстроить более содержательный смысловый и ассоциативный ряд, что, безусловно, усилит их восприятие мартыновского сочинения), но в каждом новом витке мысли показывает, что верно найденная интонация, точная формулировка (а у Мартынова они емки, точны, кратки) — проявление той точности мышления, которая есть верный знак его истинности.

В отношении к богослужебному пению, его бытованию в церкви, отходу от древнерусской традиции Мартынов видит вообще ключ к пониманию важнейших духовных процессов и образов. Так, сравнивая апокалиптические образы «жены, облеченной в солнце» и «жены, сидящей в пустыне», он говорит о том, что эти образы символизируют две противоположные тенденции истории: процесс воцерковления мира и процесс расцерковления мира. По его мнению, это не просто последовательность фактов, обусловленных чисто историческими причинами, но последствия внедрения в историю некоего надъисторического мистического начала. «Процессы воцерковления и расцерковления мира, которые могут быть поняты как процессы приобщения мира к высшему порядку и отчуждения этого порядка от мира, сводятся в конце концов к вопросу наличия и отсутствия богослужебного пения в мире». Такой подход может показаться максималистским и даже узким, но его оправдывают стройные исторические доказательства своих мыслей, обращение к наследию святых отцов, которых Мартынов воспринимает не просто как Великих Учителей, но как единомышленников, чьи постулаты для него так же актуальны, как если бы они были обращены сегодня и непосредственно и лично к нему.

Выбор «единого на потребу» дает внутреннее право Мартынову резко и нелицеприятно оценивать современное состояние церкви, общества, культуры. Он видит свою задачу не в том, чтобы докричаться до властей предрежащих, а в том, чтобы обозначить критерии своего взгляда, в корне отличающегося как от благочестиво-невзыскательного, принимающего все, что исходит от начальства, хоть церковного, хоть светского, так и от интеллигентского либерального брюзжания, не принимающего ничего, что исходит оттуда же. Эта резкость оценок продиктована его духовной и интеллектуальной честностью. Выбрав однажды «ценностей незыблемую скалу», он не меняет ее в зависимости от обстоятельств, выгоды момента или группы людей.

Так, сомнительность происходящих в последние десятилетия общественных перемен Мартынов связывает со знаковым восстановлением храма Христа Спасителя — вместо «восстановления Кремля». Восстановление храма Христа Спасителя воспринимается им как жест политический и даже популистский. «Это типичный продукт сознания и мышления синодального периода, а синодальный период есть время тотального забвения древнерусских устоев иконописи, церковного зодчества и крюковой нотации, то есть забвение всего того, что образовывало основу русской национальной самоидентификации. <...> Восстановление храма Христа Спасителя представляет собой событие не менее драматическое и не в меньшей степени заставляющее нас призадуматься над нашей дальнейшей судьбой, чем образцово-показательное разрушение этого храма».

Как духовную трагедию Мартынов воспринимает «обескультуривание Церкви» и «расцерковление культуры». «Взаимодействие обескультуренной Церкви и расцерковленной культуры породило какую-то гремучую смесь псевдоцерковной культуры с псевдокультурной Церковью».

Смелость Мартынова в формулировках будит мысль, привыкшую к движениям в фарватере, готовую не только принимать, но и специально отыскивать чье-то авторитетное мнение, чтобы отождествить с ним свое и в этом видеть послушание, единство и благочестие. К чему бы Мартынов ни обращался, он исходит из собственного опыта, основанного на камне традиции, но проверенного лично, поэтому слова его звучат

убедительно: он пишет о том, что знает сам. Он очищает понятие послушания от благочестивой редукиции, а именно в таком ключе часто ведутся «православные» разговоры, когда послушание сводится к способу общения духовника и ищущего духовного окормления человека. Для Мартынова послушание — это проявление взаимоотношений сознания с миром, особый язык его. В современном же мире, где утрачены простота и единство сознания, утрачена и сама возможность переживания послушания как проявления соборности, а значит, утрачено и послушание в первоначальном смысле слова. «Послушание перестало быть способностью слышать и превратилось в исполнительную послушность, сводимую к проблеме: подчинять или не подчинять свою волю воле чужой».

Духовный опыт В. Мартынова — это опыт человека, для которого нет мелочей в жизни вообще. Любое ее движение, пусть самое незначительное, воспринимается им как часть целого, которое, конечно, не может быть ни усвоено, ни осмыслено отдельным человеком, но без попытки этого усвоения наносится ущерб этому целому. Это — редкое сегодня, да и всегда, наверное, свойство человеческого ума, но обращение Мартынова пусть к небольшой части читающей публики все же оставляет надежду на то, что кому-то он поможет расширить, прояснить, освободить взгляд на жизнь — не в соответствии со своими личными желаниями и пониманием, а в соответствии со словами Христа.

Конечно, не каждый человек способен услышать в словах Евангелия прямой призыв именно к себе, как это произошло с Мартыновым. Но еще меньше людей способно ответить на этот призыв буквальной и революционной переменной своей жизни. Те, кто в 70-е годы был способен на такой поступок и совершил его, по-разному смогли «прирасить таланты». В каком-то смысле сейчас можно говорить о результатах их *перехода*. Определенная малость этих плодов или их муляжность, видимость — это тоже результат этого *перехода*, который совершался хоть и из пространства культуры (в большом смысле), но по *его* законам. Но как бы то ни было, эти люди ответили не на зов времени, тогда еще не вполне сформированный или слышимый, — они сами формировали его. Пример тех, кто находился в одном смысловом поле с Мартыновым (а это очень широкий спектр людей: от С. Аверинцева, О. Седаковой, В. Ерофеева до З. Крахмальниковой и др.), действовал на одну группу людей. Пример других, к кому из той же интеллигентской среды двинулся будущий режиссер Георгий Шевкунов, будущий архимандрит Тихон, охватывал другую часть. В чем-то эти группы не сливаются и до сих пор, в чем-то, в основном в вопросах стиля, даже противоположны, но объединяет их нечто более важное, чем все несходства. Мартынов, рассуждая о разных путях этого движения к вере, написал, что история воцерковления архимандрита Тихона совпадает по времени с приходом в церковь и его самого. «Он упоминает практически тех же священников, тех же монахов, те же места и те же ситуации, с которыми довелось соприкоснуться и мне. Но если выпускник ВГИКа Георгий Шевкунов — будущий отец Тихон — сподобился погружения в самые сокровенные глубины церковной монашеской жизни, то я, подобно плоскому камешку, брошенному умелой рукой и скачущему по поверхности водной глади, сам лишь скакал по поверхности этой самой жизни, время от времени получая возможность заглянуть в ее глубины одним глазком. У нас были разные призвания и разные бэкграунды, но мы так или иначе были причастны некоему подспудному историческому течению, некоему единому историческому зову, и, несмотря на наши различия, каждый из нас по-своему пытался ответить на этот зов. Мне кажется, что именно наличие этого зова и попытка ответить на него ... заставляет меня писать то, что пишу сейчас я, а отца Тихона — писать то, что написал он».

Но вот что удивительно. При всей внешней простоте книги о Тихона она, как и настоящая монашеская среда, как всякая самоотверженная вера, остается почти герметично закрытой для быстрого и стороннего взгляда, пусть и доброжелательного. Да, истории о Тихона легко пересказывать. Как «вредный отец Нафанаил» «угадал» мысли разобитенного на весь мир молодого послушника Георгия и повторил их слово в слово. Как отец Иоанн Крестьянкин, склонившись над безжизненным телом монаха, сказал: «Нет, это не покойник. Он еще поживет». А тот, очнувшись, «со слезами начал просить постричь его в великую схиму». Как отец Алипий, легендарный настоятель Псково-Печерского монастыря, когда его во времена хрущевских гонений принуждали закрыть монастырь, «бросил бумаги в жарко пылающий камин, а остолбеневшим посетителям спокойно пояснил: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою». Все эти истории могли входить

в древние патерики, с оглядкой на них о. Тихон и писал. Это и понятно: вера и чудо как предельное подтверждение веры всегда идут рядом. Интересно другое. О. Тихон делает достоянием массового сознания уже *результат* этой веры. Об аскетическом пути, изменяющем внутреннюю и внешнюю жизнь человека, охлаждении и горении, рутине, сомнениях он не говорит. Речь идет только о плодах, которые видны простому человеку, внешнему по отношению к монастырской жизни. Каждый, кто любит ездить по монастырям, может рассказать свои такие истории, с такими же просветляющими обыденное сознание встречами, совпадениями, озарениями. Но в таком подходе о. Тихона и проявляется особенное прикровенное отношение к тайне веры, которая совершается в *своей* внутренней комнате. Простые по форме рассказы на самом деле говорят и об уникальности этого опыта, и о его закрытости для внешнего человека, часто даже не подозревающего, что духовный уровень народа не определяется богословскими конференциями, чтениями и количеством причастников на Пасху в Москве, не исчерпывается этими проявлениями и не сводится к ним. Безвестные людям пустынноики, которые и сейчас живут, как в Фиваиде, совершают спасительный и противоположный веку сему подвиг веры. Некоторые страницы книги о. Тихона говорят об этом совершенно ясно, но немного — именно в силу «глубокого пласта залегания». Автор упоминает одного такого пустынноика, который являл собой загадку даже для него. Передвигался он в выдолбленной из ствола лодке, появлялся в храме чуть ли не раз в год на Пасху и погиб, возвращаясь после причастия. Про него потом сказал о. Иоанн Крестьянкин, что его убили какие-то лихие люди. А уж о чем он молился в своих лесах — об этом ни слова, потому что это не современного поверхностного ума дело.

Мартыновская «Автоархеология», нагруженная философской и музыковедческой лексикой, не всегда ясным синтаксисом, публицистическими и историческими всплесками, какой-то внутренней напряженностью, как ни странно, выглядит куда более откровенной. Мартынов не боится предложить читателю изнанку своих рассуждений — изнанку не в смысле их неприглядности, а в смысле обнажения интеллектуального приема, доступного современному человеку. Он убеждает читателя, что алгоритм его рассуждений не уникален: если честно, по максимуму использовать духовный и культурный опыт, то движение к вере и внутри веры приведет к встрече и с собой, и с Богом.

Книги о. Тихона, и В. Мартынова обращены к разным слоям читателей, к людям с разными духовными дарованиями и особенностями, двигающимся к вере разными путями, но ни один из них не абсолютизирует своего опыта в ущерб другому, наоборот, они дополняют друг друга, углубляют и дают эту возможность и своим читателям.

Татьяна Морозова

Д В А Ж Д Ы

Ричард Докинз. *Бог как иллюзия*. Перевод с английского: Н. Смелкова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус (при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»), 2012.

Атеистический манифест

Что и говорить, хотелось бы, конечно, чтобы Бог был. Добрый, мудрый, справедливый... Но, увы, упрямая логика практически не оставляет этому пожеланию пространства для реализации. Это наглядно демонстрирует выдающийся британский биолог и непримиримый противник религии Ричард Докинз. Он ведет наступление по двум главным направлениям. Во-первых, ученый утверждает, что религиозные представления и догмы несостоятельны с точки зрения здравого смысла и естественно-научного знания. Во-вторых, он опровергает популярный тезис о том, что религия является источником нравственности, и в противовес объявляет ее корнем зла: она искажает мировоззрение человека, подчиняет его волю и сковывает мысль.

Первое общеизвестно. Ричард Докинз суммирует факты, которые давно не являются сенсацией. Попытка совместить Священное Писание и школьный курс биологии обречена на провал. Однако конфликт религии и науки, который, судя по книге Ричарда

Докинза, крайне актуален на Западе, у нас — далеко не самая острая тема. В нашем глубоко иррациональном сознании Библия и учебник биологии сосуществуют параллельно и практически не встречаются. Это связано с верой в то, что где-то обязательно должна быть более высокая, не доступная нашему мысленному взору точка, где все противоречия сходятся и сами собой устраниваются. Поэтому у нас никто во всеуслышание не проклинает Дарвина, а верующие безо всякого внутреннего дискомфорта посещают Палеонтологический музей. В другом случае стремление помирить знание и веру приводит к тому, что христианское мировоззрение под воздействием рациональных доводов преобразуется в нечто такое, что условно можно назвать «верой во все хорошее». Без дальнейшей детализации. Она тоже может сопровождаться внешними атрибутами православия. И только в самом крайнем случае дело доходит до атеизма.

Если последовать за Ричардом Докинзом и в очередной раз сопоставить Священное Писание с любым справочником по истории Земли, то вопросов, разумеется, останется гораздо больше, чем ответов. Первый и самый очевидный из них даже как-то неловко задавать, хотя и упираешься в него на первых же страницах Ветхого Завета: «Кто создал Бога?» Как пишет Ричард Докинз: «Любой творческий разум, достаточно сложный, чтобы что-либо замыслить, может появиться только в результате длительного процесса постепенной эволюции». Действительно, если все развивается от простого к сложному, то каким же образом появился всемогущий и всезнающий создатель целой Вселенной? Должна быть длинная предыстория. Бог вечен и бесконечен? Звучит слишком неопределенно и скорее вуалирует пробел, чем что-то объясняет.

Мир был сотворен не за шесть дней, как буквально сказано в Священном Писании, и не за шесть тысяч лет, как утверждают его толкователи. Процесс занял несколько больше времени, а значит, мы можем трактовать библейскую историю только как своего рода иносказание. Но зачем Автору понадобилось прибегать к фигурам речи, из-за которых впоследствии возникло столько недоразумений? Почему не сообщить нам более реалистичную версию событий, чтобы не было соблазна подвергать сомнению истинность Библии?

Ричард Докинз категорически не согласен с тем, что нравственность происходит из религии и вообще как-то от нее зависит. В качестве одного из доказательств ученый приводит результат эксперимента, в ходе которого людям, знакомым с христианским вероучением, и представителям маленького центральноамериканского племени, не обладающего оформленной религией, было предложено разрешить одни и те же нравственные дилеммы. Ответы тех и других совпали. Точно так же как и ответы верующих и атеистов. Соответственно, представления о морали не связаны напрямую с религиозной проповедью.

Но дело даже не в этом. Моральные законы, как и все остальное, подвержены изменениям. Ричард Докинз справедливо замечает, что мораль, на которой построен Ветхий Завет, с нынешней точки зрения весьма архаична. Картины Всемирного потопа (заимствованного, кстати, из аккадской мифологии) или падения Иерихона совершенно не согласуются с идеалами гуманизма. Но следует заметить, что сравнивать необходимо с представлениями не только более позднего периода, но и более раннего. Возьмем для примера жертвоприношение Авраама. Как пишет Ричард Докинз, «по нынешним стандартам данная история — образчик совокупного насилия над малолетним, издевательства вышестоящего над подчиненным и первого известного в истории случая применения оправдания: «Я только подчинялся приказу». С позиции сегодняшнего дня Докинз прав. Но все относительно. В книге Олега Ивика (псевдоним археологов Ольги Колобовой и Валерия Иванова) «История человеческих жертвоприношений» тот же сюжет рассмотрен в совершенно другом контексте, а именно — в ряду бытовавших веками людоедских культов, предполагавших ритуальные убийства как само собой разумеющиеся. В сопоставлении с ними библейская история оказывается несомненным шагом вперед. Новый Завет — следующий шаг вперед. И тоже очень большой. Как признает Ричард Докинз, «Иисус, если он существовал (а если нет, то автор приписываемых ему изречений), безусловно был одним из величайших этических новаторов всех времен. Нагорная проповедь на века пережигает историю». В этическом плане Ветхий и Новый Заветы являют собой очевидный контраст, и Бог Ветхого Завета отличается от Бога Нового Завета. Представления о морали и нравственности меняются. Меняются и представления о Боге. Или, как предположил в одном из романов о Пелагее Борис Акунин, Бог меняется. Как

бы то ни было, безоговорочно абсолютизировать сказанное в Священном Писании и считать само Писание книгой на все времена невозможно.

Вряд ли справедлив упрек в том, что религия является главным разделяющим фактором. Таких факторов множество: раса, национальность, гражданство, социальная и классовая принадлежность... Все, что намечает границу между своими и чужими. Любая идея, даже если сама она абсолютно миролюбива, легко становится поводом для ненависти. Книга Докинза содержит множество отрывков из посланий ревностных христиан в адрес людей, открыто высказавших атеистическую позицию: «Сатанинское отродье... Чтобы вы сдохли и горели в аду... Надеюсь, вы подцепите какую-нибудь страшную болезнь типа рака...»... Такие пожелания свидетельствуют о том, что у людей существует неистребимая потребность в ненависти. Вряд ли можно считать саму религию причиной и источником этой потребности. Но ясно также и то, что, к сожалению, религия от нее не избавляет.

Ричард Докинз отмечает, что человеку свойственно, грубо говоря, «задирать нос» и считать себя центром мироздания. Столь неадекватная самооценка тоже проистекает из религии. В широко известной книге архимандрита Тихона «Несвятые святые» один из героев — православный монах — провозглашает, что бесконечная Вселенная создана для человека. Протицирую Докинза: «...заниженное количество планет во Вселенной — миллиард миллиардов». Возраст Земли составляет примерно 4,5 млрд лет. Жизнь на Земле зародилась около 3,6 млрд лет назад. Это все для нас? Не много? С учетом того, что «история рода Номо, объединяющего современных людей и десятки тысяч поколений их предков, насчитывает около 2,5 млн лет (Л.Б. Вишняцкий. «История одной случайности, или Происхождение человека»). А история *Homo Sapiens* — около 200 000 лет. Это несопоставимые величины. Сказать, что миллиарды планет и миллиарды лет — это все для человека, то же самое, что сравнить планету Юпитер с песчинкой и настаивать на том, что Юпитер создан для этой песчинки.

Кстати, о наших предках. Кем они были? Как отмечается в монографии Вишняцкого, вопрос о том, считать ли их еще обезьянами или уже людьми, смысла не имеет, поскольку любая классификация произвольна. И все-таки? С точки зрения религии? Ведь речь идет о более чем двух миллионах лет истории, которые из религиозной картины мира вообще выпадают.

Величие предполагаемого создателя миллиарда миллиардов планет и невероятно сложной жизни на Земле должно быть поистине немислимым и непредставимым. Однако люди приписывают Ему сугубо человеческие свойства, с этим величием никак не совместимые. Ричард Докинз задает правомерный вопрос: «...почему мы с такой готовностью верим в то, что самый лучший способ ублажить бога — это верить в него? Разве не может оказаться, что бог столь же охотно вознаградит доброту, щедрость или скромность?» Действительно, неужели Бог, подобно земным правителям, оценивает людей, руководствуясь принципом личной преданности?

Принадлежность к той или иной церкви имеет одно крайне неприятное следствие — она подразумевает, что вы поступаете в чье-то распоряжение. Вы должны признать авторитет церковных иерархов, которые от вашего имени будут кого-то осуждать или одобрять, объявлять святыми или грешниками, указывать, что является для вас лично оскорбительным, и прочее. Это еще более способствует скепсису в отношении религии и отторжению от церкви, чем все логические доказательства.

Ричарду Докинзу с легкостью удается то, чего в полной мере не удалось ни советской пропаганде, ни Михаилу Леонтьеву, ни Алексею Пушкинову, — поселить в читателе ужас в отношении Соединенных Штатов Америки — самой религиозной из развитых стран. Мне уже доводилось много раз слышать и читать о том, как незавидна в США участь атеиста. Владимир Познер, в частности, свидетельствует о том, что атеизм в Америке ассоциируется с коммунизмом, а потому вызывает у обывателей бурю негодования. Александр Марков в книге «Эволюция человека» упоминает о том, что в Штатах видные политики вступают в публичные перепалки с научными журналами. Один из сенаторов «заявил прессе, что человек — не эволюционная случайность, что в нем отражается “образ и подобие” наивысшего существа... Аспекты эволюционной теории... которые подрывают эту истину, должны быть решительно отвергнуты как атеистическая теология, притворяющаяся наукой». Советская идеология в зеркале. Из многочисленных фактов, приведенных самим Ричардом Докинзом, особенно впечатляют изобретенные одним американским пастором «ад-

ские домики», куда «родители или христианские школы привозят детей... чтобы до смерти напугать картиной того, что может произойти с ними после смерти».

Если все это так, то очевидно, что в Штатах религия, так же откровенно, как и у нас, используется в качестве орудия политики. Видимо, американцам, как и нам, необходима твердокаменная идея, которая цементирует нацию и подпирает власть.

Конфликт науки и религии, не очень ожесточенный, протекает у нас где-то на периферии общественной жизни. И если бы не было другого конфликта — между официальной церковью и частью общества, — то книга Докинза, скорее всего, не имела бы у нас большого резонанса. Мы не очень склонны к рационализму, и логическими доводами нас не возьмешь. Но возникшее недоверие к РПЦ постепенно распространяется и на само верование. И здесь книга Докинза играет свою роль, серьезно подкрепляя это недоверие.

Ольга Бугославская

Вера и разум

Разные чувства испытывал я при чтении этой книги. В начале, когда автор долго оправдывается за то, что его доводы могут оскорбить верующих, но тем не менее он не намерен особенно щадить их убеждения и надевать «белые перчатки», — было забавно: именно так ведут себя уличные хулиганы, когда, почувствовав за минуту до драки, что нарвались на серьезного бойца, но не желая терять авторитет перед товарищами, начинают кричать: «Да я его щас покалечу, ребята! Держите меня семеро, иначе я его щас убью просто!». Потом — когда Р. Докинз начинал всерьез уверять себя и своих читателей, что существование человека и всего человечества ограничено земными рамками и определенным количеством времени, после которого ничего не будет, и понимание этого и есть настоящее счастье, способное сделать жизнь по-настоящему осмысленной, — возникла досада на себя: зачем взялся писать об этой книге? Ведь вопрос веры — категория очень субъективная, если человек действительно верит в ту или иную систему ценностей — разуверить его практически невозможно, он скорее отыщет в ответ самые невероятные опровержения и новые доводы и искренне поверит уже в них. Поэтому все вероисповедные споры малопродуктивны, мягко говоря. Доказывать, что Бог есть, так же глупо, как доказывать, что Его нет: если бы существовали неопровержимые для всех доказательства бытия Бога, с верой как проявлением свободной любви человека к Творцу было бы покончено.

Когда же наткнулся в книге на «доводы» против религии типа: если Бог действительно существует, то кто Его — такого «сложного» и всемогущего — создал (этот «довод» у Докинза, вероятно, любимый, он повторяет его почти дюжину раз), или зачем всезнающему Богу нужны наши молитвы — опять не мог не улыбнуться. Нам ли здесь, в Отечестве, прошедшим через огненные «горнила сомнений» «имени» Ивана Карамазова, позднего Толстого, Чехова, Льва Шестова, да что там — всей нашей духовной истории — всерьез полемизировать с *такими* антирелигиозными вопрошаниями? Но потом все-таки понял, по какой линии стоит поспорить. Р. Докинз всячески пытается уверить читателя — отчасти в томистском духе, кстати (хотя самого Фому Аквинского не раз нещадно обличает), — что наука и религия вещи несовместные, что религия призывает отказаться от познания и религиозность и образованность человека находятся в обратной зависимости, что веровать разумный человек может, только «выключив» мозг, а если задумается, то вся вера сразу пропадет — и ему откроется невыразимо прекрасный мир. А кто же сейчас согласится признать себя недостаточно умным?

Именно об этом — вера и разум — и имеет смысл, по-моему, в связи с книгой Докинза поговорить.

И прежде всего надо сказать вот о чем. Докинз, как и все ученые-позитивисты, утверждает, что наука — это то, в чем мы можем убедиться опытным путем, через «фактические доказательства», и при этом — что теория вероятности и дарвиновская теория естественного отбора просто и ясно объясняют возникновение жизни на Земле и всю дальнейшую историю органического бытия (включая человека) на нашей планете. И как научный факт приводится мнение о том, что когда-то на Земле произошло уникаль-

ное, по статистике практически невероятное событие — возникновение в воде из неорганики молекулы, аналогичной ДНК. Удалось ли ныне, при наличии совершеннейшей аппаратуры, получить искусственным путем из неорганики какое-нибудь, пусть самое примитивное, живое существо? «Не удивлюсь, — пишет Докинз, — если через несколько лет химики сообщат об успешном рождении новой жизни, на этот раз — в химической лаборатории». А пока мы в это *верим*? Докинз утверждает далее, что человек произошел от обезьяны. При этом он знает, что *missing link* (промежуточное звено) между человекообразными обезьянами и человеком до сих пор не найдено, что за все время существования разумного человечества никто не наблюдал такого превращения (неслучайно он постоянно употребляет выражения «возможно», «не стоит терять надежды на отыскание» и т.п., вплоть до: «Бога *почти* наверняка нет»). С тем же успехом можно умозрительным путем доказать, что человекообразные обезьяны — это просто деградировавшие по каким-то причинам те или иные человеческие племена.

Как объяснить с точки зрения естественного отбора альтруизм, присущий лучшим представителям человеческого рода? Это «ошибки дарвиновской эволюции», говорит Докинз; а религию «можно рассматривать как результат сбоя в работе нескольких из <...> модулей мозга». Там «случайность», тут — «ошибки», здесь — «сбой» — и это у нас называется наукой?

В XVIII—XIX веках, когда наука (в современном понимании) была еще в младенчестве, ученым, радостно открывавшим простейшие законы мироздания, казалось: если обнаружено, что помимо Солнечной есть и другие звездные системы, или что материя состоит из атомов, а молния есть электрический разряд — то Бога нет. Но с развитием науки выяснилось, во-первых, что каждый новый ее этап если не отвергает начисто, то кардинально меняет все прежде открытые человеком законы природы (эвклидова и неэвклидова геометрия; традиционная и квантовая механика с ее «принципом неопределенности» и т.д.). Как же можно на основании нынешнего — тоже вполне относительного — знания говорить что-то окончательное о вечных принципах бытия? Во-вторых, по мере все того же развития науки находится все больше доказательств того, что все, написанное в Библии, — правда. Тут и доказательства действительности Всемирного потопа, и обнаружение того, что все современные люди имеют одну общую пару родителей, и археологические открытия, подтверждающие реальность земного бытия Иисуса Христа и именно в тот исторический период, который указан в Евангелиях, и открытия астрофизики (Большой взрыв, к сингулярной точке которого неприменимы любые нынешние научные теории, конечность материи). Очень хорошо сказал один католический священник: «В своем развитии наука поднимается на гору, на вершине которой ее давно дожидается религия».

Бог в книге Докинза предстает в виде злого и мстительного наблюдателя за человеком, а верующий — нашкодившим младенцем, пытающимся этого наблюдателя задобрить. Мысль о любви Бога к человеку и ответной любви человека как-то не входит в круг его размышлений. Правда, мысль о таком Боге может сложиться при чтении Ветхого Завета — и Докинз широко пользуется цитатами оттуда. Однако при этом нигде не отмечает, что люди описываемого там времени, совсем недавно отошедшие от язычества и познавшие Бога, понимали только такой, жестокий, на наш взгляд, способ обучения (маленького ребенка можно отучить засовывать пальцы в розетку, только шлепнув как следует, а взрослому можно объяснить, почему нельзя этого делать). Новый Завет перенес обучение на новый уровень — не «око за око», а «не пожелай зла», «подставь другую щеку». Правда, Докинз и в достоверности Евангелий сомневается — на том основании, в частности, что родословная Иисуса там описана по-разному. Но разве не ясно, что если бы Евангелия представляли собой «позднейшие компиляции», а не повествования непосредственных участников и свидетелей событий, не всегда все точно знавших, ничего не мешало бы «компилянтам» свести концы с концами? Может, конечно, «библейская критика» Докинза производит впечатление на тех, кто не знает имени ни одного ветхозаветного пророка, считает Моисея одним из апостолов или «испытывает неловкость» (?), когда им задают вопрос о непорочном зачатии — таких он чаще всего упоминает в своей книге... Но другую инвективу Докинза следует смиренно принять: люди, называющие себя христианами, часто бывают злы и нетерпимы к инакомыслящим (страшно читать письма некоторых из них к Докинзу). И тут я вспоминаю мудрую мысль Достоевского: «Христианство едва только начинается у людей». Процесс этот долгий, зависящий от каждого, принявшего крещение.

И вот еще от чего верующих должна действительно предостеречь книга Докинза — от *только символического* толкования тех или иных событий, описанных в Библии (тут нельзя не согласиться с ним — по какому критерию тогда выбирать, что реально происходило, а что нет?). Против такого толкования (ссылаясь на святых отцов) энергично протестовал, в частности, выдающийся современный богослов, соотечественник Р. Докинза, о. Серафим (Роуз). Но как же, спросят, столь многое могло произойти в первые шесть дней творения и как можно соотносить описанное в Книге Бытия с известной нам историей Земли и ее обитателей? На это отвечает о. Серафим: шесть дней творения описывают «то, что произошло прежде, чем начались мировые естественные процессы. <...> Наше знание нынешних законов природы никак не может поведать нам о том, как были установлены сами эти законы». Со своей стороны добавлю: вспомним, как увеличивается в своем бытии и значении каждая *минута* у человека, приговоренного к казни или в смертельной болезни, — он начинает воспринимать жизнь и время так, как мы должны были бы воспринимать их *всегда*, — как бесценный дар. Время вообще таинственная вещь (см. об этом знаменитую книгу Ст. Хокинга «Краткая история времени»): если уж оно сегодня (согласно Эйнштейну) течет по-разному для человека на вершине горы и внизу, как мы можем знать, каким оно было изначально?

Но у самого Докинза с реальностью отношения сложные. Оспаривая знаменитое доказательство бытия Божьего св. Ансельма Кентерберийского, он отрицает, что существо, обладающее бытием, более совершенно, чем не обладающее. А заканчивает книгу вообще отрицанием связи наших представлений о мире с реальностью: это всего лишь «модель» реального мира, созданная нашими органами чувств. Все закономерно: если нет общей для всех Реальности, то реальность — и нормы морали! — могут быть сконструированы каждым из нас по своему произволу.

«Атеист — это человек, считающий, что за границей естественного, физического мира ничего не существует», — пишет Докинз. Но если так, то либо физический, материальный мир бесконечен (что действительно невозможно себе представить, да и наука уже, повторяю, доказала, что это не так), либо «за границей» действительно находится нечто ужасное — «черная и мертвая пустыня» (Клайв Льюис), во что со временем превратится и каждый из нас, и весь наш физический мир (иначе речь идет о бессмертии, а это уже религия). Докинз понимает, что перспектива у мыслящего атеиста довольно мрачная — осознать, что родился для того, чтобы есть, пить, болеть и превратиться в ничто, породив потомков, которые обречены на ту же участь, — и отводит много места в книге «утешению» (даже назвал так одну из глав). Сам он находит утешение в упорном познании законов мироздания, «правды об окружающем мире». Ну, узнает он эту правду — и растворится завтра бесследно в пустоте? Тогда зачем? Конечно, человек, осужденный на казнь и брошенный в одиночку, тоже может утешать себя мыслью, что оставшиеся дни проведет в радости и в заботе о мышонке в углу камеры, но зачем же добровольно обрекать себя на это, когда можно свободно выйти в огромный и радостный Божий мир, где будешь жить вечно (а тогда и мышенок с тобой выйдет)?

Карен Степанян

СПЕКТАКЛЬ

О надеждах больших и малых

А. Вампилов. *Прошлым летом в Чулимске.* — МХТ им. Чехова. Малая сцена. Режиссер С. Пускепалис.

Слепяще-безоблачное небо отражается в неподвижном водном зеркале. Неуклюже карабкаются вверх деревянные мостки и скрипящие лестницы. На тесной террасе — покрытые лянляхми скатертями столы, вечно текущий умывальник и старый радиоприемник. Нет, это не идиллический пейзаж в духе соцреализма, а малая сцена МХТ им. Чехова, где Сергей Пускепалис поставил «Прошлым летом в Чулимске».

К «встрече» с одной из самых известных драм Александра Вампилова ученик Петра Фоменко был прекрасно подготовлен. В длинном списке его работ — гротескный «Бог резни», утонченно психологичные «Три сестры», символические «Египетские ночи». А фильм «Как я провел этим летом», за главную роль в котором Пускепалис получил «Серебряного медведя», с мхатовской премьерой сближает не только название, но и мотив балансирования человеческой жизни на тонкой грани между природой и цивилизацией. Как и герои картины Попогребского, обитатели таежного райцентра у Вампилова катастрофически, безнадежно оторваны от внешнего мира. Однако именно выходцы из этого параллельного измерения становятся источником надежд и разочарований, приводящих в движение многогранную чулимскую вселенную.

Ее метафизическую природу прекрасно подчеркивает сценография. Помимо прочих достоинств, она обладает редкой способностью стимулировать мысль, заставляя искать в постановке все новые смыслы. Почему палисадник, который упорно оберегает от неаккуратных прохожих Валентина, в спектакле заменен запрудой? Вероятно, всепроникающая вода нагляднее демонстрирует вселенскую круговую поруку, неизбежность, с которой зло или просто небрежность возвращаются к человеку, их допустившему, к его ближним и дальним. А может, режиссер уподобил Чулимск Венеции, чтобы подчеркнуть его иллюзорность? Как цивилизации, порожденные природой и ею же поглощаемые, как человеческая жизнь, мир постановки призрачен — и лишь немногим удастся обрести в этом море твердое основание. Или все проще, и герои шлепают в кирзовых сапогах не по воде, а по грязи — неизменному атрибуту провинциальной жизни? Не меньше вопросов вызывает многоярусность спектакля. Особенно тот факт, что верхний уровень отведен разбитной аптекарше Зине (Анна Банщикова), а «луч света из-за туч» Валентина (Яна Гладких) остается в самом низу. Впрочем, ближе к середине постановки они если не снимаются вовсе, то уж точно утрачивают актуальность. «Прошлым летом в Чулимске» — спектакль ослепительно, феноменально бытовой. Таковым его делают прежде всего актерские работы. Чего стоят одновременно забавные, задорные и надрывные ссоры Хороших (Наталья Егорова) и Дергачева (Михаил Хомяков). Или размеренно назидательные монологи Мечеткина (Владимир Краснов). В каждом из этих персонажей заметны типичные черты, но, тем не менее, они не застывают банальными символами деревенской жизни. В пьесе Вампилова каждый герой — личность. Хотя бы потому, что наделен личной драмой. И это просвещение глубоко затаенной боли в бытовых разговорах, безусловно, самое яркое и ценное если не во всей постановке, то в ее второстепенных персонажах. С главными все, к сожалению, намного сложнее. Чем стремительнее развивается действие, тем чаще кажется, что они утрачивают второе измерение, полностью погружаясь во внешнее, в картинные жесты и неубедительные речи. Например, Шаманов в исполнении Никиты Зверева постоянно держится то ли за терзаемое мировой несправедливостью сердце, то ли за печень, измученную непомерным употреблением алкоголя. Кашкина кокетливо поправляет крашенные волосы или мечется по сцене в припадках ревности; Валентина пафосно роняет голову на стол/руки/чье-нибудь плечо и нервно поправляет коротенькую юбку.

Соль и центр пьесы, она вообще оказалась самым неубедительным, самым фальшивым героем спектакля. Легкое недоумение возникает уже при первом появлении Валентины на сцене. Уже упомянутая подозрительная длина платья, забавные хвостики и круглые от изумления глаза ассоциируются скорее с глупостью и инфантильностью, чем с наивностью и чистотой. Впрочем, если абстрагироваться от внешнего вида, героиня Яны Гладких не вызывает негативных эмоций: она отзывчива, мила и сентиментальна. Как вчерашняя школьница, вступающая во взрослую жизнь, девушка открывает для себя драматичность человеческих отношений, страдает от неразделенной любви и, отгоняя сомнения, ведет себя заученно правильно. Беда в том, что для вампиловской Валентины этого мало. Ведь в пьесе она становится воплощением надежды. На то, что люди способны меняться, что искренние чувства не остаются безответными, что добро не бывает бессмысленным. В отличие от Шаманова и вопреки здравому смыслу, требующему соотносить действие с результатом, ориентироваться на выгоду и успех, Валентина придерживается непопулярного принципа: «Делай что должно и будь что будет».

Эта позиция, а следовательно, и вся вампиловская драма сегодня, пожалуй, стали еще недоступнее, чем сорок лет назад, в эпоху предыдущего застоя. И постановка Сергея Пускепалиса — лучшее тому подтверждение. На Валентину режиссер (а за ним Яна Глад-

ких и зрители) смотрит глазами обитателей Чулимска, уже «отформатированных» жизнью, вольно или невольно к ней приспособившихся. И взгляд этот — доброжелательный, ироничный, снисходительный и поверхностный — убивает. Добродушная буфетчица, строгий отец, положительный Мечеткин в голос твердят упорно занимающейся не своим делом Валентине: «Хватит ребячиться!». Вот и создатели мхатовского спектакля, как уже говорилось, изображают главную героиню угловатым подростком. Нехитрая бабья мудрость подсказывает Хороших, что ее помощница сохнет по импозантному следователю, но понять, что апатия Шаманова, его надломленность служебной неудачей подтачивают основание, на котором держится символ веры Валентины, ей не дано. Мужичья ревностью Кашкина безошибочно вычисляет соперницу, но так и не осознает, что к девушке Шаманова влечет не только молодость и жажда новизны. Не чувствуется этого и в спектакле, где сальным взглядам и неуклюжим объятиям отдано предпочтение перед невещественным, но нерасторжимым родством душ.

Особенно заметными, даже рельефными различия пьесы и ее театрального воплощения становятся в финале постановки. Вампиловская Валентина признается отцу, что провела ночь с Мечеткиным, — и тем самым подводит символическую черту под прошлой жизнью, отказываясь от надежд (пусть призрачных) на счастье с любимым человеком и делая допустимыми мысли о браке с автором передовых советских газет. Мысли, которые совсем недавно и ей, и читателю казались абсурдными. Пускепалис это надрывное признание опускает, зато делает акцент на телефонном разговоре Шаманова, в котором герой подтверждает свое присутствие на судебном процессе. Усилия Валентины не пропали даром — эту фразу можно назвать лейтмотивом постановки. В последней сцене девушка чинит палисадник под восторженными взглядами чулимцев. Кажется, вот-вот раздадутся рукоплескания. Именно эта парадно-карикатурная атмосфера безвозвратно разделяет мхатовскую премьеру и пронизанный легкой грустью литературный первоисточник.

У Пускепалиса Валентина оказалась если не хитрее и дальновиднее, то уж точно удачливее остальных. Она добилась своего (любви Шаманова, уважения окружающих), поступая «правильно». Иными словами, создатели спектакля возвращают нас к распространенной, но довольно примитивной аргументации: за хорошие дела обязательно последует воздаяние — и этим итогом они привлекательны, оправданы. Но Вампилов драматичным финалом своей пьесы говорит как раз об обратном. Починка палисадника едва ли будет кем-то замечена. Как и любое донкихотство, она не исправит нравов, не принесет счастья; она бессмысленна — но абсолютно необходима. Потому что на подобные поступки способен только человек. Потому что они, как маяки, безошибочно выделяют духовное в материальном, живое в мертвом. Потому что на безнадежном безрассудстве подобных Валентине держится общество — не как вынужденное сосуществование, а как единство, скрепленное заботой о том, что шире и глубже личного. Эта абсурдная и немного смешная правда едва ли будет принята так называемым большинством. Но странное меньшинство, состоящее из подобных вампиловской героине чудаков, всегда будет питать большие и малые надежды если не на поддержку, то хотя бы на понимание. И талантливый, но слишком современный спектакль Сергея Пускепалиса их, увы, не оправдал.

Татьяна Ратькина

НЕЗНАКОМЫЙ АЛЬМАНАХ

Гомер, сын Мандельштама

Ямская слобода (Воронеж)

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Осип Мандельштам

Литературный альманах «Ямская слобода», как следует из аннотации, «возрождает опыт воронежской областной типографии, выпустившей в 1798 году первую воронежскую книгу». Та книга в восемьдесят страниц, в которую входили стихи нескольких самобытных поэтов, называлась «Опыт Воронежской губернской типографии». В книжке была помета — «Отделение первое».

Современный альманах, пожелавший познакомить читателя с авторами, «в той или иной степени связанными с Воронежской областью», перенял эстафету и стал «отделением вторым», взяв подзаголовок «Опыт Воронежской губернской типографии». Редактор-составитель, он же генеральный директор «Воронежской областной типографии — издательство им. Е.А. Болховитинова» Дмитрий Дьяков (в альманахе он и толковый критик, и литературовед) во вступлении остроумно объясняет смысл названия «Ямская слобода»: «...поскольку время в России легко вытесняется пространством (считается, что это такая местная разновидность Архимедова закона — погружение большого географического тела в историческую среду), то на сей раз мы предусмотрительно поместили наш очередной «Опыт» в конкретное пространство. Отсюда название, которого раньше не было».

Какие только авторы не связаны с Воронежской областью... Альманах открывается эпиграфами из уроженцев Воронежа Ивана Бунина и Андрея Платонова. Великие в «Ямской слободе» живут своей, возвышенной жизнью. А в первой же поэтической россыпи вдруг обнаруживаешь современного тбилисского автора с двойным русско-грузинским литературным гражданством Михаила Ляшенко.

Альманах публикует стихи, прозу (разного объема), статьи, воспоминания... Среди его достоинств сразу можно указать эту разножанровость. Из недостатков — соседство в альманахе прозаических произведений несоизмеримо разного уровня: «Ямская слобода» странным образом ухудшается к финалу.

У нумерованного номера «Ямской слободы», попавшего ко мне, — два центра притяжения: современная литература и наследие прошлого. Одна из заметных фигур в нем — прозаик Леонид Завадовский (1888—1938). Публикация двух его рассказов — «Игрок» и «Железный круг» — завершается литературным очерком Д. Дьякова «Игрок в железном круге». Критика называла Завадовского последователем Джека Лондона. Дьяков спорит: у русского писателя шире тематический круг — кроме охотников и золотоискателей Сибири, он изображает крестьян и интеллигенцию; нет свойственной Лондону оптимистической романтики при описании «первобытных страстей» (наоборот, нередко не указан путь избавления ни от страстей, ни от горькой доли). По мнению Дьякова, Завадовский скорее наследник Кнута Гамсуна, «утонченного поэта железных нравов жизни». Исследователь излагает сведения о жизни писателя, его аресте в 1938 году, расстреле, месте захоронения, сопровождая статью фотографиями. «Останки самобытного русского писателя покоятся в расстрельной яме, помеченной ныне номером 19».

Второй центр притяжения номера — фрагменты романа Марка Берколайко «Гомер» (без этого жанра издание, ориентирующееся на «толстые» литературные журналы, конечно, по праву не обошлось). Главный герой романа, Игорь Осипович Меркулов, Гошка МЕРкулов со школьным прозвищем Гомер, совмещает в себе психологию подростка (план прошлого) и зрелого человека (план настоящего). Атмосфера романа ностальгическая — изображается время, когда ценили литературу и молодые люди (!) разговаривали цитатами и аллюзиями. А вступительные экзамены в московском институте у Гошки принимали «веселые люди», которые теперь кажутся ему «юнцами, упоенными хорошей физикой, хорошими спектаклями, хорошими песнями Окуджавы...».

Роман полон «мандельштамовской недосказанности», о которой спорят герои, и цитат и реминисценций из «Илиады», которой болеет директор школы, человек справедливый и за правду свою пострадавший — Валерий Валерьевич по прозвищу Приам. Именно вслед за ним Гошка и его товарищи всю жизнь делят людей на «пошлых» ахейцев и правдолюбов-троянцев. Пока троянцы сильны, Троя не погибнет. И Гомер, наперекор «вертухаю» отцу взявший себе отчество Осипович (опять же воронежская тень, теперь уже Мандельштама, которого в мечтах Гомера, возможно, в свое время «согрела» в лагере мама Гомера), «в кого-то недоделанный» и в свои шестьдесят. Психологически точные истории второстепенных персонажей (к примеру, Домны), история любви Гомера к Нине Трифель, ставшая метасюжетом всей личной жизни главного героя.

Есть в номере и интересные рассказы — «Лань незабвенная» Ларисы Олениной с тонким психологизмом и неожиданным сюжетным решением, «Шудра ду» Бориса Подгайного с явной композиционной удачей.

Но не вся проза в альманахе хороша. К примеру, отрывки из «романа-воспоминания» народного артиста России Александра Тарасенко «Чур, мое счастье!» — вещь безынтересная, но довольно хаотично построенная. Текст не стоило называть романом, лучше было ограничиться указанием на мемуарность.

Такая разнокалиберность — в первую очередь индикатор истинного литературного процесса в Воронеже, который, как и везде, отличается неравными уровнями авторских дарований. Другое дело, что альманах важно наполнять вещами сугубо профессиональными.

Не слишком удачны и должны быть смешными или, по меньшей мере забавными, а порой и трагикомическими записные книжки Владимира Сисикина «Издранное, или Не поминайте лихом», занимающие солидную часть альманаха. В них преобладают банальные или пошлые фразы. Владимир Сисикин ушел из жизни в 2002 году, «de mortuis aut bene, aut nihil». К тому же сам автор в названии просит не помять его лихом. Сам он свои записные книжки не издавал, критика здесь обращена к составителям. Ведь есть у Сисикина и трогательные воспоминания, к примеру, о Воронеже — о развалинах после взрывов оставленных на годы и десятилетия фашистами снарядов, о разбитом телефонном автомате, из которого можно позвонить за рубеж... Редакторам следовало бы значительно сократить публикацию, оставив подборку воронежских воспоминаний и удачных изречений («Грим победы», «Моя лебединая пенсия», «Приходит новый начальник и говорит: «Внимание, снимаю» и др.).

Поэзия в альманахе (многие тексты — очень достойные) тематически однородна. Мир Галины Умывакиной с «тяжелым шагом, пудовыми засовами» души и бунинской «беспокойной любовью» словно перетекает в пространство «мертвых звезд» Сергея Попова.

Сильная сторона альманаха — критика, искусствоведение, литературоведение. Статью доктора культурологии Тамары Дьяковой о духовном родстве Андрея Платонова и художника Дмитрия Кондратьева украшает цветная вкладка с репродукциями картин, художнику изобразительными средствами удалось передать уникальный язык Платонова. Дмитрий Дьяков предлагает вниманию читателя развернутый аналитический материал «Воронежский литературный фронт. К 65-летию постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Альманах состоялся, и в этом заслуга и авторов, и составителя. Будем предвкушать выход «отделения третьего».

Елена Зейферт

НИ ДНЯ БЕЗ КНИГИ

Евгений Водолазкин. *Лавр. Неисторический роман.* — М.: Астрель, 2012.

Вторая половина XV века. Еда варится сбоку от огня. Путешествуют люди по монастырям, лечатся словами, травами и наложением рук. Грамотные читают рукописные книги, в которых написано, что люди бывают с шестью конечностями, — дескать, Александр Македонский на таких набредал. Верят, что камень из желудка петуха возвращает отобранные неприятелем государству, и вообще живут в сказке — больше верят, чем понимают.

Главный герой — лекарь-травник, духовный подвиг которого похож на путь Ксении Петербургской: не сумев спасти свою жену, умершую родами, он отдал ей свою жизнь: ушел из дома, назвал ее именем и стал лечить всех встречных, чтобы она, жившая с ним невенчанной и умершая без причастия, расплатилась за свои грехи его добрыми делами.

Атмосфера передана средствами языка: рассказчик время от времени с современного языка переходит на древнерусский, благо автор — филолог, специалист по древнерусской литературе.

Александр Нежный. *Nimbus. Повесть о докторе Гаазе.* — М.: Центр книги Рудомино, 2012.

Фридрих Йозеф Гааз, немец, переехавший в Россию, был главным тюремным врачом, членом попечительского комитета о тюрьмах в первой половине и середине XIX века. Роман стилизован под сентименталистскую прозу, поэтому его главный герой Гааз, помогающий больным и напрасно осужденным, показан однопланово, как исключительный праведник и воплощенное сострадание. Побочной линией идет история невинно осужденного девятнадцатилетнего студента, больным отправленного по этапу, оставленного Гаазом в московской больнице и совершившего побег. Это любовная линия, так как его возлюбленная Оленька, в убийстве тетки которой обвинен студент, верит ему. Пишет письма и ждет. Роман публиковался в журнале «Звезда» (2012, №№ 2—3).

Ильдар Абузяров. *Мутабор.* — М.: Астрель, 2012.

У романа остроумное начало: герой — писатель, ставший политзаключенным восточной тюрьмы за то, что написал роман, признанный планом террористического акта. В тюрьме его заставляют «романы тискать», так что дальнейший текст — его «тысяча и одна ночь». Роман остросюжетный, разветвленный и многогеройный, в основе его архитектоники — шахматная игра и любовь к несуществующей восточной стране Кашевар, транзитному пункту наркотрафика, поставляющему России гастарбайтеров. Учеба у Набокова пошла Ильдару Абузярову на пользу, так как композиция и мотивация до сих пор были его слабыми местами.

Елена Котова. *Третье яблоко Ньютона. Роман.* — М.: Астрель, 2012.

В международном банке решили «загасить» активного менеджера по имени Варвара, чересчур энергично продвигавшего русские интересы. «Операция “Барбара”» поначалу пошла по плану. Английский адвокат Мэтью, любивший свое дело как утонченную игру и занимавшийся только тем, что ему интересно, увлекся этим делом потому, что обвинителем был его старый противник. Но с каждым днем ему становилось все интереснее заглядывать в глаза клиента. До слов «Не глаза, а глазищи!» читать было приятно — стиль у Елены Котовой «мужской»: экономная стремительная фраза, разноголосый диалог. Любовная линия выдает литературскую неопытность — это второй роман. Самое интересное в этом романе — сведения из юридической и финансовой кухни, а также нашей постсоветской банковской истории. Автор — экономист-международник, финансист, больше десяти лет работавшая в Европе и Америке.

Игорь Гамаюнов. *Жасминовый дым. Роман в рассказах о превращениях любви.* — М.: В.А. Стрелецкий, 2012.

Рассказы и очерки о тонких человеческих взаимоотношениях, написанные в разные годы с 1950-х по 2011-й, проявляют разницу времен, почти не касаясь политических реалий. Истории советских подростков из молдавского села в первом цикле сильно отличаются от постсоветского сюжета об узбеке-гастарбайтере, поселившемся в русской деревне, из цикла «Иная форма бытия», и разница эта — в самом качестве человеческих чувств и характере их проявления. Автор — журналист с большим опытом, многолетний сотрудник «Литературной газеты». Очерк «Свободный брак» публиковался в «Знамени» (2011, № 4).

Надежда Середина. *Wildwuchs. Подростки. Рассказы.* — Лейпциг—Воронеж: ИЛБ, 2012.

Двуязычная книжка в яркой обложке, в ней два рассказа из одноименного романа на русском и немецком языках. Надежда Середина — учитель из Воронежа, в 1990-х окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте, автор двух романов.

Сергей Бархин. *Красная ртуть, Драконова кровь и другие пьесы.* — М.: Близнецы, 2013.

Пьесы театрального художника Сергея Бархина с литературной точки зрения продолжают линию театра абсурда: сюжет в них рушится, не успевая состроиться, говорящие детали ведут собственные сюжеты поверх литературного. Новизна в жанре создается тем, что они принципиально нелитературной природы. Это работы художника сцены — сценографические этюды без литературного мессиджа, построенные исключительно на визуальных и звуковых эффектах.

Олег Дозморов. *Смотреть на бегемота.* — М.: Воймега, 2012.

Четвертая книга стихотворений уральского поэта-«природоведа», как он сам себя назвал, знаменует сразу два новых этапа его становления, связанного с переменами в жизни. Пожив некоторое время в Москве, он социализировался, что и знаменует первый раздел этой книги, оставленный без названия, посвященный наблюдениям за человеческим муравейником: «Мир сочиняет грязную весну. / Таджики сортируют русский мусор»; «Напротив желтый дом плечом уходит в тень, / другой — выходит из трагической фигурой»; «Лучшие умирают, и остаемся мы — / Средней руки поэты, медленные умы»...

Второй раздел называется «Стихи, написанные в Уэльсе» — с 2009 года поэт живет в Англии. Здесь образы природы, прошедшие прививку социальности, дают неожиданные эффекты:

Кружится ласточка-валлийка
в необоримой высоте,
а-ля гимнастка-олимпийка,
у неба в синем животе.

Мне всех подробностей не видно
полета — лишь ее одну.
Она спортсменка очевидно
и выступает за страну.

Я за страну не выступаю,
стою на кельтском берегу,
недальновидно поступаю,
но стыд, как песню, берегу.

Третьим разделом этой книги стала ретроспектива лучшего избранного — «Стихи 1998—2008».

Мария Маркова. *Соломинка.* — М.: Воймега, 2012.

Стих легкий, вьющийся, естественный в интонации, узорный и музыкальный, поэтически переживаемая женственность, тонкая в оттенках и нежная в красках. Ближайший аналог — стихи Екатерины Шевченко.

Всеволод Емелин. *Болотные песни.* — М.: Фаланстер, 2012.

В заглавии книги — явная отсылка к «Пузырям земли» Блока, под многими стихотворениями — пометки, где они были опубликованы: на портале «Медведь», в газете «Завтра», в «Литературной газете»... Компания собирается славная.

Автор же надевает маску немолодого, но и нестарого обывателя без убеждений, по мере слабых интеллектуальных сил пытающегося если не разобраться в ситуации сегодняшнего дня, то интуитивно адекватно на нее отреагировать: перечислить попавшиеся на глаза детали политического быта, сделать потугу к анализу, сорваться на эмоцию, завершить попытку смачным плевком и пойти пить пиво.

Борис Лукин. *leль. Лирика.* — М.: Издательство журнала «Юность», 2012.

Пятая книга стихотворений и переводов выпускника Литинститута, работавшего редактором «Литературной газеты», православного отца шестерых детей, живущего в деревне. Стихотворения — как иллюстрации к краткой биографии, лирический герой — человек простой и гармоничный, сильный счастливый самец на лоне природы, зачем-то ознакомленный с античным стихосложением и надломленной страхом смерти бунинской эротикой.

Александр Клименов. *Стихи разных лет.* — М.: Буки Веди, 2012.

Избранное с 1960-х. Стихи мастеровитые, камерные по мысли, но плакатные по исполнению, пушкинское «поэзия должна быть глуповата» то и дело приходит на ум, но на этом материале как-то не убеждает. Удивляет обращение с культурным наследием: «За все расплачусь — и расплачусь. / Заплакав — за все расплачусь!» — концовка одного из стихотворений; «Тиха, тиха украинская ночь» — зачин другого. Я бы именно это назвала постпостмодернизмом, если бы термин не употребили менее удачно.

Ксения Клименова. *Колыбельная для кошки. Сборник стихов.* — М.: Буки Веди, 2012.

Стихи как рукоделие. Лирическая героиня — благополучная дама, которую дома ждет «кот и чашка морса / Постель и книга на полу», только постель прохладная, заставляющая мечтать о цыганских страстях, и бытовуха заела. Судя по последнему стихотворению, построенному на спондеях, книга на полу — стихи Цветаевой.

Римма Маркова. *Мой выставочный зал. Стихи.* — Вильнюс: STANDARTŲ SPAUSTIVĖ, 2011.

Стихи как прикладное искусство. Малоформатная книжка исполнена как альбом: репродукции произведений мирового искусства иллюстрированы стихами, действительно помогающими проникнуть в их суть. Автор живет в Швеции. «По образованию — учитель рисования и истории искусства. По призванию — поэт, член Союза писателей России и международного ПЕН-клуба...» (анн.)

Оля Сапфо. *Сердечные шумы.* — М.: Флюид FreeFly, 2012.

И псевдоним, и выбранная форма высказывания — стилизация под античность, и вся музыкальность и танцевальность этих стихов, взрываемые шумовыми эффектами противоречащей системе параномазии, открывают-скрывают нетрадиционный личный опыт, ставший для автора потрясением и требующий раскрытия. Эмоциональный импульс здесь подлинный, поэтому хочется посоветовать автору отказаться от стилизации и освоить язык современной поэзии.

Николай Предеин. *Второй первоисточник.* — Екатеринбург: АМБ, 2012.

Переживая разрыв мира с высшим началом, общую бездуховность и ситуацию «а византии мы / верны, но как беде», этот глубоко культурный и очень серьезный человек если и имеет поэтический дар, то держит его под неподъемным этическим спудом, считая вещь маловажной на фоне глобальной духовной катастрофы.

Александр Федулов. *БИ-Л-О (Выбранные места из дневника поэта).* — Тамбов: Студия печати Галины Золотовой, 2012.

Этот стихотворец интересен тем, что проводит работу, в силу исторических причин не сделанную поэтами 30-х годов XX века. Он остро переживает событие столетней давности — вторжение в жизнь и литературу авангардного языка и мышления. Авангард начала XX века для него не история и не традиция, а живое явление, с которым надо что-то делать, а что —

непонятно. Игнорировать не получается, встроить в традиционную культуру мышления и систему стихосложения — тоже, поскольку импульс у этого явления не строительный, а разрушительный. Остается экспериментировать: закладывать дозы этой взрывчатки в библейскую мудрость и силлабо-тонический стих, разгонять пыль, разгребать прах, хвататься за голову, разводить руками, терять зуб, сплевывать через щербину...

Мамед Халилов. *Свет камней. Стихи.* — Ярославль: Индиго, 2012.

Дагестанец (катрухец), живущий в Ярославле, пишет по-русски, но мыслит в восточной традиции, продолжая линию советской литературы национальных окраин, любопытно преломляющую современные политические реалии: «Ваши клубы, самолеты, / Яхты, острова — / Это стоимость снарядов, / Списанных вчера, / Это вдовьи слезы, / Это черная молва / И убитый мальчик, / Тот, что с нашего двора. // Полицейскими щитами / Оттеснив народ, / Все, что только можно / Под себя гребете вы... / Но народ проснулся, / Он с колен уже встает / В центре европейски / разукрашенной Москвы»...

Максим Лаврентьев. *Поэзия и смерть.* — М.: Казаров, 2012.

В своих эссе автор поднимает тему эсхатологических предчувствий, свойственных поэтам. Внимание на это обращают многие, разгадке сей феномен не поддается, об этом можно только еще раз поговорить, добавляя собственные наблюдения и суждения. У Максима Лаврентьева они часто излишне категоричные и размашистые для человека с высшим гуманитарным образованием: «Объявить претензию на вечность, как поступили Пушкин (по праву) или Брюсов (без малейшего на то основания), или же именовать себя путеводной звездой, как Хлебников (тоже по праву), Блок не собирался»...

Ольга Симонова-Партан. *Ты права, Филумена: Вахтанговцы за кулисами театра.* — М.: ПРОЗАИК, 2012.

Ольга Симонова-Партан — дочь режиссера и актрисы театра им. Вахтангова, Е.Р. Симонова и В.Н. Разинковой, рожденная вне брака, а затем, когда родители поженились, удостоенная собственным отцом. Название книге дала фраза из спектакля «Филумена Мартурано», поставленного Евгением Симоновым по пьесе Эдуардо де Филиппо в 1956 году. Эти слова выкрикнул герой-любовник, узнав, что одна из его дам без его ведома родила от него детей и вырастила их.

Выросшая среди театральных страстей, не знавшая границ между сценой и жизнью, Ольга Евгеньевна теперь преподает курс «Безумие в русской литературе и культуре» в американском университете. Ей было двадцать, когда ее мама умерла после десятилетней борьбы с раком груди. Отец прожил еще четырнадцать лет в постоянных воспоминаниях об их двадцатидвухлетнем романе — браком или семьей автор это назвать затрудняется.

Там, где Ольге Симоновой-Партан не хватает воспоминаний, она обращается к фотоальбому, дневникам матери и истории семьи, советского театра, страны, в которой прожили всю жизнь ее родные. Дед ее, режиссер и актер Рубен Симонов, всегда держал собранную котомку не случай внезапного поворота судьбы. А прабабушка Вера на всю жизнь разлучилась с братом, ушедшим в «белоснежное войско» и оказавшимся в эмиграции.

Главы из этой книги публиковались в «Знамени» (2011, №11).

В.В. Шульгин. *Тени, которые проходят.* Составление: Р.Г. Красюков. — СПб.: Нестор-История, 2012.

Василий Витальевич Шульгин (1878—1976), двух лет не доживший до своего столетия, имеет такую потрясающую биографию, что Р.Г. Красюков явно не ошибался, записывая за ним каждое слово, когда, уже глубоким стариком, он вспоминал свою жизнь. Депутат всех четырех Дум, убежденный монархист, националист и антисемит, при этом гуманист, превыше всего ставивший понятие справедливости и выступивший в «деле Бейлиса» на стороне еврея. Белоэмигрант, страстно ожидавший падения советского режима,

участник легендарной провокационной операции «Трест», в конце Второй мировой войны не написавший в Югославии прошения о переезде в нейтральную страну, потому что там требовалось приписать «Хайль Гитлер». Репатриированный советскими войсками, Шульгин на седьмом десятке жизни был репрессирован, после двенадцати лет заключения амнистирован Хрущевым, снимался в пропагандистских фильмах «Перед судом истории» и «Операция “Трест”», где играл самого себя, и дожил свою удивительную жизнь скромным советским пенсионером.

Эти воспоминания состоят из четырех частей, примерно равное количество страниц отведено первым трем частям: дореволюционной, по названию которой озаглавлена вся книга, второй части «1917—1919» и третьей — «Эмиграция». Четвертую, озаглавленную «Пятна», посвященную аресту, отсидке и жизни в советской России, он писал с большой неохотой, и она получилась короче других. Замечательны в ней наблюдения и замечания человека несоветской культуры: «Под классиками в Советском Союзе разумеются не римляне и греки, как было раньше, а Пушкин, Лермонтов, Тургенев и так далее. Словом, дворянская литература»...

Когда жизнь так дешево стоит. Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1931—1933.

Публикация и комментарии В.П. Жобер. — СПб.: Нестор-История, 2012.

Продолжается издание переписки дворянки Ольги Александровны Толстой-Воейковой (1858—1936), жившей в Ленинграде с одним из сыновей, волею судеб разделенной со старшими детьми и внуками, оказавшимися в харбинской эмиграции. Письма 1927—1930 годов вышли в этом же издательстве в 2009 году.

В 30-е годы к О.А. приходит понимание, что Советский Союз все больше изолируется от мира. Это период, когда экономика берет курс на индустриализацию и коллективизацию, вводится дискриминационная распределительная система, население затягивает пояса даже в Ленинграде, отсутствие конкуренции катастрофически снижает качество товаров и услуг — по письмам этой умной, ироничной, наблюдательной, хорошо образованной и широко мыслящей женщины следить за происходившим в стране очень интересно.

Людмила Миклашевская. Повторение пройденного. — СПб.: Журнал «Звезда», 2012.

Людмила Павловна Эйзенгардт (1899—1976) была красивой и образованной одесской девушкой, юность которой пришлось на революционные годы. За театроведом и режиссером-экспериментатором Константином Миклашевским она переехала в Петроград и сблизилась с артистическим миром столицы. Миклашевский выехал в Европу и вызвал ее, хотя отношения их складывались сложно: выезжая к нему в Париж, о котором столько мечтала, она уже не считала его мужем. Миклашевский сумел получить французское подданство, а она, помыкавшись в Париже и поработав в советском Торгпредстве, вернулась в СССР — отношения с мужем окончательно разладились, а об эмиграции она даже не помышляла, тогда как он был уверен, что, искупая перед ней вину как перед женщиной, помог ей выехать...

Дальше ее судьба складывалась трагически: во втором браке став свояченицей Троцкого, она на семнадцать лет попала в сталинскую репрессивную машину. Об этом в ее воспоминаниях — совсем мало. Большая их часть — о детстве, о юности в Одессе и Петербурге и молодости в Париже. Все подробно, детально и зримо.

Евгений Белодубровский. Сага о пальто. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2012.

«Да! Я помню все свои пальто...» — так начинаются эти потешные мемуары, охватывающие период с 1946 по 2011 год, композиционной опорой которых стало описание всех тринадцати пальто, которые автору доводилось носить, — кстати, одно он все-таки забыл. Основной мессидж текста — изумление: «...ведь не просто же так я родился и выжил в войну и блокаду, не за ради себя и не просто же так близкие и далекие люди меня берегли и зачем-то кутали во что попало, тряслись надо мной, поили рыбьим жиром и горячим молоком. Стало быть, я есмь для чего-то важного, толкового, может быть, даже героического. Этот безответный вопрос до сих пор меня сильно волнует и придает сил жить и жить».

Лев Айзерман. *Сочинения о жизни и Жизнь в сочинениях.* — М.: Национальный книжный центр, 2012.

Лев Соломонович Айзерман, заслуженный учитель-словесник с шестидесятилетним стажем, которому в последние годы приходится осваивать ЕГЭ и КИМы к ним (см. его замечательную статью о ЕГЭ, обсуждавшуюся в Совете Федерации: «Технология расчеловечивания, или Как русский язык послали на три буквы». — «Знамя», 2009, № 5), вспоминает, какими были уроки литературы в годы до перехода на тестовую систему, как школьные сочинения на свободную тему помогали детям раскрыть свой внутренний мир и сформулировать важные для себя принципы, а чтение классики помогало становлению личности. Не зря он начинает свою книгу евангельским эпитафием о книжниках и фарисеях — читая классику, теперь надо заучивать все незначимые подробности текста, пренебрегая его содержанием; а так называемое эссе, дающее наибольшее количество баллов в ЕГЭ по гуманитарным предметам, учит детей угадывать социальный заказ — ожидания проверяющих. Подготовка к экзамену стала уроком цинизма и приспособления к власти. Главами из этой книги стали статьи в центральной периодике последних лет, в том числе и у нас. («Уроки фарисейства». — 2011, № 5).

Елена Вяжякупус. *Искры, летящие вверх. Размышления о людях с особыми умственными способностями и их родителях.* — СПб.: журнал «Звезда», 2011.

Психолог, журналист и общественный деятель, Елена Вяжякупус чутко подмечает недостатки психологической практики, связанные с ее превращением в ремесло, и ставит вопросы о правомерности любого подхода к человеческой душе, кроме индивидуального, и границах понятия нормы. Людей, которых принято считать душевнобольными или генетически неполноценными, она называет «особые души» и делится опытом общения с ними.

Феликс Шмидель. *Воля к радости.* — М.: НЛО, 2012.

Автор этой книги — практикующий психолог — в результате своей практики понял, что большинство психологических проблем восходят к экзистенциальным — переживанию бессмысленности существования. Он называет такие переживания вынужденными — не поддающимися осмыслению и заполняющими сознание именно поэтому. Условием жизни в радости Феликс Шмидель считает стремление человека придать своей жизни личный смысл, чему он и стремится научить людей в своей психологической практике и в этой книге.

С.Е. Эрлих. *Бес утопии. Утопия бесов.* — СПб.: Нестор-История, 2012.

Книга-перевертыш, обе страницы обложки которой — первые.

«Бес утопии» — историософское сочинение об архетипе жертвоприношения, который лежит в основе двух антагонистических мифов: идеологического и утопического. Идеология как традиция, как оправдание существующих порядков жертвует возможностью лучшего будущего. Утопия как революционная идея, как критика существующего уклада, жертвует благополучием настоящего. На этой философской базе выстраиваются рассуждения о конфликтах современного мира, не только политических, но, например, между обществом потребления и нарождающейся информационной цивилизацией.

«Утопия бесов» — анализ ситуации, сложившейся в Молдавии, и предложение идеального пути преодоления культурного раскола. Утопического, разумеется.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru)

Памяти Константина Ваншенкина

*Уходит наше поколение.
Стихает песня за холмом.*
Константин Ваншенкин

Константин Ваншенкин сам был из тех, о ком в его стихах суровым деловым слогом сказано: «Он мальчиком убыл. Он юношей прибыл с войны».

Хотя, впрочем, как с улыбкой вспоминал, «был солдатом с детских лет», когда «с дряхлым маминым зонтом... прыгнул с нашего сарая», — задолго до того, как стал служить в воздушно-десантных войсках, проделав долгую дорогу до Победы — «и все перебежками, броском да ползком... в сугробах спал, в болотах мок... лежал на земле, повторяя бедным телом любой бугорок и ложбинку».

Об этом страдном пути он и рассказал в стихах и прозе, «солдатских бед не утаив».

«На память обнаженную свою не наведу сомнительную ретушь», — присягал поэт верности правде об испытанном и пережитом им самим и ровесниками — «полками стриженных юнцов», великое множество которых — «Что в жизни успели? Отдать за отчизну ее» («И растаяли вдали. И — навеки», — горько сказано об ушедших в непроглядную метель полковых разведчиках»).

«Помним столько, что не верится самим», — признавался поэт. Его память берегла все — отчаянное «Ура-а-а!» «над цепью поредевших рот» и «натруженный солдатский кашель», «давние костры» на привалах и «по длинным госпитальным коридорам унылое мельканье костылей», призывный звук армейской трубы и «томящий голос молодой хозяйки», что «обжигал не хуже кипятка» на каком-то из множества постоев («Сколько видел я крыш тесовых, сколько горенок и сеней...»).

В стихах Константина Ваншенкина живо ощутимы уроки и традиции его первых наставников, поддержавших юного автора в послевоенные годы, — Михаила Исаковского и Александра Твардовского. Об одном вспоминаешь, когда заходит речь о стихах, давно ставших популярными песнями, — «Я люблю тебя, жизнь», «Вальс расставания» («Старый вальсок»), «Мы вас подождем». Другим завещана приверженность «правде сущей, правде, прямо в душу бьющей», как сказано в знаменитом «Василии Теркине».

Замечательна поздняя лирика поэта (когда, по его словам, уже «дело близится к зиме»), полная неостывающей страстной любви к жизни во всей ее притягательной «плоти» («Сколько ранних женских лиц попадаетея навстречу...» — какой удивительно выразительный эпитет, передающий всю прелесть молодости!). Многие из этих стихов давний автор «Знамени» опубликовал на страницах нашего журнала.

«А, может быть, это и есть та самая «генеральная дума»? — читаю в дарственной надписи, сделанной Костей на одной из недавних книг — «Шепот» (о необходимости этой «думы» в стихах сказано в одном из писем Твардовского к Ваншенкину. — А.Т.). — Как, впрочем, и детство, война, смерть, природа... Это все одно в другое перетекает».

Поэтому-то его песня и не стихает!

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98

Марина ГАСЬ

бухгалтер
(495) 699-48-98

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83

**Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по делам
печати и массовых коммуникаций**

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.12.2012.
Подписано к печати 17.01.2013.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 405

Отпечатано в типографии ОАО
«Издательский дом «Красная звезда».
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.
<http://www.redstarph.ru>

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Финансы и Развитие», который
выписал и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля**

**СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ»
И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО
ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ**

Также представлены журналы
«Арион», «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Если», «Звезда»,
«Иностранная литература», «Континент»,
«Нева», «Новый мир», «Октябрь», альманах
«Достоевский и мировая культура».

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

*Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция не имеет
возможности вступать в переговоры
и переписку по их поводу, а только извещает
авторов о своем решении.*

*Материалы, поступившие по e-mail, а также
рукописи объемом более 10 авторских листов
(400 000 знаков) не рассматриваются.*

Родион БЕЛЕЦКИЙ. Школа безумных
регулирующих

Всеволод БЕНИГСЕН. Двоежизнцы

Юрий БУЙДА. Яд и мед

Евгений ВОДОЛАЗКИН. Близкие друзья

Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
книжки

Игорь ГОЛОМШТОК. Эмиграция

Дмитрий ИВАНОВ. Сверхновая экономика

Екатерина ИВАНОВА. «...В бесконечном аду
языка»

Елена КОМАРОВА. Синий чайник

Анатолий КУРЧАТКИН. Чудо хождения
по водам

Мария ЛОСЕВА. Противотечения

Владимир МАКАНИН. Мойщик

Алла МАРЧЕНКО. Слова и краски

М.С.ПЕТРОВЫХ, А.Т. и М.И. ТВАРДОВСКИЕ.

Переписка

Татьяна ПОЛЕТАЕВА. Жили поэты

Павел РУДНЕВ. Новая пьеса в России

Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место

Игорь СОРОКИН. Левый берег

Ольга ТАНГЯН. Зачем Юрий Трифонов
ездил в Туркмению?

Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма

Алексей ЦВЕТКОВ. Отставка из рая,
или Новый Холстимер

Владимир ШАРОВ. Возвращение в Египет

Сергей ЧУПРИНИН. Для своего круга

Юлия ЩЕРБИНИНА. Литературные
Моцарты и Робертино

новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,

Андрея ВОЛОСА,

Александра КАБАКОВА,

Ильи КОЧЕРГИНА,

Эдуарда КОЧЕРГИНА,

Анатолия КУРЧАТКИНА,

Маргариты МЕКЛИНОЙ,

Ильи ОГАНДЖАНОВА,

Даниэля ОРЛОВА,

Юрия ПЕТКЕВИЧА,

Валерия ПОПОВА,

Евгения ПОПОВА,

Марии РЫБАКОВОЙ,

Алексея СЛАПОВСКОГО,

Игоря ФРОЛОВА,

Наталии ЧЕРВИНСКОЙ

НОВЫЕ СТИХИ

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,

Ивана БЕКЕТОВА,

Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,

Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,

Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,

Михаила ИВЕРОВА,

Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Леонида КОСТЮКОВА,

Инны ЛИСНЯНСКОЙ,

Ивана ПОЛТОРАЦКОГО,

Алексея ПУРИНА,

Евгения РЕЙНА,

Геннадия РУСАКОВА,

Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО,

Марии СТЕПАНОВОЙ,

Ф.К.,

Алексея ЦВЕТКОВА,

Олега ЧУХОНЦЕВА

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 699 52 83

e-mail: info@znamlit.ru